КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 10

ОКТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

О Т П Е Ч А Т А Н О
в 1-й Образцовой типографии
Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.
Главл. № А-20084. П. 13. Гиз № 28877.
Заказ № 2626. Тираж 12 500 экз.

Штосс в жизнь.

(Повссть.)

Бор. Пильняк.

Часть первая.

«...и каждый день был в театре. Что за ф е а т р! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо кончать или начинать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в это время кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь, головой прямо в барабан, и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! О, ужас! На голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я все ждал, что будет?..»

. . . .

30 декабря с линии, из крепости Грозной, приехал в полк поручик Лермонтов, целый год ехавший из Петербурга в ссылку к тенгинцам. Полк был размещен на зимние квартиры в станице Раздольной. Квартирьер отвел Лермонтову халупу на краю станицы, предложив его казакам вернуться в сотню. Лермонтов казаков оставил при себе, отослав квартирьера. Весь день Лермонтов пробыл у себя в халупе, устраиваясь жить, развешивая по стенам ковры и раскладывая трубки.

Была зимняя слякоть, тучи каждодневно мазали собою небеса, снег падал и таял, и падал вновь, полк бездействовал, в полку было скучно, весть о приезде гусара, разжалованного в пехоту, поэта, дуэлянта и бамбошера, очень скоро разошлась по офицерским квартирам, и Лермонтова поджидали в кормче, где помещалось офицерское собрание. Лермонтов в корчме не появлялся, через денщиков же узнали, что к Лермонтову

приехал из Симферополя со столичными сундуками крепостной его человек, по имени Иван Вертюков, лакей по положению. Вертюков приехал в петербургской ливрее, и через окно видели, как Лермонтов с казаками и с Вертюковым, сидя на корточках на коврах, с засученными рукавами, пил чай, отдыхая от уборки. Полк был провинциален. Вечером подпрапорщик Вадбольский, влюбленный в легенды о Лермонтове, подглядывал в окошко, — казак выходил за калитку, чтобы цикнуть на ротозея. Через окошко была видна нищая казачья изба, выбеленная мелом. Лермонтов и его рабы бездельничали за трубками, Вертюков курил лермонтовскую трубку и брал табак из лермонтовского картуза. Бородатый казак рассказывал историю.

Огонь в окошке погас далеко за полночь.

На утро Лермонтов был в штабе полка и был зачислен приказом по полку — налицо. Лермонтов явился к командиру в полной пехотной форме; командир, уездный и боевой полковник, старый уже человек, покряхтел, покрутил пуговицу лермонтовского мундира и просил поручика пожаловать в собрание на встречу Нового года. Лермонтов откланялся, командир покряхтел. В полку Лермонтова знали по наслышке, знаком с ним был только офицер артиллерийской роты Мамацев, но Мамацева не было на месте, он должен был вернуться к вечеру, и в офицерском собрании, в корчме, за биллиардом стало известно немногое, что: невысок, головаст, кривоног, волосы темные и на самом лбу светлая прядь, одет небрежно, а пахнет английскими духами, глаза наглые.

Приказ же о зачислении «налицо» писарями пришивался ко Книге приказов, где, наряду с Журналом военных действий, писалось, примерно, следующее:

> «...Выйдя такого-то числа, отряд в две роты штыков, сотню казаков и в одну пушку встретил на перевале к такому-то лесу сброд чеченцев в таком-то количестве. Хищники рассеяны по степи»...
>
> «...Выйдя такого-то числа, таким-то отрядом, напали на такие-то аулы. Аулы уничтожены дотла, население бежало в горы»...
>
> «...В сожженном ауле, таком-то, в плену остались одни грудные дети»...
>
> «...Возвращаясь из экспедиции такого-то числа в таком-то составе, подверглись нападению обезумевших дикарей. Чеченцы лезли на штыки, не сообразуясь с никаким смыслом, картечь их не останавливала. Противник уничтожен весь до одного. Отмечаем беспредельную храбрость офицеров таких-то»... —

— то есть, приказ о Лермонтове «налицо» был вписан в книгу, где рассказывалось без всяких прикрас о Кавказской кампании Николая I, той кампании, которую следует по существу называть не войною, а организованным вырезыванием людей на Кавказе, ибо война протекала «экзертициями», когда горцы — старики, дети, женщины — уничтожались поголовно, их аулы выжигались и сравнивались с землей, их стада угонялись на кормежку русских солдат и в казачьи степи. Понятно, почему «дикари»

«безумели». Война шла во имя покорения Кавказа — Двуглавому Белому Орлу, дабы горцы были — «покорны»!

В корчме, нивесть каким образом, имелся биллиард. Офицеры понатащили туда ковров, трубок, шахмат и шашек. Вина продавал жид-маркитант. Тридцать первое декабря было серым днем с утра, затем шел снег, к вечеру стало морозить, и облака ушли на Кубань. Было скучно, офицеры предпочитали с утра сидеть в собрании. По правилам фронтовой жизни строгости формы не соблюдались, — одевались, как вздумается, одни в артикульной форме, другие в черкесках, третьи в вышитых матерями и невестами рубашках, — играли на биллиарде, курили, валялись на диванах, рассказывали всяческие истории. Собрание по существу было общежитием. Император Николай в золоченой раме величествовал со стены. Неожиданно и очень ненадолго приходил Лермонтов, — он перещеголял небрежностью одежды, — пришел в бурке, в папахе, их оставил на руках Вертюкова в лакейской, в буфетную вошел в старых гусарских рейтузах и в красной канаусовой рубахе, подпоясанной черкесским, с серебряным набором, ремешком. Откланялся офицерам, ни к кому не подошед, прошел в буфетную, заказал обед и вместо вина пил молоко, тяжестью глаз своих давил тарелки, ни разу не подняв их на подпрапорщика князя Вадбольского, который сидел против Лермонтова с бутылкой кахетинского. Лермонтов ушел сейчас же после обеда, Вертюков следовал на шаг сзади него, тараща по сторонам глаза.

В корчме притихло, пока там был Лермонтов, но, когда он ушел, никто ни словом не помянул его. Капитан Арапов в диванной закурил новую трубку и стал продолжать рассказ, как однажды гусары выиграли казначейшу. Юнкер Мещерский спросил:

— Арапов, ты помнишь, где это было?

— В Тамбове, — ответил Арапов.

— Жорж, так эта история описана поручиком Лермонтовым!

Было чистейшей случайностью, что лермонтовская «Казначейша» всплыла в памяти Арапова в день приезда Лермонтова. Арапов круто переменил тему: стал рассказывать, как при усмирении поляков гулялось с паненками.

К вечеру приехал Мамацев, и Мамацев сейчас же пошел к Лермонтову. Они поцеловались, они сели на диван рядом, рука в руку, Ванюшка Вертюков принес свежую бутылку рому. Они вспоминали Пятигорск, госпожу Гоммер де-Гэлль, Нину Реброву, водяное общество и водяные куры. За этими разговорами они пришли в собрание, Лермонтов был в сюртуке без эполет.

В собрании Мамацев возвестил:

— Михаил Юрьевич Лермонтов, новый наш товарищ, душа общества и укротитель дам! Охулки на... не кладет и банк мечет до последних брюк!

Офицеры решили, что Мамацев пьян. Командир полка, полковник Хлюпин, взял Лермонтова под руку, повел представлять по чинам. Лермонтов был любезен и весел.

— До полночи, батенька, не дам ни рюмки, — говорил командир, — как хотите, — если душа не терпит, бегайте к жиду на кухню. В полночь выпьем здравие государя императора, за воинство и за тенгинцев, и тогда — как хотите!

Лермонтов и Мамацев сели играть в шахматы, но партии кончить не удалось. Стол окружили офицеры. В гостиной, готовясь к полночи, варили жженку и, как всегда бывает в таких случаях, не умели варить как следует, — призвали Лермонтова, Лермонтов снял сюртук. Штаб-офицеры сели за большой шлем, молодежь сломала колоды для штосса. Лермонтов с засученными рукавами и с половником в руке поставил карту, ее убили, он бросил золотой, отыграл, вернулся к жженке.

— Господа, — сказал князь Мещерский. — Сегодня святки, на севере в России, у нас в усадьбах, в Москве, в Петербурге, — по всей России сейчас в каждом доме — собрались наши сестры, невесты, любовницы, и все гадают и рассказывают святочные истории... Вадбольский, я уверен, что сейчас какая-нибудь Мэри или Китти, или попросту горничная Дашка, вздыхает по вас, забившись куда-нибудь под шубы и чихая от нюхательного табака... И за воротами спрашивают, как будут звать их жениха, а на самом деле думают о вас, князь Вадбольский!.. Попросим Лермонтова рассказать какую-нибудь святочную историю. Попросим, чтобы он придумал, чем и как нам погадать!

Лермонтов — рассказать историю — согласился охотно. Он сходил к столу, взял карту, карту били.

— На счастье! — сказал Лермонтов и вернулся к жженке. — Я вам расскажу странную историю, — заговорил он. — В Петербурге эта история хорошо известна. В Петербурге проживал художник Лугин, человек, принятый в большом свете и большой чудак. Светские забавы ему были чужды. Он только что вернулся из Европы, где осматривал мастеров живописи. Петербургские туманы заразили его сплином, аглицкой болезнью. И во сне и наяву ему стал неведомый голос твердить адрес: в Столярном переулке у Кукушкина моста, дом титулярного советника Штосса, — заметьте, мы играем сейчас в штосс! — квартира нумер двадцать семь. И так ежечасно. Лугин никогда не слыхал даже о Кукушкином мосте. Наконец, он решил разыскать квартиру нумер двадцать семь. Адрес, пригрезившийся во сне, оказался действительностью. Плешивый дворник сказал, что дом только на-днях перешел к титулярному советнику Штоссу, а раньше принадлежал купцу Кифейкину, который разорился. Лугин был удивлен. Дворник рассказал, что квартира нумер двадцать семь — недобрая квартира, никто в ней не живет, а которые жильцы переезжали — все разорялись. Лугин осмотрел квартиру. Квартира была запущена, с пыльной мебелью, некогда позолоченною, со скрипящими сосновыми полами, в обоях, на которых по зеленому грунту нарисованы были красные попугаи и золотые лиры. Висели на стенах портреты. И один портрет поразил Лугина. Это был человек заполдневных лет, в халате, с табакеркою в руке, с перстнями на пальцах.

Портрет был плох, казалось — он написан ученической кистью,— но в выражении лица, особенно губ, дышала невыразимая жизнь. Губы были насмешливы, ласковы, злы и грустны одновременно. Портрет был зловещ и разителен, и он был неизъясним. Лугин снял эту квартиру ради этого портрета и ради вести о том, что здесь живет нечто недоброе. Не принадлежа уже своей воле, он послал людей в трактир Донона, где стоял, за вещами, и к вечеру расположился в новом своем кабинете, расставив по местам свои холсты. Надо заметить, что на самое видное место он положил папку незаконченных карандашных и акварельных рисунков, на которых было рисовано одно и то же лицо, эскиз женской головки. У каждого человека есть идеал женской красоты, которую каждый человек ищет до конца своих дней, — это были наброски фантазии художника, его мечта, его видение... Непостижимая лень охватила художника, кисти валились из его рук. Свечи на столе и в канделябрах закачали свет свой и стали чадить. Приближалась полночь. И вдруг тогда за окном заиграла шарманка, она играла незнакомый старинный немецкий вальс. Эта музыка в полночь была необыкновенна. Старик-лакей вошел в кабинет оправить свечи. «Ты слышишь музыку?» — спросил Лугин. «Никак нет, сударь!» — ответил Никита. «Пошел вон, дурак!» — молвил бессильно Лугин. Музыка продолжалась, и необыкновенное беспокойство овладело Лугиным, ему хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Все жизненные силы напряглись в нем, он сразу вспомнил всю свою жизнь. Облик той девы, которую он видел в грезах и ради которой жил, наклонился над ним. Лугин впал в транс. Шорох шлепающих туфлей привел его в память. Он поднял голову. Страшного портрета не было на стене. В доме была могильная тишина. Тогда скрипунули половицы, пропела дверь, и в комнату, со свечою в руке, в халате, в ночных туфлях, вошел — тот самый старик, который был изображен на портрете... Но не это было главное! — вослед за стариком, во плоти, опустив глаза, в подвенечном платье — шла та дева, образ которой навсегда мучил своею божественностью воображение художника. Его мечта, его смысл жизни, — она была во плоти... И поэт не заметил старика, шлепающего к нему туфлями, он весь был поглощен видением любви, которая была выше жизни. Дыхание погреба повеяло на Лугина от старика, — музыка рая неслась от девы. Старик поставил на стол свечу и положил новые колоды карт. «Позвольте представиться, — сказал старик, — титулярный советник Штосс!» — «Хорошо, — сказал Лугин,— мы будем играть на жизнь!» — «Што-с?» — спросил титулярный советник. «Прошу без шуток! — вскричал Лугин, — мы играем на жизнь и на красоту!» — «Не угодно ли, я вам промечу штосс? — ответил старик, делая вид, что он не слышит, и положил на стол клюнгер, — я играю только на деньги»...

Лермонтова перебили.

— Господа офицеры, через десять минут полночь! Прошу за столы! — крикнул полковник Хлюпин. — Поручик, вы успеете еще дорассказать вашу страшную историю. Долг требует выпить здоровье его величества!

Офицеры двинулись к столам. Лермонтов остановил понтера, спросил:

— Что же, еще карту? Старик научил нас не ставить на карту желаний и дев. Я ставлю золотой.

Лермонтов проиграл, вернулся к жженке. Его помощники суетились, он был задумчив. Офицеры уходили из диванной вслед за командиром. В комнате стало тихо. К запаху табака примешался запах жженого сахара, сахар горел, облитый коньяком, синие огни бегали, как гномы. Шум перешел в соседнюю комнату, в буфетную. Синие гномы бегали по сладости сахара. Вестовые тушили свечи. Несколько офицеров обступило Лермонтова.

— Михаил Юрьевич, — сказал Мещерский, — конечно, это ваше новое творение. Вы второй раз возвращаетесь к теме карточного выигрыша женщины. Первый раз это было в тонах реализма, именно, в «Казначейше». Прошу вас, продолжайте рассказ ваш. Старик мистичен, — тем не менее он играл только на деньги...

У Лермонтова были тяжелые глаза. Он был низкоросл, и все же казалось, что он на людей смотрит сверху вниз, и он не умел глядеть в глаза людей — именно потому, что он был низкоросл. Лермонтов обратился к Вадбольскому:

— Знаете, прапорщик, в вашем возрасте я выигрывал женщин без карт.

Вадбольский не понял, Мещерский покраснел, как принято краснеть девицам. Молвил Мамацев:

— Полно, Мишель, продолжай твой рассказ. Скоро полночь.

Лермонтов ответил не сразу, очень серьезно — так серьезно, что серьезность можно было принять за пародию.

— Нечего продолжать, полковник перебил меня на месте, — сказал Лермонтов тихо, — я все уже кончил. Лугин хотел играть на жизнь, ибо его мечта о деве стоила жизни, — он хотел, чтобы старик поставил на карту эту деву. Старик поставил клюнгер. Мистические силы — и те играют на деньги, скушно... А вы правы, Мещерский, — я никогда не думал о совпадении казначейши со Штоссом, — это совершенно не случайно. — Лермонтов помолчал. — Вы говорили, что горничная Дашка ждет Вадбольского, Мещерский, — вы свалили с больной головы на здоровую, не так ли?..

Стенный часы стали бить полночь. Офицеры побежали в буфетную к столу. Пили здоровье государя императора Николая Павловича. Офицеры кричали «ура»,— и по тому, как они кричали, можно было с уверенностью заключить, что пьяны были офицеры задолго до полночи. Вскоре тосты спутались, пили и приветствовали каждый по своему усмотрению, на свой салтык. Тогда молодежь стала требовать тоста от Лермонтова! Притащили грузинский рог, выбрали тамаду. Тамада передал рог Лермонтову. Круг офицеров затих — одни в безразличии, другие в недовольстве, третьи в восхищении. Соседи Лермонтова вышли из-за стола. Офицеры

на конце стола встали на стулья. Лермонтов был бледен и опять очень серьезен тою серьезностью, которую можно принять за пародию, в руке у него был рог, полный кахетинского. Настала тишина.

— Господа офицеры! — крикнул Лермонтов и добавил очень тихо: — я пью — за смерть!..

Не все расслышали, слово с м е р т ь прошелестело объяснением. Лермонтов пил рог, полуприкрыв глаза. Рог, в котором было несколько бутылок вина, Лермонтов пил не отрываясь. Офицеры не нарушали тишины. Вены на висках Лермонтова надулись, но лицо бледнело. Лермонтов опустил пустой рог и опустился к столу.

— В чем дело, поручик? — спросил командир. — Что за странные шутки!

— Это очень серьезно, господин полковник, — ответил Лермонтов, подняв тяжелые веки. — Покойной ночи, господа офицеры, нового счастья!

Лермонтов поднялся со стула и пошел к двери, офицеры расступились, Вертюков подал бурку и упал, потеряв равновесие, к ногам Лермонтова. Лермонтов вышел, не поднимая глаз, Вертюков малость полз на четвереньках, затем стал на ноги. Мамацев вышел вслед за Лермонтовым.

На улице подмерзло, и светили звезды, воздух был свеж и колок. Лермонтов шел быстро, кривоногий человек. Мамацев догнал его, пошли рядом. Светила в небе громадная луна. Лермонтов остановился на перекрестке, поджидал ползущего Вертюкова, смотрел вдаль, улыбнулся луне и стал вновь серьезен. Вертюков сидел на снегу.

— Видишь, — сказал Лермонтов Мамацеву, — вон в том месте Эльборус, — видишь, там под луной блестят его ледники. — Лермонтов стал торжественен. — Это я вижу первый раз Эльборус ночью.

— Да там ничего и не видно, — ответил Мамацев.

— Смотри! — Лермонтов указал сторону, где вдали под луною должны были быть ледники хребта, вечное покойствие. Там был мрак. Выли в станице собаки. Лермонтов долго смотрел во тьму пространства.

— Мишель, — заговорил Мамацев.— Почему такой странный тост — за смерть?

— Это очень серьезно. Конечно! Смерть — единственное реалистичное. Умрет старик-командир, умрем мы, умирают наши любовницы. А мы, солдаты, прямо к тому и существуем, чтобы умирать.

— Но ты сегодня же говорил иначе, вспоминая Жанну. Мне говорили, будто бы ты скакал на тележке в Крым, чтобы догнать ее...

Лермонтов ответил не сразу.

— Что же, и м-м Гоммер де-Гэлль тоже умрет, — а Эльборус останется.

— Ты действительно ездил к ней?

Лермонтов не ответил. Офицеры двинулись к дому Лермонтова.

— У меня был случай в жизни, — заговорил Лермонтов. — Даже смерть есть также пустяки!..— Ванюшка, нализался сукин сын! — обра-

тился он к денщику. — Ползи вперед, зажги свечей, согрей чаю,— да не спали спьяна избы, подлец!.. — Это было в Тифлисе. Я шел в баню и встретил красавицу-грузинку. Я пошел за ней, на углу она поманила меня. Я позвал ее в номер. Она пошла вперед и вскоре вернулась, опять поманив меня. Она сказала, что суббота, бани полны, и невозможно пройти туда незамеченным. Я позвал ее к себе, она отказалась. Я ее не пускал, она была прелестна. Тогда она сказала, что соглашается... Она сама найдет место — только чтоб я поклялся сделать, что̀ она велит. Я поклялся. Я пошел за ней в туземный квартал. Она приняла меня на коврах и мутаках, она была упоительна. Тогда она потребовала выполнения клятвы. Она просила меня вынести труп. Мне стало страшно. Она повела меня по темной лестнице куда-то вниз, в подвал дома. Там, завернутый в татарский саван, лежал мертвец. Я и не подозревал, что я предаюсь объятиям в доме, где лежал труп. Она поцеловала меня, толкая к мертвецу. Мне стало дурно, но я поднял мертвеца и поволок его в сад. Она мне помогала. Мы пошли закоулками, остерегаясь прохожих. Отдыхая, мы целовались. Я бросил труп в Куру, сняв с него незаметно кинжал. Я обернулся. Женщина исчезла. Я пошел искать ее дом и ничего не нашел. Мне сделалось совсем дурно. Я пришел в сознание только на утро на гауптвахте, куда меня отнесли дозорные. Кинжал мертвеца был при мне. Я посвятил в тайну моих товарищей. Мы отправились на розыски. Мы не смогли найти дома. Тогда мы пошли с кинжалом к Геургу, оружейному мастеру, потому что кинжал был его работы. Геург сказал, что он сделал этот кинжал русскому офицеру. Мы приказали Ахмету найти следы этого офицера. Ахмет разыскал денщика, нам стало известно имя. Денщик сказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, а затем пропал без вести. Денщик повел нас к дому, где жила старуха, этого дома я не знал, в доме никто не жил. Мы ничего не нашли. Я мечтал встретить мою грузинку. И я ее встретил. Я шел ночью по караван-сараю и увидел ее с грузином. Она узнала меня, она подала мне незаметный знак, чтобы я не узнавал ее и шел за нею. Я пошел следом. Они вышли к Куре, прошли на мост около Метехского замка. Я шел за ними. Вдруг оба они возникли передо мною. Он спросил, как меня зовут. Я ответил. Он крикнул, как смею я волочиться за его женой. У нее в руке был кинжал, она была прекрасна. Я понял, что кинжал этот приготовлен для груди грузина. Он схватил меня за плечи, чтобы столкнуть в Куру, но у меня наготове был стилет — и грузин пал в Куру замертво. Я обернулся, чтобы поцеловать грузинку. Ее кинжал занесся над моим сердцем. Я не успел ее поцеловать — она последовала в Куру за мужем... Она была прекрасна!.. — Лермонтов замолчал. — Что же, три смерти... Я рассказываю теперь об этом спокойно... А однажды в атаке я неловко ударил чеченца саблей. Я рассек ему глаз, скулу и губы, конец сабли застрял в зубах. Я никогда не забуду его лица. Здоровый его глаз метался белком. Он извергал мольбы аллаху и русские ругательства, и изо рта сыпались зубы, и у него было четыре кровавых губы.

— Но ты ничего не говоришь о м-м Жанне Гоммер де-Гэлль! — сказал Мамацев, совершенно пьяный.

Лермонтов и Мамацев стояли у калитки. Лермонтов молчал.

Светила полная луна. Замерзший снег блестел морозом. Вдалеке под луной покойствовал, величествовал хребет, Эльборус, — но хребта не было видно в ночи со станицы Раздольная. Мамацев предложил послать за кахетинским, — Лермонтов хотел чаю. Товарищи простились. Лермонтов долго следил за луной. Лицо его было печально. На глазах его были слезы. В халупе он сел к столу, к свечам, и долго сидел у стола, с бумагами. Вернувшийся вчера Ванюшка Вертюков привез письма из Петербурга, от друзей, от бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Вяземский присылал книгу «Современника» со статьей Белинского о «Герое нашего времени». Бабушка рассказывала светские новости, ожидала внука в Петербург к масляной, пересылала бумагу старосты Степана насчет продажи крепостных людей, чтобы внук засвидетельствовал в полковой канцелярии руку. Лермонтов долго сидел над бумагами и книгами.

Так Лермонтов встретил 1841 год, последний год своей жизни.

. . . . . .

Мамацев же тою ночью под 1 января 1841 г. не ложился спать, прокутив всю ночь. Он вернулся в корчму, где допивали дебоширы. Было совершенно пьяно. Тела валялись по диванам и по полу. На биллиарде спал капитан Кочубей, в изголовьи его горели три свечи. На груди его метали банк. Играли в штосс. Понтеры сидели и висели на биллиарде. В буфетной допивали и пели. Мамацев догонял собутыльников в водке, и он рассказывал истории Лермонтова. Офицеры слушали без послесловий. Ссылки в связи со стихами на смерть Пушкина и за дуэль с де-Барантом были общеизвестны. Мамацев рассказал о Жанне Гоммер де-Гэлль, этой прекрасной француженке. В окна корчмы ползли синие мертвецы рассвета. Мамацев сидел на биллиарде, рассказывая. Штосс был забыт. В золотой раме на стене поблескивали масляные краски императора Николая.

— Это была обольстительная женщина, француженка, жена французского путешественника и ученого, сама путешественница и поэтесса, воспетая Альфредом Мюссэ. С мужем она исколесила всю Азию, и судьба ее занесла на воды. Лермонтов вернулся из экспедиции в Малую Чечню, где крошил хищников, и поселился в Пятигорске. Водяное общество было блестяще. Мадам де-Гэлль была окружена эскортом поклонников. В галлерее каждодневно гремела музыка и были балы. В грот Дианы невозможно было ходить, потому что он перестал быть местом уединения, став отдельным кабинетом золотой молодежи. Ежедневно кавалькады уезжали на Машук и к подножию Бештау. Лермонтов был всюду. Лермонтов устраивал пирушки в гроте, заливая его шампанским. Лермонтов волочился сразу за тремя дамами — за де-Гэлль, за Ребровой и за петербургской франтихой, забыл как звали, рыжая красавица. Мадам де-Гэлль, не стес-

няясь, при всех называла Лермонтова Прометеем, прикованным к горам Кавказа, намекая на его ссылку. Мадемуазель Реброва была влюблена без памяти. Франтиха ездила с Лермонтовым наедине в горы. Лермонтов вел свои куры при всех сразу. Однажды вся компания переехала в Кисловодск, там был грандиозный бал в честь их высочеств в закрытой галлерее. Де-Гэлль и Реброва остановились в одном доме. Лермонтов провожал Реброву и де-Гэлль. Он был блистателен. Реброва — очень оживлена. Тогда Лермонтов во всеуслышание сказал ей, что он не любит ее и никогда не любил. С Ребровой — истерика. Лермонтов все же проводил ее домой и, уходя, оставил у нее свою фуражку. В два часа ночи видели, как Лермонтов стучал в окно спальни мадам де-Гэлль. Окно отворилось, и Лермонтов исчез в нем, махнув фуражкой. Ставня закрылась за Лермонтовым... Но в пять часов утра, уже на рассвете, Лермонтова видели совсем на другой улице: он спускался на простынях с террасы того дома, где жила петербургская франтиха. Он был без фуражки. На утро стало известно, что Лермонтов оставил за ночь три своих фуражки в трех разных домах — у Ребровой, у де-Гэлль и у франтихи, — имея три ночных рандэ-ву. Но Лермонтов не удовлетворился этим. Утром Лермонтов проезжал мимо окон Ребровой и де-Гэлль, — он ехал верхом рядом с франтихой, и на голове франтихи была — фуражка Лермонтова!.. Франгиха не понимала, что она всенародно компрометирует себя этой фуражкой, похожей на диогенов фонарь среди бела дня. Мадемуазель Реброва слегла в постель. Мадам де-Гэлль отослала с лакеем фуражку и отказала Лермонтову от дома. Франтиха, считавшая себя победительницей, к вечеру, вернувшись с прогулки, узнала, каким чучелом нарядил ее Лермонтов, когда она по своей же воле надела его фуражку, — и на следующее утро она выехала с вод в Петербург, потеряв весь свой престиж, совершенно скомпрометированная... Лермонтов был счастлив!..

В корчму шли мертвецы рассвета. Мамацев рассказывал с упоением. Штосс был забыт. Капитан Кочубей спал на биллиарде, в головах у него горели три ненужные свечи, грудь его была завалена картами. В золоте рамы на стене величествовал в белых лосинах император Николай, величественно смотрел перед собою. В буфетной выстрелами из пистолетов стали тушить свечи. Кочубей вскочил от выстрелов, с него посыпались карты. Карты собрали для штосса. Император Николай благословлял со стены. За окнами рассвело. За станицей, где стоял на зимних квартирах полк, лежала степь. Вдали был виден хребет, солнце окрасило вечные льды. Хребет покойствовал вечным величием. Там в горах жили люди, с которыми воевал царь Николай — воевал разорением, насилием, огнем, уничтожением, вырезывая племя за племенем.

Горы были к югу от станицы.

К северу лежала — Россия — —

. . . .

Мамацев рассказал истину о м-м Гоммер де-Гэлль. В старых французских архивах есть письма м-м Гоммер де-Гэлль, этой необыкновенной жен-

щины, которой посвящал свои стихи Альфред де-Мюссэ и которая — действительно считала Лермонтова Прометеем — прикованным к горам Кавказа, величайшим поэтом России. И действительно Лермонтов скакал по октябрьским степным грязям две тысячи верст на телеге, без разрешения начальства, вопреки стихиям, чтобы пробыть несколько часов около Жанны де-Гэлль. Вот желтые листки ее писем:

«...Тэбу де-Мариньи доставил нас на своей яхте в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо идешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раздвинутых скал. Тэбу показал себя опытным моряком. Он поместил меня в Мисхоре, на даче Нарышкиной. Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре и поправляет свои стихи. Я ему сказала, что он в них должен непременно помянуть места, сделавшиеся над дорогими. Я, между тем, пишу мое письмо к тебе. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе! Не подумай чего дурного. Мы оба поэты. Он сблизился со мною за четыре дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за рыжей франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала пробовать счастья на кавказских водах. Они меня измучили, и я выехала из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но ненадолго. Мне жаль Лермонтова; он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петра Великого. А Лермонтов великий поэт. Он описал наше первое свидание очень мелодичными стихами. Он сам на себя клевещет: я редко встречала более влюбленного человека...

. . . . . .

... Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей компании. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Ламбат. Мы приютились в биллиардном павильоне, принадлежащем, повидимому, генералу Бороздину, к которому мы ехали. Киоск стоял одинок и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли биллиард с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю русскую партию. Мне казалось, что наша игра гораздо значительней, чем просто игра в биллиард, и это была русская игра... Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам... Я всегда любила то, чего не ожидаешь...»

Тэбу де-Мариньи, владетель военной шхуны «Юлия», был французским генеральным консулом в России. Лермонтов приезжал в Крым, чтобы пробыть несколько часов с Жанной Гоммер де-Гэлль. Лермонтов играл с м-м Гоммер де-Гэлль в биллиард — в грозе, в зеленой роще — в предпоследнюю с ней встречу. Тэбу де-Мариньи собирался ехать вслед

Лермонтову на Кавказ, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Это был солнечный крымский октябрь. Жанна Гоммер де-Гэлль была солнечной женщиной, эта женщина, которая любила Лермонтова, человека и поэта, потому что она была не русской, и любила так, как никто его никогда не любил. Она писала: «Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам».— Лермонтов вернулся к своим отрядам, Жанна ушла в синь Черного моря. Тэбу де-Мариньи встретил ее на своей шхуне — пушечным салютом. Шхуна ушла в синее море, Лермонтов...

...К северу от Крыма, от Кавказа — лежала — великая! — Россия!..

Часть вторая.

И еще был Новый год — 1840-й. Его встречали в Пятигорске в доме наказного атамана кавказских казачьих войск генерала Верзилина, в том доме, который впоследствии перешел к Акиму Александровичу Шан-Гирею, двоюродному брату Лермонтова, и в котором 13 июля 1841 г. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Генерал Верзилин был начальством,—хлебосолом и отцом—как своих дочерей, так и падчерицы Эмилии Клинкенберг, впоследствии Шан-Гирей. Старшая дочь Верзилина, Аграфена Петровна, вышла замуж за Василия Николаевича Дикова; у Лермонтова сохранилась строфа, посвященная Аграфене и Василию:

... А у Груши целый век
Только дикий человек!..

Эмилия Александровна Клинкенберг рождена была лютеранкой и впоследствии перекрещена в православие. Так как имени — Эмилия — в православных святцах нет, она была названа Меланией. В доме продолжали называть ее Эмилией, но день ангела справляли 31 декабря, в день Мелании.

31 декабря, в ночь под сороковой год, у Верзилиных были именины и новогодний бал. И на этом бале Василий Николаевич Диков, тогда еще жених Аграфены, «грушин век», подарил Эмилии Александровне — серебряный кавказский стаканчик, черненный, позолоченный. Пятигорский чеченец-граьер начертал на дне стакана:

Въ. День. Ангила.
Э. 1840. К.
ВД.

Стакан, по существу говоря, был провинциален и беден. На бале, в полночь, из этого стакана пригубливала красное кахетинское — Эмилия Александровна, и все, бывшие на бале, рассматривали подарок Дикова.

. . . .

Рассказ повторяется. В дневнике Печорина от 26 июня записано:

«Вчера приехал сюда фокусник А п ф е л ь б а у м. На дверях ресторации явилась длинная афиша, извещающая почтеннейшую

публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление»...

Это было в Кисловодске. Печорин записывает:

«Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня, в десятом часу вечера, приходи ко мне по большой лестнице: муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини.— Я жду тебя; приходи непременно».

Печорин только на минуту заходил смотреть фокусника. Он не видел фокусов. Ночью он был у княгини Лиговской. Этою же ночью он оказался под окном княжны Мэри. Там он подрался с Грушницким и с драгунским капитаном, секундантом Грушницкого, получившим от Печорина в рожу. Эта ночь была окончательным поводом дуэли между Печориным и Грушницким. На утро у нарзанного колодца утверждали, что Печорин имел ночное рандэ-ву с княжной Мэри. Печорин записал о той ночи, когда он на шалях спускался из окошка княгини Веры:

«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников осталось бы на месте».

Рассказ повторился Жанною Гоммер де-Гэлль. Прошло почти столетье. Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума,—но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

. . . .

Лермонтов не послал Печорина к фокуснику Апфельбауму, герой м-м Гоммер де-Гэлль. Но я был на Минеральных группах—в положении фокусника. Меня купило управление Кавминвод — кавказских минеральных вод, — чтобы я читал лекции, показывал себя и составлял «общество», — и я погружался в пошлость минеральных вод. На рассвете в Москве меня взял аэроплан, в закате дня я сошел с самолета на станции Минеральные воды. Через сто лет самолет будет дормезом, сейчас он величествен — лермонтовски, ибо в стихиях самолет мерит себя и свою волю— только стихиями,— и мерит — только смертью: человеку на самолете гордо — за человека, за человеческого демона, то есть гения, которого искал Лермонтов. С Минеральных вод я поехал поездом, которого не было при Лермонтове, — в Ессентуки, где ждала меня комната на даче «Звездочка» (пошлее не придумали). Я нанял извозчика — на «Звездочку». Извозчик оказался хохлом.

— Ага, — молвил он, — на Звездочку? — значит, артист!

На «Звездочке», приехавший до меня, жил критик Александр Константинович Воронский, так же, как и я, приглашенный для культурной революции. Я увидел его через окно, и я крикнул:

— Где здесь живет артист Воронский!?

Мы смеялись, целуясь.

О моих лекциях: мне нечего говорить, тезисы составлял Дюкло, наш правитель, чтобы эпатировать курортное население. Но там был один тезис: «Разговор с М. Ю. Лермонтовым», — этот тезис предложил я, и я замалчивал его на лекциях. До сих пор я не могу его оформить, потому что он лежит вне слов, — я же очень хорошо знаю, что самое несовершенное в общении людей — слово, слова, — что словами можно рассказать только промилли того, что чувствуешь—и чем ответственнее чувствования, тем бессильнее слова. На самолете в небе тогда я думал о Лермонтове, и я хотел написать письмо Михаилу Юрьевичу о его местах. Меня не страшило столетие, ставшее между нами: писатели существуют только тогда, когда они могут бороть время, — пройдет еще сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской литературы — не тем, что Лермонтов описывал пошляков, а я описывал метели революции,— но тем, к а к мы видели, молились, ошибались, жили, любили, — и писатели знают, что их письма пишутся для черных кабинетов читателя. Я не написал этого письма, не найдя слов для песни, которая спета во мне Лермонтовым. В памяти моей остались только отрывки этой песни, сложенные в слова.

— Михаил Юрьевич! — Мне страшна ваша Россия, — полосатоверстая, как каторжный туз, николаевская Россия. Я был в ваших местах. Я следил за бытом ваших героев. Это никак не верно, что вы автобиографичны. Печорин, Грушницкий, капитаны (капитан, предлагавший не заряжать вашего пистолета — просто мерзавец!),— княгиня Вера, княжна Мэри, ее мамаша — чистокровнейшие пошляки, бездельники, невежды. Умные разговоры Печорина с Вернером — глупы. Печоринская манера подслушивать под окошками — неприлична. Все вертится около скверных романишек, пистолетов и издевательств над человеком,— нехорошо!— ужели стоит марать перо о растлителей молодых девушек? — и этот Пятигорск организованной пошлости!..— Нет, Михаил Юрьевич,— вы не автобиографичны,— век рассказал мне об этом...

Впрочем, Пятигорск жив поныне: сейчас там лечат сифилитов, с лекциями и под музыку в разных галлереях, живых от Лермонтова, — и жив грот, где Печорин встречался с Верой, он назван Лермонтовским, и туда ходят писать на стенах похабные слова и собственные имена похабников. Памятник на месте убийства Лермонтова так же изрешечен изречениями о Мане и Зине; там же висят засаленные черкески со страшными гозырями, и любители могут, нарядившись в них, сфотографироваться около памятника! меня обманула даже природа. Я ждал Кавказа, гор, первобытность, — я увидел холмы, заросшие лесом, куда забираются ослы и автомобили,— причем эти семь-восемь холмов сиротливо торчат среди просторов облупленной степи, и торчат случайностью. Я верю Лер-

монтову, что сто лет тому назад у Мэри на Подкумке, в июне месяце, закружилась голова от потоков вод этой горной реки: сейчас эту реку в июне — в любом месте перейдет курица.— Мне стыдно перепонтировать героев лермонтовского времени! — Человек всегда пошловат, когда он отдыхает и когда он доволен. Сюда ездят отдыхать и быть довольными. Витии называют курорты фабриками здоровья. Витии печатают лозунги:

«Больные! Сохраняйте бодрое, спокойное настроение духа— это способствует правильному лечению!»

«Питание, выписанное врачом, должно строго соблюдаться!»

«Половое воздержание — всегда безвредно!»

«Распутство и пьянство на курортах завела буржуазия — надо изживать эти пороки, так как они мешают ремонту здоровья!»

Курорты превращены в фабрики здоровья, люди одеты в больничные халаты санаториев, из-под халатов торчат тесемки, и из больничных туфлей торчат пятки, — и в общественных столовых меню разбиты по диэтическим рубрикам: «при поносах», «при запорах» и проч. Не может не быть у человека уважения к земле, к ее недрам, к ее законам; в этих местах из земли бьют целебные ручьи, рожденные вулканами, целебная вода; в первый же день я пошел к источникам, как здесь называются ручьи; источники вделаны в камень; со мною шла толпа халатов и кургузых женских платий, у всех в руках были кружки и стеклянные трубочки; источники, вделанные в камень, назывались бюветами; девушки типа больничных хожалок проворно наливали в кружки воду; кургузы и халаты пили воду через стеклянные трубки, чтобы вода лучше усвоялась желудками, оттопыривали в священнодействии губы и походили на идиотов; я слышал разговоры о пищеварении, прекратились ли газы у Ивана Иваныча; Александр Константинович Воронский ходил к врачу, чтобы лечиться,— врач сказал: «Конечно, воды очень полезны, но думается, что самая полезная вода — вода обыкновенная».— Я был в диэтической, запорно-поносной, столовой только один раз — меню мешало моему желанию есть. Дюкло называл эти столовые — не диэтическими, но идиотическими.— В Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске лечат — сифилис в кондиломатозном и гуммозном периодах, полейриты интоксикационные, субацидные и акацидные катарры желудка, вагиниты и эррозии, — научные слова! Больничные храмы величественны, построенные из поддельного мрамора, украшенные символами эллинского здоровья. Я ходил осматривать эти храмы. Я был в белом халате, за доктора. Меня провожал мой знакомый врач. Я видел очень много издевательств над человеком, учиненных самим же человеком; я был в отделении, где грязью лечат ожиревших женщин; эти голые зеленотелые женщины были издевательством над красотою человека, их животы висели сальными фартуками примерно до колен, раздвоенные пупком, их груди спускались на живот зеленым салом, картошки их задниц были омерзительны; у многих из них были подкрашены губы, — и у всех у них было на лицах обалдение распаренного уважения к целебностям; хожалки приносили ведра горячей

грязи, мазали грязью женщин, заворачивали их в простыни, покрывали одеялами, и женщины лежали в блажном страдании; в клиниках покойствовала торжественность; мой знакомый доктор, — фамилия его никак не Вернер, — выгонял из мужской мочи химические формулы свинца, — это было единственно интересным. Дюкло рассказывал сказку, как мужику плохо жилось, как цыган обещал облегчить его жизнь, велел сначала взять в избу кур, потом телят, потом свинью, затем корову, — мужик стал окончательно задыхаться, — цыган велел вывести тогда — сначала корову, потом свинью, затем телят, — мужик задышал легко и даже согласен был оставаться с курами,—и Дюкло уверен, что принципы местных лечений построены на этой побасенке. — Мне стыдно перепонтировать вас нашими козырьми, Михаил Юрьевич! — Люди приезжали на поездах убежденными фалангами, убежденно лечились, организованно пищеварили в течение месяца и — возвращались — с фабрик здоровья — на российские веси — опять-таки организованно, неорганизованно выполняя лишь заветы пиит, местных витий, которые печатали:

«Распутство и пьянство на советских курортах надо выжигать каленым железом!»

Под заборами этих лозунгов я вспоминал грязелечебных гусынь. Впрочем, пииты ж писали:

«Театр — отдых и школа, а на курорте, кроме того, — лечебный фактор!»

«Скука мешает правильному лечению!»

«Курортная физкультура — лечебная процедура!» —

и по вечерам на курортах было все, — симфонические оркестры, драматические спектакли, оперетта, опера, эстрада, пластические и балетные номера, комики, рыжие, раешники, — и были мы, писатели, на предмет культурной революции, о которой много говорилось в 1928 году.

Михаил Юрьевич! — я перечитал ваше письмо к Лопухиной, вы назвали это письмо «Валериком». Валериком называется — не *река*, но *речка* смерти. На группах нет теперь никаких боев, там показывают — Лермонтовский грот, Лермонтовскую галлерею, Лермонтовские ванны, Лермонтовскую долину, Лермонтовский водопад, — а на месте лермонтовской смерти — фотографируются в засаленных черкесках с громадными кинжалами

...жалкий человек...
Чего он хочет? Небо ясно...

У меня не было более ненужных дней, чем эти мои дни на Группах. И я часто вспоминал вашу речку смерти, Михаил Юрьевич. Впоследствии я прочитал в донесении генерала-адъютанта Граббэ о сражении при Валерике, бывшем 11 июля 1840 г., в ольгин день, — генерал записал о вас:

«...офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». —

Все нужное, что связано у меня с этими моими днями, связано вами, Михаил Юрьевич.

. . . .

Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Это было в июньских числах Печорина, в Кисловодске, в Нижнем парке, около Нарзанной галлереи, где некогда ловили печоринских черкесов. Своим человеком я прошел за кулисы, чтобы поздороваться с м-м Жанной. Меня встретил ее муж, человек в больших круглых, роговых пенснэ.

— Очень жаль, что вы будете смотреть Жанну на базаре,—сказал он.

М-м Жанна была в черном, в черном платье с белыми кружевами и высоким воротником, в черных чулках и в лаковых туфельках. Волосы ее были гладко зачесаны, в ушах блестели старинные серебряные подвески. В руках у нее был белый платок. Глаза ее были девичи.

— Мы начинаем, — сказал муж, поправив прическу, волосы мужа были зачесаны назад, за уши, в традициях партикулярных людей начала девятнадцатого века.

Я вышел к зрителям. За большими буквами афиш фотография м-м Жанны не походила на подлинник. На стульях сидели больничные халаты, торчали тесемки подштанников. Свальная белая кепка и милые красные платочки захлопали м-м Жанне, галки на чинарах зашумели крыльями и закаркали. Вспыхнули дополнительные огни софитов, ночь за деревьями стала черней. М-м Жанна вышла с белым платком у губ, этот медиум, она казалась девочкой и лунатиком одновременно, вид ее был прост и таинственен. С курзала донеслись медные трубы оркестра, на вокзале прогудел отходящий поезд. Вслед за м-м Жанной вышел ее муж, во фраке.

— Жанна, будьте внимательней! — крикнул муж тоном циркового наездника.

Муж спустился к рядам, чтобы принимать вопросы. Муж наклонился над критиком из породы «тащи и не пущай», над Леопольдом Авербахом, чтобы выслушать его вопрос. Авербах, посоветовавшись коллективно с драматургом Киршоном, шопотом спросил: когда приедет их друг прозаик Либединский?

— Жанна, будьте внимательней! Отвечайте, мадемуазель! — крикнул жокейски муж.

М-м Жанна ответила не сразу, она опустила голову, напрягая мысль, и бессильно опустила руки. У нее был звонкий голос, картавый на «р».

— Я п'ислушиваюсь... я слышу... вы сп'ашиваете о вашем д'уге Ю'ие... об известном писателе Ю'ие Либединском... я вижу... он п'иедет, мне кажется, в начале июля...

— Дальше, Жанна! Мадемуазель, дальше! — крикнул муж, отошел от Авербаха, наклоняясь над военкомом. — Дальше, мадемуазель, внимательней!

— Я п'ислушиваюсь... я вижу... вы а'тилле'ист, вы служите в Москве! —

— Я п'ислушиваюсь... я вижу... вы а'тилле'ист, вы служите в Москве! — М-м Жанна подняла голову, улыбнулась, заговорила быстро, глаза ее были детски, — вас зовут Исидо' Мейчик, вам двадцать семь лет, номе' вашей па'ткнижки — двадцеть две тысячи... се'ия...

Военком был поражен; он спрашивал, в каком полку он служит, сколько ему лет, номер его партийной, ВКП, книжки: м-м Жанна отвечала быстрее, чем он задавал вопросы. Военком сдвинул фуражку на затылок, явно вспотев. Кепки притихли.

— Дальше, Жанна! Скорее! Внимательней! — кричал муж, склоняясь над ответственным работником.

Ответственный работник, в халате, в кепке и в тесемках, спрашивал: изменяет ли ему в Москве жена? Как ее зовут? М-м Жанна опустила глаза и руки, вид ее был беспомощен.

— Вашу жену зовут 'евеккой, — сказала она беспомощно и тихо.— Нет, она не изменяет вам, нет... она ве'ная жена... Но я вижу... я п'ислушиваюсь... — м-м Жанна сказала совсем тихо и очень печально. — Я вижу, как вы изменяете своей жене...

Ряды захохотали. Совработник заерзал на стуле. Галки кричали на чинарах, посвистывал паровоз. Ночь была душна, и под скамейками трещали кузнечики. Я недоумевал, воспоминая лермонтовский штосс. Я не мог придумать рационального объяснения этому совершенно метафизическому явлению. Дюкло не слышала вопросов, она отвечала ясновидяще правильно. Люди, задававшие вопросы, были растеряны. М-м Жанна стояла на эстраде девически целомудренно, в черном платье стиля начала прошлого века, усталая женщина, похожая на девочку. Никаких гоголевских «портретов» не было. Была уездная эстрада, открытая, в парке, ротондою. М-м Жанна выступала после пластически-раешных номеров, — ее номер считался ударным, ее выпускали под занавес. У европейцев принято восторги выражать ладошами, — хлопали мало. Шла обыкновеннейшая курортная ночь, когда в одиннадцать надо быть в бараках санаториев. Встарину такие номера обставлялись черными комнатами, свечами, таинственностью, шопотом. Люди повалили с рядов бараном, опять потревожив галок. Нарзанная галлерея была заперта.

Мы ждали Дюкло, пока они переодевались. М-м Жанна с мужем, профессор Федоровский с женою, писатель Иван Алексеевич Новиков и я — мы пошли в Алла-верды, в шашлычную, ужинать. М-м Жанна говорила о своей дочке, оставшейся в Москве, и медленно пила кахетинское № 110. — Штосс сведен на эстраду, тресвечие, семисвечие метафизики — упразднены. М-м Жанна была очень утомлена, медленна и обыденна. Ее муж острил. Иван Алексеевич, писатель, чье творчество навсегда пропахло полынью благостных зорь, говорил — о троицыном дне, о белой троицыного дня березке, называя березкою м-м Жанну. Они говорили о девочке Дюкло. — В шашлычной пахло тархуном, бараньим салом, и скрипач

наяривал молитву Шамиля. Профессор Федоровский строил объяснения номера м-м Жанны. Дюкло- муж не открывал секрета, предлагая притти на разоблачительную — его — лекцию. Штосс Лермонтова, прошед через кулисы эстрады, расцвел для Ивана Алексеевича Новикова — белою троицыного дня березкою. Метафизики больше нет. Всем сердцем я был с Иваном Алексеевичем! —

. . . . . .

...Я был в доме, который теперь называется Лермонтовским музеем. Там на стене висит церковная выпись, — поручик Тенгинского пехотного полка, — убит на дуэли, — «погребение пето не было». — Вы не погребены, Михаил Юрьевич, вы — живы! — Ваш домишко, где вы жили со Столыпиным перед смертью, куда привезли ваш труп после дуэли, — превращен в музей. Я ночевал в этом музее, в вашем кабинете-спальной, где некогда лежал ваш труп. Вы записали, Михаил Юрьевич:

> «...моя комната наполнилась запахами цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками».

Все это попрежнему, Михаил Юрьевич, попрежнему стоят платаны, и скосилась коряга грецких орехов, и в палисаднике цветут цветы. Я сидел за вашим письменным столом, встречая ночь. Пятиглавый, — так называли вы его,— Бештау синел, уходя во мрак. Я был один. Над землей дул ветер, очень сильный, он пахнул степью и качал деревья в палисаднике. В домишке было глухо и сыровато. Я думал о том, что, если бы мы жили одновременно, мы, вернее всего, не встретились бы! — я был Апфельбаумом. Я говорил с вами через столетье о том, что встретиться нам необходимо, чтобы чокнуться временем сердца о сердце. Я заснул тогда очень поздно, перед сном рассматривая янтари ваших трубок. И ночью я видел вас, во сне. Это было в степной станице, в полку, в новогоднюю ночь, вы держали в руке рог, офицеры безмолствовали, вы были очень бледны, ваши глаза, всегда тяжелые, были особенно тяжелы, — вы сказали: — «Я пью за — за жизнь!» — и кругом были мертвецы, мертвые офицеры, мертвая корчма, ночь, — все было мертво, и на стене блистал император Николай. Живы были только мы. Нам сказали, что нас ждут, — мы вышли. Нас ждал самолет, пилот был тот самый, который принес меня из Москвы.— «Через сто лет самолет будет только дилижансом», — сказали вы, Михаил Юрьевич, — «но тогда мы найдем другие пути, чтобы брать за сердце жизнь и чтобы чокаться смертями. Впрочем, я знаю, что останется, если будет жизнь, — останутся — смерть, любовь, рождение, рассветы и ветры!» — над степью ревел буран, космы снега заплетали Лермонтова, его папаху, его бурку, сплетая его с космосом. Вопреки стихиям над бураннoю степью высился Эльборус. «Мы летим меряться силами со стихиями!» — крикнули вы, Михаил Юрьевич. — Я проснулся. Был мертвый час ночи. Всеми нервами своими я ощутил, что лежу я в доме, где некогда лежал мертвец — Лермонтов. Над домом, за ставнями, свистел ветер. Я за-

жег спичку, закурил, осмотрелся, открыл ставню. Светало. Свистел синий ветер.

Утром я понял, что от Лермонтова в его доме ничего не осталось, кроме чинары и черешен в палисаднике. Пролетарский поэт Тришин, который ныне хранит лермонтовскую усадьбу, сказал мне, что письменный стол, столик у дивана, мундштуки — все это привезено из Петербурга, из дворцовых фондов. Кроме чинар, остались перестроенные стены дома да память о том, как расположены были комнаты при Лермонтове и Столыпине. Полковник Челищев, домохозяин, призывал попа освящать этот домишко после того, как лежал здесь труп Лермонтова.

Но Тришин сказал мне, что рядом в переулке сохранился дом Верзилиных, ставший впоследствии домом Шан-Гиреев, национализованный в годы революции, — и что в доме живет сейчас Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь Акима Шан-Гирея, друга и двоюродного брата Лермонтова, с которым Михаил Юрьевич вместе возрастал, называя его в письмах Екимом, — дочь Акима Шан-Гирея и Эмилии Александровны Клинкенберг, той, которую по неверному преданию называют княжной Мэри. Я пошел в этот дом. Он отдан в нищету, на дворе сапожничал рабочий. Я встретил Евгению Акимовну, ко мне вышла старушка в темном платье, я знал уже, что ей семьдесят три года, лицо ее было светло. Время остановилось. Мы заговорили. Мы стояли на террасе, завитой виноградником.

— Тогда этого хода не было, — сказала Евгения Акимовна, — спускались через террасу, и вот здесь, — она указала рукой, — на этом месте Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Лермонтов был злой человек, он не любил людей и всегда издевался над слабостями его окружающих. Мартынов любил порисоваться, одевался черкесом и ходил с засученными рукавами, нося на поясе громадный кинжал... Так рассказывала моя мама.

Мы вошли в дом.

— Эта комната была гостиной и танцовали именно здесь. Здесь, — Евгения Акимовна указала рукой,—здесь стоял диван, а здесь было фортепиано. У нас была вечеринка. Моя мама, Лермонтов и Пушкин, брат поэта, сидели на диване. Мартынов стоял около фортепиано с моей тетей Надеждой Петровной. Лермонтов и Пушкин острили. Князь Трубецкой играл на фортепиано, Трубецкой оборвал аккорд и ясно прослышались слова Лермонтова. «Montagnard au grand poignard...»—горец с большим кинжалом, — как Лермонтов называл Мартынова. Мартынов был добрый малый, но был позер. У Лермонтова был злой язык, он был недобрый человек. Мартынов побледнел... Все это мне рассказывала мама... Тогда на террасе, на том месте, которое я показывала вам, Мартынов сказал Лермонтову: — «Сколько раз мне просить вас оставить ваши шутки при дамах!» — Лермонтов ответил: «Вместо пустых угроз, ты гораздо лучше бы сделал, если бы действовал» — и Мартынов вызвал Лермонтова,

Я стоял в комнате, где возникла смерть Лермонтова. Я хотел вглядеться в комнату и в столетие. Комната была невелика и — ныне — нища, давно запыленная временем. Около меня стояла светлая старушка, осколок тех дней. Вещи, когда-то бывшие, исчезли из комнаты, изгнанные нищетой и временем. От наказного атамана кавказских казачьих войск — ничего не осталось. Я искал вещественных памятников.

— Вот это зеркало тогда висело над фортепиано, — сказала Евгения Акимовна и указала рукою. — Вот этот шкаф был тогда с книгами...

Мы прошли в комнату, которая была диванной. Некогда в ней жила бабушка, порицавшая Лермонтова. Ныне жила здесь Евгения Акимовна. Вещей от Лермонтова в этом доме почти не осталось, ничего не осталось от тех дней, дом умрет вместе с Евгенией Акимовной.

Евгения Акимовна принесла и показала мне — серебряный кавказский стаканчик, очень начищенный, позолоченный. На дне стаканчика было выгравировано:

Въ. День. Ангила.
Э. 1840. К.
ВД.

Это был тот самый стаканчик, который подарил Василий Николаевич Диков Эмилии Александровне Клинкенберг.

— Этот стаканчик маме подарил Диков, когда он был женихом тети Аграфены Петровны и когда мама была еще девушкой, — сказала Евгения Акимовна, — мама говорила, что из этого стаканчика пивал и Михаил Юрьевич. —

Я склонился над этим осколком времени, над этою вещью из времени, чтоб заглянуть в век. Я глядел через время. Я видел век, глядя на стаканчик, из которого пили вы, Михаил Юрьевич. Евгения Акимовна была печальна. Угольная комната, некогда диванная, застыла в тишине.

Ныне этот стаканчик у меня.

Евгения Акимовна сказала печально:

— На-днях приходили из милиции, требуют, чтобы мы все выселились отсюда, хотят в этом доме устроить уголовный розыск... Быть может, вы поговорили бы с Луначарским, чтобы этот дом перешел к музею... Хорошо еще у нас живут рабочие, которые не хотят этот дом отдавать под уголовный розыск...

Я видел оба века. Я сидел со старушкой, остановившей время. — Уголовный розыск будет — докапываться до уголовных причин смерти Лермонтова!? — Михаил Юрьевич, — это называется — валериком? — речкой смерти? —

. . . . .

...Это был бред...

Мы, люди со «Звездочки», жили звездочетами, потому что ночи у нас начинались рассветами, и дни возникали заполднями. На моей двери были нарисованы одинокие — стул и слезы. Жены через день по утрам собирались выезжать из этого сумасшедшего дома, куда актеры возвращались

после работы к двум часам ночи и начинали шипеть примусами, садясь до утра за поккерное помешательство. У меня примуса не было, — у меня была одна хозяйственная вещь — стакан Василия Дикова. Двери в этом доме никогда не запирались, во многих окнах не хватало стекол, дом был полупуст, и в нем, кроме актеров, жили летучие мыши. В саду около дома каждую ночь кричали совы. В грозы в доме протекала крыша, а в тишину слышно было, как бежит вода из испорченных кранов, которые всем лень было закручивать. Тихими часами были часы от рассвета до полдней. В закаты певцы разучивали арии, музыканты экзерсировались, а драматические актеры доигрывали партии поккера, не доигранные за ночь. На визитной карточке комнаты нумер первый было написано: — «Кахетинское № 110». Действительно, в моей комнате были только — стол, стул и кровать. Я набил сенник, положил его на террасе, — это было моим диваном, где я валялся днями, в табаке и книгах.

В тот вечер я был в шашлычной. В час я лег спать. В два меня разбудили Дюкло. У них были гости. Светало, и мы разговаривали. Или это был сон? — Когда до солнца осталось полчаса, я пошел к полковнику, ставшему извозчиком, у которого мы брали лошадей. Я взял коня и поскакал в степь, к горе Шелудивке, навстречу Бештау. Конь шел карьером. Было совершенно светло, и с минуты на минуту должно было возникнуть солнце. Пахло степным рассветом, полынью и конским потом. Мне было чудесно тем восхищением перед миром, которое граничит со смертной тоской, — тем восхищением, от которого мистики молятся, а я мог бы плакать. По степи стали курганы. По долинам шел благостный туман, уничтожавший таинства ночи. Я поскакал к кургану, я поднялся на его вершину. Я слушал храп коня и смотрел на восток. Небо багровело, облака расплавляли латы. Я оглянулся на юг, — в синей мгле, в ста верстах от меня, вспыхнула двуглавая шапка Эльборуса зловещим огнем. Я повернул голову — и солнце ударило мне в глаза. Конь подо мною заржал, приветствуя утро. Солнце ослепило меня, мои глаза ослепли от слез. Конь помчал дальше в пространства, в степь, к Шелудивке, к просыпающейся станице. В станице я выпил стакан водки с крынкой молока. Тем рассветом я написал, никогда не записанное, письмо Ивану Алексеевичу Новикову — о белой березке троицыного дня и о горькой березовой горечи: род Ивана Алексеевича Новикова древен писателями и пусть, когда мы оба умрем,— пусть будет это, никогда не записанное, письмо вставлено здесь в этот рассказ о вас, Михаил Юрьевич, и о вас, Иван Алексеевич, письмо о березовой горечи счастья!..

При Лермонтове Ессентуки были пустой казачьей станицей. Печорин записал:

«..Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки, она стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастия! Бог знает, какие странные, какие бе-

шеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. — И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; раза два он уже споткнулся на ровном месте... Осталось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся на землю...

... и долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется»...

Михаил Юрьевич, вы должны были уметь плакать — плакать горчайшими слезами отчаяния!.. Я искал тем рассветом места, где плакал Печорин, и я въезжал на каждый курган, на эти могилы неизвестностей, чтобы дальше видеть. Дормезы заменены железными дорогами, железные дороги сменятся аэропутями, — рассветы и слезы — останутся.

Я вернулся в свой дом. Солнце не успело еще загнать в комнаты дня, гнилые ставни были заперты, горело электричество, на столах умирали хлеб и стаканы. В тот день, когда я был в клиниках лечения грязью и видел женское сало, доктор Ахматов рассказал мне о том, чего я не знал, что недавно открыли немцы, — о том, что в человеческом организме, оказывается, существуют — два сердца: одно общеизвестно, а другое — его немцы называют периферическим сердцем — другое: самые кончики, самые мельчайшие сосудики артерий, в том месте, где они переходят в вены, где кровь из артериальной становится венозной, — эти сосудики вооружены нервами и мышцами,— эти нервы и мышцы помогают большому сердцу, — миллионы этих нервинок и мышчинок составляют периферическое сердце... — Мы останавливали ночь гнилыми ставнями. Со мною затворилось странное. Я сидел рядом с Дюкло-мужем, м-м Жанна не слышала наших разговоров: и она стала отвечать мне, читая мои мысли. История художника Лугина повторялась мною. То, что м-м Жанна делала на сцене, что категорически отказывалась она делать у себя в доме,— делалось сейчас со мною. Возникал лермонтовский штосс. День был остановлен гнилыми ставнями. Я был слишком пьян рассветом, чтобы четко соображать. Дюкло-муж склонился надо мною, он весело крикнул, расхохотавшись:

— Борис Андреевич, — крикнул он, — мы весело разыграли вас! Выслушайте, на чем построен наш номер. Вы знаете, что такое стенография, — представьте себе — звукографию. Я говорю Жанне, — «ма́демуазель, будьте внимательней!» — вы слышите только это, — но вибрацией голоса, ударениями на звуки, придыханием, тем, как звуки я растягиваю, — я передаю ей: — «Борис Андреевич пьян и бредит Лермонтовым, которого, будто бы, он караулил сейчас около Шелудивки!» —

Я распахнул широко гнилые ставни.

Михаил Юрьевич! штосс Жанны Дюкло не есть даже фокус, это просто упорный труд и очень музыкальные уши. — Михаил Юрьевич! Иван Алексеевич Новиков утверждал березовую горечь троицыного дня Жанны Дюкло, — ужели чудесная березовая горечь Жанны Гоммер де-Гэлль не была горечью троицыного дня!?

...М-м Жанна Гоммер де-Гэлль... Впрочем, в селе Подмоклове, Подольского уезда Московской губернии, в церкви, на картине страшного суда — помещены вы, Михаил Юрьевич, в числе горящих в огне великих грешников, — вы, Михаил Юрьевич, чьи предки в Шотландии — один в одиннадцатом веке дрался с Макбетом, а другой в тринадцатом — был бардом, заколдованным царством фей и воспетым Вальтером Скоттом. Вы написали вашему другу Лопухину:

«...смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полициймейстера»...

Да, Михаил Юрьевич, — это трагическое России — полициймейстер слева! и я прав, мы наверное не встретились бы с вами — из-за полициймейстера. И вы не увидели бы, — как не увидали Жанну Гоммер де-Гэлль, — Жанны Дюкло, березовой горечи вашего штосса. Михаил Юрьевич, — тогда, в новогоднюю ночь сорок первого года, когда вы пили за смерть, вы не дорассказали истории титулярного советника Штосса,— вы ставили на карту жизнь ради своих видений, которые были выше жизни, вы понтировали на жизнь, — и титулярный советник Штосс играл с вами на клюнгеры!

И позвольте мне рассказать вам о м-м Гоммер де-Гэлль.

Я уже делал выписки из донесений генерал-адъютанта Граббэ, — «офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством» —

В наградном списке, написанном Раковичем, значится: —

«Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично... и поражал неоднократно собственною рукою хищников».

За степями, за лесами, на севере, в Санкт-Петербурге — за плечами Лермонтова, на плечах Лермонтова — стоял всероссийский император Николай, его величество, уничтожавшее Кавказ, когда горцы в приказах не назывались иначе, как хищники, дикари и сброд. — Михаил Юрьевич, пятого ноября вы расстались с Жанною Гоммер де-Гэлль. Вы вернулись на фронт в свой полк, — а мадам Гоммер де-Гэлль, на яхте французского посольства, под французским флагом, ушла в море, в бирюзу морских волн, в просторы моря, чтобы — —

чтобы — —

...от Жанны де-Гэлль остались пожелтевшие листки:

«Тэбу уехал, не простившись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и отправился на Кавказ стреляться с Лермонтовым. На четвертый день я увидела яхту на рейде. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не уехал и будет у меня с объяснением, все же, что ни говори, возмутительного своего поступка в биллиардном павильоне, когда он так скомпрометировал меня в глазах Тэбу. Он пришел. Я простилась с моим поэтом на станции, слушала и задыхалась. Я долго оставалась в раздумьи, пока я слышала звон его колокольчика, и затем поспешила сесть на катер, доставивший меня на яхту...

...в ночь перевезли на яхту четырнадцать ящиков с двумя стами карабинов, разной мелочью для подарков, порохом, моими туалетами и двумя горными пушками, все это под печатями английского консульства. Я их везу в подарок князю адигеев, — кроме моих парижских туалетов, разумеется, которые обворожали моего кавказского Прометея. Мне ужасно жаль поэта. Ему не сдобровать. А я целых две пушки везу его врагам. Если одна из них убьет его, я тут же сойду с ума»...

— — чтобы прийти, сокрыто от глаз императора Николая, к бирюзе кавказских берегов, — чтобы подняться в горы к военноначальникам тех племен, которых воспевали вы, Михаил Юрьевич, и которых — вы же, офицер Михаил Юрьевич, — уничтожали, — потому что эти люди отстаивали естественное свое право жить и не быть холуями императора Николая. Люди в горах встречали Жанну Гоммер де-Гэлль — всем благородством, которое вы знаете у кавказских племен. Вожди кланялись ей, этой солнечной женщине. — Михаил Юрьевич, Жанна Гоммер де-Гэлль привезла на своей шхуне, по сини моря — своим горным друзьям — пушки, ружья, свинец и порох, — тот свинец и тот порох, которыми кавказцы отстреливались от вас, офицер Михаил Юрьевич. Она, эта солнечная женщина, л ю б и л а вас, Михаил Юрьевич, поэта и человека, любила вас так, как никто не любил, — потому что она была — *не* русской. Вы не знали этого, Михаил Юрьевич, — вы играли р у с с к у ю п а р т и ю. Вы не знали, что те пули, которые посылали вам, — в вас чеченцы, — эти пули дала чеченцам женщина, любившая вас. Вы не написали романа м-м Жанны Гоммер де-Гэлль, вы, брат Байрона.

Я знаю — —

«...Жанна Гоммер де-Гэлль так описывала Тэбу, генерального консула:

«...Тэбу в самом деле смешон; он ходит с утра в светло-синем фраке, со жгутом и с одним эполетом и золотыми с якорями пуговицами, в белом жилете и предлинных шпорах (хотя он на лошади и без шпор держаться не умеет) и нанковых, несмотря на осень, панталонах. Костюм его совершенно напоминает Людовига XVIII блаженной памяти. Он очень смешон, особенно когда вальсирует

или галопирует и садится на минуту, весь впопыхах. Он, кажется, лечится от воображаемого жира и танцует более для моциона. Он страдает закрытым геморроем»...

Михаил Юрьевич, вы дурачили этого фламандского ловласа. Вы заставляли его в дожде дураком бегать вокруг биллиардного павильона, около вашей русской партии в любовь, когда чудесности были в ваших руках. И дурак стал рыскать за вами, чтобы вызвать вас. Вы проводили Жанну на его судно, отдали ее фламандцу...

Я знаю:— если бы не было этой ссоры с дураком, эта женщина, любившая вас, эта солнечная женщина унесла бы вас на пути своей шхуны, вы были бы с нею в морях, вы, брат Байрона, — вы отдали б вашу жизнь вашей поэзии, вашим демонам, — и ваша жизнь была бы чудеснейшей человеческой поэмой. Вашими плечами вы подпирали бы ваших демонов, вашу поэзию, но не императора Николая Первого, — и пуля Мартынова тогда была бы оправдана!.. Жанна Гоммер де-Гэлль ушла от вас в лазурь синих морей, она записала о вас: — «Мне жаль его, он дурно кончит. Он не для России рожден». — Она была права, ваш Штосс раскрыт Жанной Дюкло, Печориным я перепонтирую вас, вы не знали березовой горечи троицыного дня Ивана Алаексеевича Новикова, — причем, оказывается, Жанну Гоммер де-Гэлль совершенно не следовало выигрывать штоссом Жанны Дюкло.

. . . .

На севере, за степями, за лесами — лежала в болотах — великая!— Россия.

Часть третья.

... Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно:
Жду ль чего? жалею ли о чем?

Солнце уходило в облака, и облака горели красным закатом. Закат наступал медленно и упорно. Синяя тень от Бештау легла далеко в степь. Машук немотствовал. Зеленый лес не шумел. Прокричала в лесу сова, уже по-осеннему. И опять была тишина и умирал закат.

На земле валялась фуражка пехотного офицера, с красным околышем, с высокою белою тульею, фуражка лежала вниз тульей, и в ней были вишни. Так эта фуражка и осталась лежать здесь, ночь и рассвет, пока не приехала на утро следственная — «по делу стреляния между поручиком Лермонтовым и отставным майором Мартыновым» — комиссия. Эта комиссия подобрала фуражку. Эта же комиссия описала в протоколе своем «место стреляния», как сказано в протоколе.

«...место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне горы Машухи, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины горы Машухи до ее подошвы, а по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машухи»...

Лермонтов был убит: на дороге.

Солнце зацепилось за Бештау, озолотило его вершины. Прохлада ночи повеяла с Машука. Тучи собирались зловеще. Этот человек, в кавалерийских рейтузах и в красной рубашке, тот, фуражку которого подняли на утро, приехал первым к месту дуэли, и приехал один. И он долго лежал на земле, лицом к небу. Он глядел на умирающий закат и на тучи, которые собирались грозой. В картуз он положил вишен, но он не ел их.

...Что же мне так больно и так трудно:
Жду ль чего? жалею ли о чем?..

И в тот час, когда солнце зацепилось за Бештау, когда Лермонтов увидел — с этой проезжей в немецкую колонию дороги — увидел последний раз золото солнца на вершине Бештау, — в тот час приехали к месту бойни — блестящие офицеры: князья Васильчиков и Трубецкой, Алексей Аркадьевич Столыпин, гвардеец Глебов и — отставной майор Николай Соломонович Мартынов. Они приехали все вместе: Лермонтов — был один. Мартынов был громоздок и красив, должно быть, как Николай Первый, если бы Николай отпустил бороду, предвосхитив своего внука. Мартынов приехал убивать человека в черкесском белом бешмете, рукава бешмета были засучены, гозыри блестели серебром. Мартынов в бешмете походил на полосатый верстовой столб. Руки из-за засученных рукавов походили на руки мясника. Это был человек очень немногих движений, потому что он проверял каждый свой жест, чтобы каждый жест был непременно красив.

Все было очень просто.

Васильчиков и Глебов отмерили тридцать шагов, десять шагов, еще десять и еще десять: каждому по десяти шагов, чтобы итти к смерти, десять шагов мертвого пространства. Глебов передал пистолеты Лермонтову и Мартынову. Секунданты отошли в сторону смотреть, как будут убивать. За Машуком прогремел гром, вдалеке затрепетали без ветра листья.

Васильчиков скомандовал:

— Сходитесь!

Ворот красной лермонтовской рубашки был расстегнут, его рейтузы были измазаны землей, и желтый дубовый лист, оторвавшийся от ветки родимой, трепетал, зацепившись за голенище сапога. В горсти Лермонтова были вишни. Лермонтов взвел курок пистолета и взял пистолет под мышку, чтобы освободить руку для вишен.— Мартынов был торжественен. Человек немногих движений, он торжественно двинулся с места, с левой

ноги, пятки вместе, носки врозь. Он торжественно поднял пистолет, по всем правилам дуэлянтов. Он выстрелил. Лермонтов упал. Мартынов торжественно пошел в сторону, опустив дымящийся пистолет. Лермонтов упал с горстью вишен в руке и с пистолетом под мышкой. Лермонтов был мертв. В груди, в правом боку, дымилась рана, из левого текла кровь, — пуля прошла насквозь. Новый прогремел над Машуком гром, налетел ветер, стемнело сразу, свинцовые тучи застлали небо, полил дождь. Солнце ушло за землю. Глаза мертвеца были открыты и были — мертвы. Дождь смочил волосы мертвеца, и белая прядь на лбу, которую так любила гладить м-м Гоммер де-Гэлль, выбилась из прически, завилась. Труп лежал на колее дороги.

Князь Васильчиков тогда поскакал в Пятигорск — за лекарем. Черный мрак пал на землю. Дождь лил и лил из-за Машука. Лекаря отказались ехать на место дуэли — по такой погоде, и требовали — или протокола, или приказа — полицейских. И тогда в город поехали Столыпин и Глебов — за извозчиком, чтобы перевезти труп. И опять гремели громы и перекатывались эхо в горах, и рвались молнии, — и труп валялся на грязи дороги под дождем, молнии блистали над ним и гремели громы. Извозчики в городе последовали лекарям. И только к полночи приехали полицейские дроги. Офицеры пошли к трупу, чтобы оттащить его в сторону от колеи, они поволокли его, — и мертвец тогда вздохнул, спертый воздух со свистом выступил из груди: Лермонтов вздохнул очень печально, очень глубоко и — облегченно. Мертвеца взвалили на дроги, прикрыли полицейской шинелью и повезли в город. Фуражка на земле осталась до утра коротать ночь, — а кровь осталась в земле — навсегда. И всю ночь рвалось небо молниями, и стонал лес, и метался ветер, и кричали совы.

...«Погребение пето не было»...

. . . .

Усадьба Знаменское лежит под сердцем России, в тридцати верстах от Москвы, — и лежит в Черногрязенской волости, родовая подмосковная.

Шли годы. Мимо усадьбы пролегла железная дорога. Вокруг усадьбы задымили заводы. Усадьба, ее парки, ее пруды, река Клязьма под горою, дом с колоннами, с мезонином и с часами на бельведере, конный двор, службы — остановили время. В залах этого дома стала тишина. В залах этого дома висели родовые портреты. В кабинете хозяина этого дома — на письменном столе стоял портрет, один-единственный, небольшой, темный, сделанный масляными красками, неизвестного художника, — портрет Лермонтова. Лермонтов положил голову на руки и смотрел вперед — очень пристально, очень тяжелыми глазами. В этом доме нельзя было говорить: о н е м. Кабинет был пуст. Хозяин дома дни свои проводил в этом кабинете, никогда не появляясь на людях. За окнами осыпались листья и зеленели вновь, шли дожди и падали снега. В этом доме никогда не смеялись. Пало крепостное право, строились железные дороги и заводы, в 1871 году, в тридцатилетие убийства Лермонтова, по всей России, по импе-

раторскому указу, собирались деньги на памятник Лермонтову. Последние двадцать пять лет жизни хозяин дома выходил из своей усадьбы только раз в году — 15 июля. В дни около 15 июля хозяин дома совершенно замолкал. В этот же день — никто его не видел; полями, по бездорожью, он ходил на соседний заштатный погост князей Мышецких — и там служил — заупокойную обедню о рабе божием Михаиле. Дома в этот день он не выходил из своего кабинета, его никто не видел, и он сидел перед портретом — е г о. О н положил голову на руки и смотрел вперед. В этой усадьбе никогда не говорили — о н е м. Дороги к усадьбе заросли лебедой.

Николай Соломонович Мартынов умер в родовой постели с 14-го на 15-е декабря 1875 года, через тридцать четыре года после дуэли. В завещании своем он наказал никаких надписей не делать на его могильном камне, даже имени, — дабы имя его было стерто песком времени.

Погребение пето — было.

Углич, 22 авг. 1928.

Павлин.

(Рассказ).

С. Сергеев-Ценский.

1.

Когда мировой судья Белошейкин уехал из этого маленького крымского городка сначала в Севастополь, а оттуда с Врангелем в Стамбул, он захватил с собою только бриллианты, а все остальное бросил, и доберман-пинчера его, по имени Джина, присвоил старый доктор Тщедушев, а павлина взял художник Лука Петрович, сосед Тщедушева, и таким образом бывший живой инвентарь хозяйства Белошейкина переселился на высокую отдаленную окраину городка, откуда много было видно моря, много гор, много неба, а города не было видно совсем.

Чистопородная ищейка Джин попал к мировому судье от одного офицера, с которым был во время войны на германском фронте, и офицера там искалечили, а собака сошла с ума. Помешательство, правда, было тихое, но упорное, Джин весь был поглощен высматриванием снарядов в небе. Небо стало для него живым, небо стало для него коварным, небо стало для него переполненным мчащимися смертями, и он забыл о земле, он держал голову все время кверху, глаза его под желтыми бровями встревоженно оглядывали это коварное синее, а ноздри втягивали, втягивали шумно, — не пахнет ли оттуда шрапнельным дымом?

Мальчики дразнили его:

— Джин... Зарывайся! — и падали на землю, и тут же Джин, припавши к земле, начинал рыть усердно передними лапами.

Крымская земля — твердая глина, она подавалась плохо, но нужно было спешить выкопать свой собачий окоп, и бедный Джин визжал, сдирал кожу на лапах и, чуть спрятав голову, прижимал короткие уши, прятал куцый хвост и только глазами поводил влево-вправо, ожидая всем телом: вот разорвется. И долго так мог лежать.

— Зачем вы его взяли? — говорил Тщедушеву художник. — Он ведь, известно, с мухой...

— Однако... все-таки пес... стеречь дом будет... — спокойно, но упрямо отзывался доктор, уже глубокий старик, лет семидесяти.

Раньше он жил здесь, не поддаваясь малодушному страху, но с недавнего времени начал бояться грабителей. Тогда он очень хитро пристроил к одному из своих окон снаружи медный таз, к тазу — железный язык от колокольчика, к языку этому — тонкую бечевку, а бечевку пропустил через ставень, запиравшийся висячим замком. В случае если нападут ночью грабители, он думал, дергая за бечевку из комнаты, звонить в таз, как в колокол, и этим собрать соседей на помощь.

Однако и соседи не все были надежны. Иные могли, пожалуй, подкрасться ночью и снять таз: все-таки он медный и кое-что стоит. Вот почему старый Тщедушев водворил у себя брошенного Джина; он должен был спать около дома и охранять медный таз. Доктор не сказал художнику, что именно для этого нужен был ему Джин.

— Нет, это уж теперь небесное создание, — покачал головой на собаку Лука Петрович. — Не Джин, а пери!

— Зато уж ваш павлин, любезнейший... э-э... Лука Петрович, — он — земной. Да, — он, конечно, земной... Он только в землю и глядит, кабы где чего этак!.. Вчера забрался ко мне, и что же? Три зимних левкся оборвал.

И доктор шесть раз пожевал, волнуясь, впалыми губами и через очки посмотрел на художника точками зрачков пронзительно и строго.

Художник забрал в обе руки свою рыжую бороду, потер ее между ладонями, понюхал и сказал убежденно, что левкои теперь, хотя бы даже и зимние, окончательные пустяки. Потом, понизивши голос и оглянувшись кругом, он рассказал, кого в этот день утром там, в городке, усадили в автомобиль и увезли куда-то.

Доктор вытягивал вперед подстриженную седую бородку и шептал испуганно:

— Что делается!.. А?.. Что творится!

Потом он, высокий и все еще прямой, поджарый, медлительно уходил от художника к себе, торжественно, как журавль, ставя длинные ноги.

Художник был маленький и бородатый, как гном, и когда жена его, влажная сорокалетняя дама в пышных веснушках по всему лицу, накинулась на него, зачем он притащил павлина, он заговорил горячо и обиженно:

— Катя, Катя!.. Такую красоту, а?.. Ты — жена художника, и вдруг — восстаешь. И что же тогда требовать от других?.. Ведь это — палитра гениального мастера, палитра на двух ногах!.. Симфония красок!.. Ты взгляни только!.. Ты приглядись! Ты посмотри, какие тона!.. И уж кончено, — нигде, ни у кого нет, — только у нас!.. Ведь теперь — второй русский потоп!.. С одним красноармейцем говорил я... «Вот, — говорит, — штука: пчелы не осталось. Ни одного улья, от Москвы шли и до самого Крыма не видали!..» А пчела что же такое по сравнению с павлином?.. Вот только тоскует, бедный, без самки тоскует... Ах, если бы к нему еще паву где-нибудь достать!

Голос у художника был высокий, у Кати — низкий, — и сказала она ему веще:

— Мало тебе?.. Погоди, и с этим заплачешь!

Скоро оказалось, чтобы есть хлеб, надо было служить. В наробразе получал свой паек черного ячменного хлеба художник, в здравотделе — Тщедушев. Оба поджались, похудели, и показал все свои ребра задумчивый бурый Джин, рассеянно глядевший на землю и внимательно в небо.

Зато деятельно шнырял всюду длинный, как змея, и с маленькой змеиной коронованной головою зеленый павлин.

На этой высокой горной окраине по шиферным сыпучим балкам расли дубы. Их вырубили когда-то, но кусты на пеньках поднялись и все-таки давали жолуди. Павлин собирал жолуди. Кое-где по скатам устроились лохматые татарники; павлин трепал и шелушил шишки татарников. Если попадалась зеленая трава, — щипал траву; выползали после дождя толстые дождевые черви или улитки, — глотал червей и улиток, раскапывал в дубняке кучи палых листьев и находил под ними гнезда зимовавших мокриц... И только когда выпадал на день, на два снег, павлин никуда не уходил от двора художника и настойчиво требовал, чтобы его кормили, стучал носом в двери, взлетал на окна и заглядывал в комнаты, крича просительно, пронзительно и неприятно.

С ним не играли, как с Джином, мальчишки здесь, на горе; он держался дико, гордо и строго.

В теплые яркие дни, когда прилив жизненных сил был особенно нестерпимо велик, он нервно выбрасывал над собою темносине-голубо-зеленое стоглазое пламя хвоста и кричал призывно:

— Пэ-эгу!.. Пэ-эгу!..

Тогда он был точно одержимый. Он взлетал на крыши домов, поворачивал ищуще во все стороны венценосную голову и выкрикивал, весь дрожа и надрываясь:

— Пэ-эгу!

Если дома казались ему слишком низки, — да они же все тут были одноэтажные, — он перелетал на верхушки старых кипарисов и оттуда звал взволнованно:

— Пэ-эгу!

Потом начинал кружить по пустырям, уходя верст за пять, шныряя в кустах с необычайной ловкостью и быстротой, забираясь даже в лес на предгорьях, — и возвращался только в сумерки, совершенно усталый и утихший.

В такие дни его томлений художник часто хватался за свои краски, но не хватало уж то одной, то другой, негде было достать. Чистого холста тоже уж не было, приходилось соскабливать и замазывать старые холсты, и художник томился, бесновался и вскрикивал, как павлин.

2.

Весною, когда объявлен был нэп и начала проходить всеобщая оторопь и оцепенелость, все почему-то усиленно кинулись ковырять землю.

Тяжела была здесь, на горе, глина, скрепленная камешками шифера, но даже доктор Тщедушев, который не мог уже гнуться, и тот тюкал по ней цапкой, насаженной на очень длинный держак, выкидывал вон свои зимние левкои и, бродя между кустов, собирал в мешок прошлогодний сухой конский и коровий кизяк, чтобы его размочить и им удобрить грядки под морковь и свеклу.

Художник же, в золотой бороде которого щедро забелело уж серебро, ретиво переворачивал свою землю железной лопатою на четверть в глубину и делал не только грядки для моркови, но даже лунки для огурцов, арбузов и дынь.

Сажать—так сажать, чтобы уж все было. И, доставая семена, он очень тщательно записывал, какие именно сорта ему давали, зеленомясые или красномясые будут у него дыни. Зеленокожие или белокожие арбузы. Бородавчатые или гладкие огурцы.

Очень любопытствуя теперь насчет дождя и ведра, он где-то достал себе даже барометр, но барометр этот был такой же странный, как все теперь: он предпочитал стоять на «переменно», не решаясь итти ни на «дождь», ни на «великую сушь», и трудно было догадаться, рожден ли он был настолько умным, или усвоил себе приемы вообще всех оракулов, уже поумневши впоследствии, но только, если пылкий Лука Петрович, усмотрев иногда на его лике некоторое радующее передвижение стрелок, кричал соседу:

— Барометр!.. идет!.. на дождь! —

то Тщедушев, по-стариковски внимательно окинув небо, заканчивал:

— Но дождь... не пойдет... на барометр!..

И старик не ошибался.

Как только появились зеленые древесные лягушки, художник поймал одну, посадил ее в банку с водою и по ее курлыканью соображал насчет дождя, но и этот указатель оказался совершенно бессистемным и легкомысленным, кроме того для него приходилось ловить мух и в не совсем задавленном виде осторожно опускать в банку: не околевать же было лягушке от голода?

Возня с мухами надоела, наконец, художнику, и когда из открытой и стоявшей на земле банки выудил лягушку проходивший мимо павлин, художник отнесся к этому без огорчения.

Старуха со многими бородавками и с очень резко очерченными мышцами длинной шеи, жена Тщедушева, редко показывалась на горе, больше сидела или лежала дома. Но когда показывалась, то могла часами смотреть на море.

Море было пустое теперь, — никаких пароходов, ни парусных огромных баркасов, как прежде,—только синь, гладь и безбрежность. Но вот ветка цветущего миндаля — как ажурно она раскинулась над этой синью! Белорозовые цветы такие густые, сочные, в них индигово-синие шмели, и под этим сейчас же бесконечная гладь воды... Старушка смотрела-смотрела, вытянув отчеканенную шею, точно приготовленную для изучения по ней шейных позвонков, мускулов, сухожилий, вен и артерий, а Тщедушев, возившийся около в земле, ворчал однообразно:

— Это твоя была несчастная мысль сюда забраться, — твоя!.. Вы-со-ты? Круго-зо-ры?.. Вот они твои кругозо-ры!.. Что будем делать мы, когда и мои ноги отка-жут-ся?... А они могут, а они могут!.. Что-о? А-а?..

— Ах, что ты о разных ужасах в такой день?.. — как будто пугалась старушка, но ветка миндаля, цветущего, белорозового, пахучего, наполняла ее восторгом, а бесконечность, синяя под ней и голубая над нею, уносила ее далеко в прошлое, и она начинала даже шутить,— да, шутить или опьяняться, и, приводя в движение бородавчатое, сморщенное, угловатое, желтое лицо и костлявой рукой подымая на груди капот, она добавляла:

— Познакомь меня только, попробуй, с каким-нибудь молодым студентом красивым, — ах, что бы мы с ним стали разделывать!..

И глаза ее без ресниц пытались глядеть очень лукаво, кокетливо и шаловливо, так что пугали Тщедушева.

3.

Кроме художника и доктора в разбросанных беспорядочно домиках здесь жили бывший извозчик Силантий Голосюта (прозванный так за бабью растяжку слов в разговоре), у которого от двух кобыл, угнанных вместе с экипажем куда-то в дальние горы зелеными, остались два маленьких жеребенка-сосунка, только и всего хозяйства; бывший красноармеец Афанасий Цикавый, человек еще более обиженный: от него ушла жена Лизавета и угнала ночью, когда он лежал пьяный, корову и двухгодовалую телку на другой конец города к своей замужней сестре, оставив ему только месячного пестрого бычка, и Андрей Дармограй, сторож довольно обширной дачи Петуньиных, о которых неизвестно было, живы ли они и где находятся, если живы.

Этот обстоятельный семейный неторопливый человек, отец трех мальчишек, жил тем, что продавал вещи Петуньиных: самовары, посуду, белье и мебель. Силантий, ходивший работать в винные подвалы совхоза, кормился тем, что продавал украденное оттуда вино, а Афанасий с неделю ел студень из оставленного ему бычка, потом стал гнать спирт, на что оказался очень способным: по ночам замечали над трубой его домишка синий дымок; пил и мрачно обдумывал, кого ему надо зарезать на другом конце города: корову, телку, жену или свояченицу, по наущению которой ушла жена?..

Пока же он, мелкоглазый, толстоносый, усатый и синий с лица, выговаривал Голосюте:

— Удивляюсь я на тебя, чего жеребят не режешь?.. Думаешь, мясо паскудное?.. А на фронте ж мы жрали!.. Татары казанские, так те безо всякого фронту, природно конину жрут!..

— Э-эх, ты-ы, — голосил Силантий. — Кормильцев своих будущих чтоб я ре-зал?.. Неуж я их до дела не доведу?.. Они же, гляди, жеребцы оба.

Цикавый презрительно глядел в его калмыковатое широкое и плоское, как кирпич, лицо и тянул по-его:

— Же-реб-цы-ы!.. Это ж два паука страшных!.. Только ноги одни, и те как штраусы.

Один жеребенок, поменьше, был совсем слабенький, — все лежал, а подымаясь шатался, и Голосюта, когда приходил с работы в подвале, старшенького гнал на траву, а меньшого нес; и так до темна каждый день приучал их пастись, а Цикавый над ним мрачно смеялся.

Лука Петрович к Дармограю ходил за советами, как теперь жить, Голосюту жалел, а Цикавого боялся. Тщедушев же боялся всех трех.

Дармограй посоветовал художнику еще в феврале, если есть у него лишние оконные рамы, устроить парничок для огурцов. Художник снял вторые рамы с окон и их приспособил. А когда в апреле завязались первые огурцы, — рамы же были подняты, — пришел павлин, нырнул туда-сюда увенчанной головою и начал жадно склевывать завязь.

Художник заметил это издали, возвращаясь из наробраза, и мальчишки Дармограя видели, как этот почтенный мужчина, с рыжей бородою и в фетровой коричневой дырявой шляпе, вдруг побежал к своему парнику, размахивая руками и неистово крича: — «Катя!.. Катя!..», как он кинулся на павлина, схватил его за горло и стал душить, потом выскочила жена художника и оттащила мужа, а павлин, — так как дело было как раз над оврагом, — задергал ногами, затрепыхал крыльями и покатился в овраг.

Мальчишки кинулись задами к оврагу, — а овраг был очень глубокий и уходил к самому морю, — и увидели, как по дну его, то-и-дело встряхивая головой и вытягивая шею, проворно шел павлин, отчетливый на черном шифере.

Мальчишки гикнули, тюкнули, свистнули, — павлин подлетел, часто хлопая крыльями, и исчез за поворотом оврага.

— Живучий, как кошка! — сказал младший из молодых Дармограев восторженно.

— То-оже!.. Ду-умал! — обернувшись к дому художника, покачал головой насмешливо средний и губы выпятил.

А старший, которому было уж лет пятнадцать, Савка, мальчишка несообразно вытянутый, с косым черепом, с большим носом и с глазами навыкат, обернувшись туда же, куда и средний, помотал энергично кулаком перед носом и прокричал в ту сторону:

— Ты спасибо скажи своей жене, что не удушил!.. Я бы тебя за павлина камнем в морду!.. Хозяин тоже нашелся!..

Потом между тремя Дармограями в балке пошел жаркий разговор, чей этот павлин, и Савка доказал младшим, что павлин совсем и не художников, потому что художник его не кормит, а спать в его сарай он может и не приходить: теперь тепло, и спать он может где угодно.

Действительно, после случая с огурцами, павлин перестал подходить к дому художника, а на ночь садился он на высокий корявый дуб, который рос на чьем-то незастроенном месте как раз над копанкой, стоявшей до половины лета с дождевой водой.

Внизу под дубом густо разросся шиповник, пивший корнями воду из копанки, до того частый и колючий, что подступиться к нему было невозможно.

Когда заметили это переселение павлина мальчишки, то Савка замигал лупоглазыми глазами чрезвычайно воодушевленно, крикнул торжествующе в сторону дома художника:

— А что?.. Ага!.. Вот тебе и шиш с маслом!

И перед длинным носом своим поиграл длинными пальцами.

4.

Дня за два до Первого мая предревком Золотаренко, дюжий матрос со шрамом на левой щеке, сказал художнику:

— Предположено, товарищ, похоронить с честью в братской могиле здесь местного героя революции прах... вот!.. Понятно?.. Командируетесь с этой целью мною, чтоб его откопать и привезти.

— Где откопать? — очень удивился художник.

— Разговоры оставьте!.. Мне некогда!.. Там вам скажут, — и ушел от него деловой походкой.

Упавший духом Лука Петрович едва разыскал подводу с готовым гробом, кирками, лопатами и двумя парнями — русским и татарином.

— Далеко ехать? — спросил художник.

— Да вить — шишнадцать верст! — сказал русский.

А татарин:

— Перевал знаишь?.. Туда.

— Да за день-то мы обернем? — испугался художник.

— Как лошадь не сдохнет, — отчего же?.. К вечеру доплуганим, — ответил русский и добавил искательно: — табачку с собой захватили?.. А то мертвые кости эти, — дух от них шибко чижелый!..

— А как мы найдем их, эти кости?

— Э-э... Двадцать разов мима хадил, — сказал татарин.

Герой-татарин был все-таки не из местных, — не нашлось из местных ни одного павшего героя, — а из деревни Узень-Баш, верстах в семи по шоссе, и туда нужно было заехать за его дядей, чтобы он распознал кости племянника, так как вместе с ним был закопан еще и

белый офицер, убитый в перестрелке, однако дяди этого не застали дома,— поехали дальше без него.

Могилу в лесу на перевале нашел татарин, кости выкопал киркою русский, но схоронили два года назад оба тела здесь голыми (живым нужна была их одежда), — кák было различить прах от праха?..

Но вот у одной головы сверкнули в верхней челюсти два золотых зуба.

— Ага!.. Улика налицо!.. Вот — офицер! — сказал художник, пнувши в золотые зубы ногой.

Русский парень сейчас же разбил этот череп киркой, выбил золотые зубы, один дал татарину, другой взял себе, а художник все курил и прижимал бороду к носу, однако постарался он вспомнить анатомию и тщательно собрал скелет.

Когда возвращались к вечеру мимо деревни Узень-Баш, ждал уже их дядя героя и попросил показать ему кости. А когда посмотрел, то повернулся и пошел, заложив руки назад, а кочелобую голову в шапочке свесив наперед и ничего не сказавши.

— Жалеет, — объяснил молодой татарин.

Но оказалось другое.

Первого мая схоронили прах в братской могиле, обнесенной красной решеткой, недалеко от голубоватого пляжа, взмыленного легким прибоем, и предревком Золотаренко в краткой, но выразительной речи сказал, чтó нужно было сказать о героях-татарах, а на другой день явившийся в город по какому-то своему делу дядя из Узень-Баша рассказал в ревкоме, что племянник его до революции жил один год в Ялте, там «любовь крутил, панимаешь, з еврейка одной, зубной оно докторша», а та «посадила ему дыва зуб чисто-золотой», между тем как в гробу, который везли мимо Узень-Баша, «все зуб был чисто одна белый».

Золотаренко вызвал к себе художника и сказал ему коротко:

— С пайка долой!

Напрасно Лука Петрович приводил в оправдание себе известный случай из истории искусства о знаменитом испанском художнике Гойя:

— Он умер не в Испании, а во Франции... в городе Бордо, — волнуясь, говорил художник. — И вот, то же самое: его схоронили в одной могиле с другим испанцем, а кинулись потом переносить прах в Мадрид из Бордо, — оказалось — не могли разобрать, где который прах Гойя, который просто так себе прах... Свалили все кости в кучу, да так и привезли в Мадрид... И покоится теперь под памятником в Мадриде великий Гойя,— двуглавый, как царский орел!.. За особую гениальность в живописи наградила его Испания после смерти приставным вторым черепом... вот так.

— Испания, Испания, — осерчал еще больше Золотаренко.— Тут тебе не Испания гнусная, а советский строй!.. Приказано привезть что надо, — и сделай!..

— А то вот еще Моцарт, композитор великий... Тоже схоронили в общей могиле, а кинулись потом искать, где какой прах Моцарта, ни

черта не могли разобрать!.. Так над общей могилой этой и взъерепенили памятник!

Лука Петрович старался говорить бодро и деловито, делая соответствующие жесты и бородой и короткими ручками, но Золотаренко посмотрел на него страшными глазами и шрам на левой щеке его налился кровью.

— Я сказал: с пайка долой! — закричал он. — Никаких чтобы разговоров интеллигентских.

Уходя из комнаты предревкома, опечаленный художник пропустил туда какую-то стариннейшую старуху, которая, продираясь мимо него, воскликнула радостно:

— Дывись!.. Так це-ж Золотаренко-матрос, — а кажуть якійсь Ривко!

— Что надо, бабка? — крикнул ей Золотаренко.

Но бабка таинственно понизила голос:

— Та кажуть, — сады — виноградники какие барские булы, делить будуть... так ось, чуете, шоб мене не забулы... Запишить-бо Горпина Верга!

— Каких тебе садов?.. Которы на кладбище? Тэбэ сто годів е?

— Та ни-и... Це люди брешуть, шо мини сто годив, — очень бодро замахали рукой старушка.

— А сколько ж?

— Ма будь... девьяноста... А ни як не бильше — девьяноста! Пишить-пишить: Горпина Верга!

И, уходя из ревкома, так и унес их в памяти художник: набрякает у Золотаренки отбрякший было шрам, трясется у столетней Горпины алчная голова, врывается в огромное окно и обливает обоих ярчайшим светом майское солнце.

Однако и доктор Тщедушев не больше, как через неделю, был выкинут из здравотдела. На крошечном узеньком клочочке бумаги он получил предписание ехать на эпидемию дизентерии в отдаленную горную татарскую деревню и вздумал отказаться, сославшись на свои семьдесят лет и на то, что жена умрет от страху, если придется ей ночевать одной.

— Списать с пайка, — приказал Золотаренко.

Не веря этому, Тщедушев еще дня три аккуратно шагал на длинных торжественных ногах с горы вниз в город все за тем же куском невиданного раньше никогда в Крыму черного, как уголь, ячменного хлеба, пока не накричала на него девица с черными глазами:

— Ну, что вы к нам лезете все? Ну, что вам нужно?.. Не понимаю!.. Ведь вас же вычеркнули из списков?.. Чего же вы лезете?

Когда он рассказывал об этом художнику, то замигал вдруг лиловыми веками, и художник увидел, что этот гордый, торжественно-шагавший старик плачет.

Чтобы его утешить, художник сказал:

— Хотите, я вас угощу своей редиской? — Вот!.. Я вытаскиваю и подсаживаю, выдираю и на то же самое место новое семечко!.. У меня целый год редиска переводиться не будет!.. Кушайте.

Тщедушев посмотрел на розовую редиску с сожалением, а на художника удивленно и вдруг широко разинул темный и мокрый рот, приближая его к лицу художника, так что тот даже попятился в испуге.

А, закрывши рот, сказал старик неожиданно кротко:

— Как и чем могу я жевать редиску, когда нет у меня ни одного зуба?

В это время к раскрытому окну, перед которым они сидели на застекленной веранде в доме художника, подошел павлин.

Он, казалось, забыл уже, что здесь недель шесть назад его душили. Он нырнул несколько раз темнозеленой, лоснящейся, белоухой, змеиной и вместе явно увенчанной головою, закричал: — пэ-эгу! — и развернул пышный хвост, как флаг примирения.

— Посмотрите, посмотрите,— ах, красота какая! — закричал в восторге художник и жену из кухни тоже позвал: — Катя, Катя!.. Взгляни!.. Только взгляни!

Павлин стоял, явно красуясь, чуть колыша своим изумительным хвостом, точно хотел сказать: — «Лю-бу-етесь?.. То-то!.. Можете, можете любоваться».

— Чудесная птица!.. Самоуверенная птица! — продолжал восхищаться художник. — Какое богатство красок!.. Гордая, само-стоятельная птица!.. Но-о!.. одно нехорошо в ней — вор.

— А кто же теперь не вор? — меланхолически спросил Тщедушев.

5.

Афанасий Цикавый не зря гнал по ночам спирт и упорно думал над тем, кого ему зарезать.

С обвисшими бурыми усами, с тяжелым взглядом маленьких серых глаз, с веревкой в руке и с ножом в кожаных ножнах, который был прилажен к ременному поясу, как кортик у моряков, он остановился как-то утром перед художником, поливавшим свой огород, и сказал ему, вытирая пот со лба:

— На-праст-но!

— Что напрасно? — испугался его вида и ножа и веревки Лука Петрович.

— На-праст-но клопочетесь!.. Говорили так — жа-рá будет сто градусов!

— Кто это вам говорил?

— В ревкоме все известно!.. Сто градусов, и все чисто тогда должно скипеться... Все скрозь!

— Не верьте, Афанасий!.. Если даже и в ревкоме бы вам это сказали, и ревкому не верьте, — пытался убедить его художник.

Но Афанасий посмотрел на него с большою злобой, пробормотал сквозь зубы:

— А не все равно, скипится, чи не скипится?.. Е-рун-да!..

Потом связал веревку в бунт потуже, поправил нож на поясе и пошел.

Но, постоявши на бугре, с которого открывался вид на весь город, лежавший в долине речки, очень скученный в центре и очень разбросанный по окраинам, и на горы с фиолетовыми каменными верхушками, он медленно повернул назад и очутился снова перед художником.

— А вы ж мое дело знаете? — спросил он очень натуженно.

— Какое дело? Не знаю я вашего дела! — насторожился художник, думая о спирте.

— А вот... Лизавета, моя жена, и моя худоба: корова з телкой!..

Глаза у него очень остро блестели, как осколки разбитых оконных стекол, когда косой дождь идет и скупое солнце светит, и слова его ложились отчетливо одно к одному:

— Она, подлюга, смеет мне говорить: — «Я годувала эту худо́бу!..» А я не годувал? Она говорит мне: — «Я ее скрозь пасла по балках! Я последнюю юбку на себе по кустах рвала!..» А я не пас?.. А я, стало быть, рубах не рвал?.. Вам это ка́к, из своих окошек было́ видать или не было́ видно?.. Или мы тогда только видны, когда в нас одна лютость лютует, а не когда наше горе горюет?

— Хорошо... Знаю я вашу Лизавету... Старательная женщина!..

— Ста-рательна?

— Да... хозяйственная... а только при чем же здесь я?.. Я ведь не судья между вами?

— Тот не судья, — этот тож не судья!.. Тот не при чем, этот опять тож не при чем!.. Хотится мне знать, кто же есть тут при чем, а остается один отворотительный итог... вот!.. Ну, поливайте свою квасолю, поливайте, да га-арно ж, смотрите, полейте, чтобы ей очи не западали!.. З тим до свиданья!

И Афанасий блеснул глазами, приподнял театрально и прихлопнул на голове блин солдатской фуражки, сделал было три решительных шага, но вдруг обернулся срыву, повел в стороны головою, пошел прямо на художника, подлез под колючую проволоку его ограды, стал с ним рядом, взял его за руку (и художник почувствовал, что взял очень крепко) и сказал ему как будто даже весело:

— Ось, сидайте тут на травку, и я з вами сяду!

— Э-э,— досадливо поморщился художник, но, отставивши лейку, все-таки сел и сказал, вздохнувши: — В милицию заявить нужно... или в народный суд... Там знают!

— Эх... Лука Петрович!.. «В милицию... Там знают...» Там знают сказать: «Жена твоя ушла? — Полное имела право. — Коров твоих забрала! — Мает полное право! Кака-така тепер «твоя» жена?.. Каки-таки тепер «твои» коровы? Тепер же общее все, а ты «своих» жену,

корову шукаешь...» А куда же тулиться, я вас вспрошу? Чи блукать, чи подыхать, чи людей резать? Ну, немае ж жизни!.. Я как ось сейчас глянул униз, а там зеление, аж заплющил очи, так в голову вдарило!.. И что же я такое вспомнил, а?.. Ось, сейчас я вам скажу, что... Эго ж годов... ну, почитай двадцать тому, служил я в економии в Подольской губернии у одного еврея... Их два брата было, — так, чтоб уж не брехать, а правду казать, — и, конечно ж, не ихняя была економия, а одного пана Швыйковского... То был пан из богатых богатый... Не знаю, под Россией остался, чи до Польши тепер перешел... У в этой економии две тысячи десятин было, а у него их таких шесть было... або семь... Нет, таки шесть, — седьму он продал... Арендателев-евреев два брата было: Мойсей Лазарич и, кажись, Абрам Лазарич... молодых оба лет... Я у них в другой економии служил, а эту ж, у Швыйковского, только сняли они в сентябрю... А у нас так там было завьедено, — не знаю за другие местности, — у нас как кто брал в аренду землю, так и оставлять ее должен. Примерно, — тридцать пар волов было, — уходишь ты или срок тебе вышел, и ты ж тридцать пар оставляй!.. Не бычков каких-нибудь, абы что, чорт знает что, — а волив-таки настоящих!.. Так же лошадей, так же скота прочего... Сеялки, веялки, лобогрейки, — одним словом, все чтоб по списку!.. Вот, значит, оставили им прежние арендатели озимый посев шестьсот десятин, — пшеница, конечно, по наших местах. Я их на эту пшеницу возил, — спрашивают меня: «А чи сіяли, чи совсем ні?»— А, кажу, глядить соби сами заборóнено, значит, звестно, сеяли. — «А как же это нема ничого?»— А уж это — дело хозяйское... Кругом, знаете, пшеница вот как взялась, — как щетка стоит, а у них хоть бы тебе былка!..— Что ж это такое? — кажуть: — О-ка-зия!.. — «Ищи, Мóйсей, може где найдешь былку!» — И другой, Абрам Лазарич, следом ходит, — смотрит скрозь, — не-ема!.. Две недели я их кажный день возил, а ни едной былки нема!..— Значит, семена такие были, говорю, сеяно-заборонено, а не взошло!.. Айда! Пересевать будем просом! Зови людей!.. Скликали людей человек тридцать!.. Вывезли подводы проса!.. Стали уж люди в один ряд, пополам с землей просо помешали, — потому что его ж так в руке просо не удержишь, — а как же! Завсегда с землей мешают, как сеять!.. Глядь, в это время Мойсей Лазарич былку одну найшел... другую... третью!.. Значит, убедился — удостоверился! сеяли люди!.. — Эх, говорит, — отец-покойник наш целый век он землю у панов арендувал, и от него я еще слышал, не пересевай нипочем! Урóдит, — уродит, — не уродит, — хай ему грец! Спроти божьего дела итить, — на свете не жить!.. Вот вам, хлопцы, поденные ваши (четвертак тогда день считался), идите с богом!..

И что ж вы себе думаете?.. Прошел день, — ничего, и два прошло, — ничего!.. А на третий как вшкварит с утра дожжь!.. Бра-ат!.. Два дня он под-ряд парил! — День пропустя, опять дожжь!.. Еще день пропустя, на три дня припустил!.. Во-от как землю разьез, — головой утонешь!.. Смотрю потом на наши озимые, — эге-ге, бра-ат!.. А уж вороны в них не видать! Враз двинули. Двух недель не прошло, — ку-уда! — Уж и гуску

не зобачишь! Да ведь что з нее вышло-то? Аж крестьянску скотину пришлось на ланы зазывать (это л а н ы у нас называется). — Эй, гони, эй, гони на ланы, а то колос пустит!.. — Стравили зеленя скотом, а потом снег пошел!.. Ну, там у нас он не лежит долго, почти как и здесь... Ка-ак пошли весной чесать зеленя, — э-эх!.. Верите ль, по пятьдесят шесть колосьев на одном кусту было — я сам считал!.. Вот до чего!.. А колос — в четверть!.. Косить чтобы, —ку-уда!.. От дождей все чисто легло. Баб на жнитво нанимали... Так что сверх двух сотен пудов десятина пришлась! Ко́пы одна коло другой стояли... А Мойсей Лазарич ходит округ молотилки: «А что, хлопцы, — стало быть, мой папаша-покойник он знал?»— «Поэтому, выходит, говорим, да-а!.. Выходит, что зна-ал...»

— Что он знал?.. Вы к чему это мне?.. Ничего я совершенно не понял, — поморщился Лука Петрович и, отвернувшись, стал глядеть в морскую синь.

— Притчии моеи не поняли?.. Э-эх!.. А кто же теперь понимать может? Посеяно-заборонено, — поняли, об чем я кажу? — И крепко ухватил Афанасий художника за колено. — А ни бы-ылки немае!.. А чортмае едной былки!.. От!.. Посеяно-заборонено, кровью наскрозь прошкварено, — дождить тепер часу того, как оно враз потягне!.. Теперь поняли, об чем я кажу?

— Теперь понял!

— Кто я есть? — ударил себя в грудь Афанасий. — Есть я дембилизованный красный боец!.. За что же я воювал? — Воювал я за народну долю!.. А себе долю звоював? Ага! Поняли?.. От!.. И должен я окаянный жребий получить!..

Он долго, испытующе и жутко глядел, выгнувши шею, осколками стекол в прячущиеся глаза художника и вдруг поднял голову: это он увидал на другом боку оврага ныряющего павлина.

— Па̀у-па̀у-па̀у! — позвал он вдруг нежно. — Па̀у-па̀у-па̀у!

И павлин крикнул коротко, точно ударил в железную проржавевшую лопату, помахал крыльями и занято исчез в кустах.

— Эх, птица милая, — умилился Афанасий. — Одна, бидолага, одна пасется!.. А с куркою, значит, он не может?.. Отворотительны они ему!.. И с индейкой, поэтому, тоже?.. Эх, птица милая!.. Я ведь его сколько кормил, — он меня знает! Ну, бывайте здоровы, Лука Петрович!.. Извиняйте, что я з вами так много рассказывал!.. так все!.. здря!

И он протянул художнику очень грязную, давно, должно быть, не мытую руку, пролез под проволоку обратно и уж больше не возвращался.

А художник, вымывши себе руки из поливалки, вдруг почувствовал, что по спине его под рубахой что-то ползает бойко, и так как он был очень чувствителен, то сейчас же побежал в дом и начал кричать в ужасе:

— Катя, Катя!.. Катя, блоха!.. Катя, блоха!..

И Катя, выскочив из кухни, произнесла басом:

— Ну, конечно, — еще бы!.. Ты бы больше рассиживал тут со всяким!

И тут же принялась стаскивать с него рубаху.

На другой день они узнали, что Афанасий ночью зарезал свою Лизавету, а сам повесился на той самой веревке, с которой приходил.

6.

Очень жаркие дни стояли в июле: сто не сто, а пятьдесят по Цельсию было. Одуряюще густо запахли кипарисы, и то тут, то там начали желтеть на них ветки, что казалось даже жутким необычайно. Миндальные деревья густо облепились шишками бурого клея, листья свертывались, скручивались и сохли. Все горные скаты даже днем стали казаться розовыми, точно подожгло их снизу. Стоять долго на одном месте, нагретом солнцем, даже и в обуви было трудно.

— Что же это, а?.. Что же... это?.. Ведь... дышать нечем — говорил Тщедушев художнику и широко, как рыба на берегу, открывал черный рот.

Лука Петрович смотрел сначала на свой барометр, потом на небо без единой тучки и хватался за голову. Воды у него в бассейне оставалось на донышке. Огород засох.

— По-би-рать-ся прихо-дится, — склоняясь к его уху, шептал Тщедушев. — Вчера иду по набережной,— вижу: фельдшер наш, — лекпом,— Севастьян Иваныч!.. «Как же так,—говорю,—вот... старуха моя... больная, говорю... Лежит!..» А я уж знаю, что это — его штуки. Его!..

— Какие штуки? О чем?

— Это он меня с должности спихнул! Он!.. А у него пакет в руке!.. «На-те, — говорит,—вот!.. Паек получил...» Я думал—чай!.. Показалось так: чай, думаю... Да-авно не пили чаю!.. Целовать даже эту морду стал!.. растрогался!.. А там горох в пакете!.. Горох!.. Полфунта!.. Червивый!.. Вы меня понимаете?

Художник понимал: он и сам уже начал побираться.

Теперь хороши были только такие знакомые, у которых подозревался хлеб, такие, которые жили внизу около речки, своими домками, — имели сад, виноградник, сажали табак, а за табак получали муку. Теперь только они и были настоящие ценные, дорогие люди.

У художника был один такой знакомец—татарин Гафар, троечник, бывший проводник, теперь уже сивоусый и несвободно владеющий левой ногой.

Когда, лет за десять перед этим, в первый раз сюда ехал Лука Петрович со своею Катей на тройке, в фаэтоне, то вез его этот самый Гафар, который, жалея лошадей, пускался в темные дебри воспоминаний:

— Када маладой был, — оччень весел жил!.. Ви-ино пил мы-но-га!.. Ба-рыш-ня!.. ай-яй!.. мы-но-га!.. Адин раз, ночью, депо, шашлык кушать хотел, — мясной лавка ломал, — искал-искал, — нэт филé!.. Другой лавка ломал, на-шел филей, шашлык жарил! Ел!.. Другой день иду. — «Мой лавка ломал, филей искал!.. Сколько хочи-ишь?..» Пла-тил, ни-

чего... э-э!.. Адин раз курица пьяный поил — мокрый хлеб клевал!.. Ше-тал-си, ше-талси, — канцы-канцом, упал!.. Савсем пьяный курица осталси.

— Слушай... как тебя?.. Бальфур?.. А ты бы нажал на конячек покрепче, — перебивал его художник.

— Ни-и так гаваришь!.. Га-фар! — улыбался щербатый Гафар с козел. — У меня дядя есть — мулла!.. Он-о человек очень регулезный!.. Гаварит: «ни адин зверь не боюсь, — тарахана боюсь»...

— Ну, послушай, Кайфыр!.. Катя, — как его зовут? — все я забываю!.. Ты их хлестани-ка, Маймыр — голубчик, как следует, своих конячек!

— Не Мамыр, нэт!.. Тебе гаварю: Га-фар!..

И пока доехали сюда, к морю, Лука Петрович называл его то Говардом, то Фуфырой, то Мамурой, тщательно избегая его настоящего имени. Он был тогда очень избалован своим успехом художника, очень шаловливо настроен и очень рад был океану красок кругом.

Теперь и он и жена его Катя часто заходили в Гафару, который был одним из крепких хозяев.

Началось с того, что художник принес ему свой старый этюд, сделанный в здешних горах, и сказал ему вкрадчиво:

— Ах, Гафар, Гафар!.. Дом у тебя — полная чаша, а картин никаких нет!.. это очень нехорошо, друг!.. Это очень плохо, брат Гафар!.. Стены должны быть украшены. Посмотрел бы ты, как бывало прежде у богатых людей!.. У них, я тебе скажу, друг Гафар!..

— Теперь где богатый люди, скажи? — живо перебивал Гафар. — Константинспул?

— Это, конечно, не потому они в Константинополе и Париже, что картины покупали!.. Нет, друг!.. А почему именно, это нас с тобой не касается...

Тут художник понижал голос, оглядывался кругом и спрашивал тихо:

— У тебя никого нет?

Гафар отрицательно мотал сивоусой головой в барашковой шапочке, и художник снова повышал голос:

— Так вот, брат Гафар, — смотри!.. Это — твои родные крымские горы!.. Вот — Чатырдаг, а вот — Демерджи!.. Если это повесить так на стенку...

— Зачем вешать на стенка, скажи? — живо перебивал Гафар. — Каждный день утром встаем,— каждный день в окошко глядим: вот один Чатырдаг, вот один Демерджи!..

Художник все-таки пришпиливал этюды захваченными кнопками к стене и ставил Гафара так, чтобы он видел их во всей красе.

Но Гафар бурчал недовольно:

— Тепер багатый люди Константинопул!.. Зачем гвоздочком стенка мне портил?

Художник, однако, не отставал; он говорил с жаром:

— Ты думаешь, я с тебя денег прошу?.. Нет, я тебе подарить хочу... как другу!.. Вот!.. И пусть висят тут!.. А если тебя кто-нибудь спросит, кто это писал, ты скажи, что я!.. У меня много!.. Могу и другим подарить!.. Разруха пройдет, — большие деньги тебе за это дадут!.. Ну, прощай, друг!

— Прощай, — облегченно подавал руку Гафар.

От калитки Лука Петрович подымался снова по лестнице на второй этаж к Гафару и говорил, точно спохватившись:

— Вот что, — забыл совсем, Гафарушка!.. Полпудика мучки нельзя у тебя разжиться?.. Я ведь и мешочек с собой захватил!

— Возьми свой картин, пожалуйста, тебе прошу! — вдруг серчал на это Гафар.

Но художник был не обидчив и начинал издалека о том же снова и если не полпуда, то фунтов десять муки все-таки выпрашивал.

С женою же Гафара, а также с другими татарками, которые к ней заходили в гости, старалась теснее сойтись Катя и добывала у них груши, сушку, молоко, помидоры.

Доктор Тщедушев продолжал о червивом горохе:

— Сварил я его, дал ей, жене, а у нее от пяти ложек каких-нибудь рвоты!.. Отравление!.. Явное!.. Я на него в суд подам, на негодяя!.. Теперь уж ничего она не хочет есть, а только чаю просит!.. А где его взять, чаю?.. Чаю-то, где его взять, а? Я говорю ей: где же мне теперь чаю взять, пойми?.. А температура у нее уже 36,2!.. Вы меня понимаете?.. Вы ее, может быть, посмотрите?

— Нет, помилуйте, что вы! — испугался художник. — Я что? Медик, что ли, какой? Я вот знаю из медицины, что мне от склероза молоко с иодом надо пить, а молока нет!.. За границей, говорят, с сорока лет начинают иод пить, а мне уж сорок пятый!.. А вот у Кати и сердце слабое, а ей ежедневно по горам по нашим ходить приходится... Ведь это что?.. Кстати, где же ваш Джин? Я что-то давно его не вижу!..

— Джин?.. Он ушел... Чем же я буду кормить такую большую собаку?.. Да если бы и с канарейку величиной, так мне и такую кормить нечем...

Через два дня после этого разговора докторша умерла.

Художник только из окна веранды видел, как деревянно, по-заводному шагая, пошел вниз, в горхоз согбенный Тщедушев, а часа через два приехал на выпрошенной там линейке для перевозки тела на кладбище.

Гроба ему не дали, заказать столяру было не на что, хоронить без гроба казалось жутким, и Тщедушев положил тело жены в угольник, из которого вынул полки.

Угольник был все-таки широк для худенького тела покойницы, и тело это, пока везли его по плохой дороге вниз, все звучно стукалось о стенки, а старший из молодых Дармограев, угрюмо-озорной мальчишка,

встретясь и удивленно всмотревшись в угольник, закричал вслед Тщедушеву:

— Тю-ю! Сделал своей жене двухспальный гроб!

Когда вечером возвращался старик с кладбища, он остановился на перепутьи нескольких тропинок, которые шли от разных домиков на этом горбе и сливались в общую дорогу вниз.

На голове его был старенький и грязный лопух из белого войлока, рубаха была тоже белая, выпачканная глиной спереди; под очками сверкало мокрое — пот или слезы... Он стоял так долго и смотрел на море, как это любила делать его покойница-жена, но море казалось ему очень свинцовым, тяжелым, безучастным... Неприятный цвет у свинца, тоскливый... Очень удушливо было, хоть солнце и садилось за горы... Он стоял и качал забывчиво головою.

Художник же из окна своей веранды наблюдал за ним, но когда он увидел, что доктор вытер лицо подолом рубахи и идет к его дому, щелкая плохо подвязанными к негнущимся ногам деревяшками, он присел и ползком-ползком проворно шмыгнул в дальнюю комнату, шепнув при этом жене:

— Катя, Катя! Скажи, — меня нет дома!.. Я ушел!

И Катя сама уж принимала и утешала старика, а когда пошла его провожать, то справилась:

— Наверно, после покойницы тряпки какие остались?.. На это у татар что-нибудь можно выменять... Соберите да мне принесите: я устрою.

И не больше, как через час, старик принес ей узелочки с платьем и бельем, а также и медный таз, который должен был, в случае чего, звонить, как колокол: теперь уже ему было все равно, и он не боялся грабителей.

В эту ночь он еле забылся к утру, а утром рано, чуть забрезжило сквозь щели ставней в его доме, он вскочил с постели от страшного грохота над головой. Вскочивши, он тут же упал снова на постель, так и не успевши разжать слипшихся век... Мелко, однако неудержимо дрожали руки и ноги, и било в голову за разом раз очень гулко, очень больно... Понималось о себе как-то так, что он именно и есть тот самый угольник, в котором ехала на кладбище его жена, и вот она бьется в нем самом, и подковы по булыжнику звякают, и колеса расхлябанные подскакивают, трещат, тарахтят, так безжалостно, так ужасно!.. А лошадь шершавая, пегая... лошадь пегая, на боку грязь, ребра навыкат, голова вниз, уши надрезаны... Он — угольник, и он привязан скупой веревочкой к линейке, но лежать, ведь лежать неподвижно он должен, а не подскакивать, — нет, — чтобы череп ее старый не колотился, чтобы лицо это, истощенное, желтое, все равно, что свое, — эта шея... Лежать он должен спокойно, но как же в таком грохоте, на таких ухабах? Как же? Как же лежать спокойно?.. Бьет! Бьет!.. Он вдавился в тощий тюфяк, сколько нашлось силы, а она все подскакивает, чортова таратайка!.. И гремит, и грохочет... И какие страшные крики, раздирающие душу!.. Это ее, конечно,

жены, которая в нем, в угольнике, в пустом неуютном угольнике, едет на кладбище... И ей больно-больно... И она кричит... Потому-то это так и знакомо!.. Потом появилась одна только короткая, как блеск молнии, ясная, внятная мысль, грустная и последняя: — Умираю от разрыва сердца!

И он умер. А на крыше его дома радовался новому утру и плясал от радости, распушивши хвост, и пронзительно кричал павлин... и звал паву:

— Пэ-эгу!..

Из горных лесов, которые еще чуть темнели в тумане утра, звал свою мечту, свою бесконечность:

— Пэ-эгу!..

Кто-то прячет ее в этих лесах, но она там, но она там!.. И разве нельзя в этот день, который еще только начался, обежать и облететь все леса на горах?

— Пэ-эгу!..

Кружиться, как вихрь, по всем лесным тропинкам, над обрывами в горах, взлетать на голые скалы и смотреть прилежно, и слушать чутко, и кричать во весь голос:

— Где ты?.. Где ты?.. Я здесь!.. Я иду!.. Где ты?.. Я здесь!.. Пэ-эгу!

Павлин рыдал. Железо гремело. Вставало солнце.

7.

Тихим вечером, тусклым, но еще пышащим яростным неотошедшим зноем, стояли рядом соседи Голосюга и Дармограй, и Голосюта говорил Дармограю:

— Прямо погибель подходит... чистая амур-могила... и черный крест!.. Хуть бы иржички где достать...

— Ир-жи-чки!.. — передразнил Дармограй. — Хочешь, на степя, на арман пойдем? Иржички не иржички, а пшенички заробим... Идет?

Голосюта, медленно обернувшись, пригляделся к своей хате, низенькой, в два окошка, к сараю, в котором стояли когда-то кобылы, крутнул головою и поглядел на Дармограя по-особенному, по-новому, точно в первый раз его увидел, почесал ключицу широким ногтем и сказал наконец:

— Пошли люди... Многие люди пошли...

— Вот и я сказал жинке: пидемо вдвох з Силантьем... а то ж как?

И Дармограй (рукава рубахи его были засучены: он чистил бассейн) провел сначала левой рукой по правой руке до локтя, потом правой рукой по левой до локтя и добавил:

— С чего это волосы на руках, где не треба растут міні непонятно!

— Поэтому надо итить, — отозвался Голосюта кротко.

И на другой день утром они ушли в степи.

У Дармограя осталась жена Фрося и трое ребят, у Голосюты — жена Домна и мальчишка лет четырнадцати Федька, который, когда отец вернулся с германского фронта, говорил ему о матери:

— Она тут без тебя пу-та-лась! — Приходи, кума, радоваться!.. С татарами путалась, с австрийцами пленными путалась... Немцы пришли, — она и с ними!.. Пускай идет к чорту, а мы двое останемся!

Голосюта даже испугался тогда и опешил.

— Это ты об матери рóдной так смеешь?

— А то не смею? — и стал боком Федька.

И долго они смотрели один на другого, и когда отец двинулся, наконец, к сыну, и сын заподозрил, что не с добром двинулся, он отскочил, схватил камень и — похожий на отца по обличью, калмыковатый и черные волосы ежом — вдруг заголосил так же тонко, как и отец:

— Что-о? Вýхи мне рвать хочешь? Ну-ка-сь по-про-буй порви!.. А ну-ка-сь тро-онь!

Голосюта так и застыл на месте. Бормотнул только:

— Ну, гляди же ты-ы!.. Думали: хро-онт!.. А дома ж позверели хужее хронту!

Хлопнул себя по ляжке тощей, плюнул и отвернулся от Федьки, которому было тогда всего двенадцать лет; так плотно был зажат у того в занесенной руке камень, такой перекошенный был рот и такие разбойничьи глаза.

Однако позверела, он заметил, и Домна, баба еще свежая, крепкая, высокая и с приятными круглыми серыми глазами. Она подобрела только тогда, когда он купил пару кобыл, сбрую и старенький экипаж и начал выезжать на биржу, как извозчик.

Она спросила, чуть ухмыльнувшись:

— Генерала, что ли, какого прикончил? Откуда денег набрал?

На что Голосюта ответил тонко:

— Пустяками такими чтобы я стал заниматься: — ге-не-ра-ла!.. Это ж я в санитарях был... Ну, конечно, какой умирающий, — ему уж деньги без последствий... Вот оно какое дело...

И Домна, потянувшись, зевнула сладко, а он задумался над шалившим задним колесом экипажа: менять ли в нем вгулку или только перетянуть шину.

Когда ушли в степь Дармограй с Голосютой, мальчишки не всякую ночь и ночевали дома: они переселились на море.

Старший из молодых Дармограев тут же пристал к артели рыбаков и иногда приносил домой чулý, зеленуху, султанку... Даже приставал к матери:

— Раздобудь где-нибудь поросенка, — я его собаками кормить стану!

— Чор-туш-ка!.. Со-ба-ками!.. Вот уж чортушко-то растет! — отзывалась Дармограиха, женщина, не в пару мужу, хилая и худая.

Но Савка бубнил:

— Ты думаешь какими собаками? Какие на ногах бегают?.. Уга-да-ла!.. Рыба такая есть: собака... а то называют катра́н... Она — поганая... Рыбаки бросают... Людям есть нельзя, а только сети рвет... Ну-ка, кто из нас чортушка-то вышел?

Глаза он выпучивал и языком действовал несвободно, но очень частил, а Фрося скорбно сжимала тоненькие, как блинчики, губы, бралась спереди за редковолосую черную голову и, посидев так скрюченно, сколько казалось ей нужным, пугала его однообразно:

— Погоди, погоди, азиятец, дай батько приедет!

Азиятец же развивал планы:

— Три собаки на день, — вот поросенок и сыт... К зиме зарежем,— пуда два мяса... Да разве ж одно мясо синее? И сало будет!.. А то «батько»! Батька может ще не приедет!

— Как это не приедет?

— Очень просто... Убьют, и все... Мало теперь убивают?.. Кто такой человек, — знаешь? Машинка лектрическая!.. Я вот когда чешусь, а волосы трещат... Почему это волосы трещат?.. Машинка!.. Во-от!.. А то, ты думаешь, убить трудно... Стук, — и готово!

Дармограиха от этих слов толстоязыкого сына горбилась еще круче, блинчики губ зажимала еще крепче и говорила, наконец, западающим голосом:

— Ох, уж ушел бы ты, что ли!.. Иди уж, пройдись — погуляй!

У среднего ее сына Сеньки с голосютиным Федькой вышло как бы состязание, но такое секретное, что ни Сенька никогда не мог накрыть Федьки, ни Федька — Сеньки.

В обоих хозяйствах было по десятку кур, но петухов не было: одному оторвал голову ястреб, другой, голосютин, умер от ужаса, когда это увидел: это был молодой еще петух и чрезвычайно чувствительный: захлопал крыльями, заверещал как-то по-поросячьи и упал замертво. Потом куры без петухов начали бродить куда попало, и Федька, улучив минуту поймал одну дармограеву у себя в сарае и зарезал. Однако и Сенька каким-то образом дошел до той же мысли и в тот же день: прищучил у себя в саду одну голосютину, подшиб ее камнем и ощипал.

Дармограиха в тот же день, спрятавши руки под фартук, приходила к Домне искать свою, а более беззаботная Домна уже гораздо позже, на другой только день, не досчиталась одной своей и, придя искать ее к Фросе, держала руки не под фартуком, которого не носила, а очень близко от худого долгоносого лица Фроси, и голос ее оказался громкий, но неприятный.

Когда же Федька поймал вторую курицу Фроси, Домна успокоенно и злорадно сама щипала ее и варила. Однако через день и у нее из десяти осталось только восемь.

— Что же это такоича? — кричала Домна Фросе.

— Ну, не иначе ж, что это лисица подлая!.. — отзывалась Фрося.

Только поменявшись четырьмя курами, и Дармограи и Голосюты решительно забраковали чужую птицу:

— Никакой еды: одни голые кости, и не уваришь! — И хотя кур не запирали, но они уж перестали пропадать.

— Должно, лисицу подлую какой добрый человек уби-ил!— намекающе говорила Фрося Домне, держа руки под фартуком.

— Как теперь убьешь, когда пороху негде разжиться? — отзывалась Домна, упирая руки в бока.

— Да уж тебе это, конечно, известно! — разжимались, смеясь, тонкие блинчики.

— Вот именно, Асан говорил! — выставлялись круче голые локти.

Асан был охотник — татарин, зачастивший сюда, на гору, как только ушел Голосюта в степь.

Пороху, действительно, трудно было достать, да и охотничьих ружей осталось мало: одно время их ломали — ставили наклонно и били в шейку прикладов сапогами. Однако вот теперь, когда стояли на горе. Домна и Фрося, слышалась с моря гулкая стрельба: это били с моторных лодок дельфинов из трехлинейных винтовок. И, глядя теперь на голубое полотнище моря, взлохмаченное стадами играющих черных дельфинов, сказала уныло Дармограиха:

— Людей несметно позничтожили, а гляди ж ты намест их сколько твари этой развелось вонючей!.. Да они, если их не бить, во всем море рыбу пожрут!

Маленькие жеребята бродили кругом без призору. Совсем несчастного вида, очень унылые, тонконогие и взъерошенные, в поисках за травою спускались они в глубокие балки, где их по целым дням совсем не было видно, и однажды там, на дне одной балки, остановился перед ними задумчивый человек.

За плечами у него была двустволка; скуластое, жесткое, разрисованное щедрым солнцем лицо, с опаленными бровями и с сединою в усах и стриженой бороде; фуражка и гимнастерка солдатские; на ногах постолы из телячьей шкуры с рыжею шерстью; у пояса патронташ... Это и был татарин Асан, охотник.

Он бродил здесь по балкам потому, что услышал от Домны, будто часто стала приходить лисица и «никакой себе спешки не знает, — как у себя дома орудует»... Он держался самого дна балок и глядел под корни дубков, росших по обочинам: — нет ли где норы? И вот он наткнулся на этих двух хиленьких жеребят.

Он достал пороху только на восемь зарядов и вот теперь, зная, конечно, что эти кашлатые, с бородками, еле перебирающие ножками жеребята принадлежат Домне, все-таки, ковыряя в длинных зубах сорванной былкой, обдумывал, как бы угнать их подальше отсюда и вечером одного зарезать.

— Коняш-коняш-коняш! — позвал жеребят Асан и легонечко свистнул.

Меньшой, мышастого цвета, поглядел на него, постриг ушами, фыркнул, а другой, побурее, даже не оглянулся, — так был занят, обрывая жесткий клочок травы, уже и здесь, на дне балки, начавший желтеть.

— Коняш-коняш-коняш!

Асан подвигался по балке, тихонько свистя, и подгонял, расставляя руки, их вниз, вниз, по спаду, ближе к морю.

А когда загнал в очень укромное место, он прилег с виду беззаботно, в тени карагача, как будто жеребята были его, и он их пас.

Жеребята покланялись длинными головами новому месту и начали бродить около, и когда меньший подошел очень близко к постолам Асана понюхать, что это за кожа, — Асан проворно схватил его за ногу и свалил, потом придавивши его коленом, не спеша вынул нож и привычно зарезал. Попробовал было ободрать его, но шкура была очень тонка, рвалась, и ни на что бы не годилась, — даже на постолы.

Когда стемнело, он зашел к Домне за мешком и в ее же мешке оттащил мясо ее же жеребенка в лес на знакомую ему полянку.

Светила полная луна, часам к двенадцати ночи к мясу подошла, осторожно куняя, куница-белодушка. Асан убил ее, а ближе к утру убил и другую.

Прося мешок у Домны, Асан говорил, что хочет принести ей картошки. И он не обманул: через день он, действительно, принес ей фунтов пять картошки и луку.

А когда она пожаловалась ему, что меньший жеребенок куда-то пропал, он спросил удивленно: «Ну-у? Правда говоришь?..». Покрутил головой и зачмокал губами: — «Це-це-це», — сожалеюще глядя на женщину темноянтарными глазами.

Через неделю же, не больше, таким же точно образом он зарезал в балке и другого жеребенка и на его мясо приманил и убил лисицу и барсука.

И за этого жеребенка ничего уж не принес Домне, так как на этот раз не брал у нее мешка, а приготовил свой.

Раза два видел Асан павлина, сказал о нем Домне:

— В раю такой птица будет! — и спросил: — Она несется?

8.

Дармограй из степи с армана явился как-то ночью, чтобы никто не видел, сколько зерна подвез он с шоссе на дилижане. А когда Домна пришла справляться о своем муже, то он, из сытого мужика ставший жилистым и сутуловатым, ответил лениво:

— Силантий твой, он... такое дело тебе скажу... Хочешь обижайся, а нет — как знаешь... Как карасину, примерно, в лампадки не наливают, а все масло, так и мужик в доме... вот!.. Его баба должна своя привечать и держать себя... как следовает...

— Да что, — убили, что ли, его? — встревожилась Домна.

— Убили — не убили, а... этого сказать я не могу, шо-б его убили... а только уж он все равно, едва ли так что сюда и вернется... Вот!.. Он там, двомя словами сказать, на вдовье хозяйство попал и вертаться не хочет!

— Та-ак! — протянула Домна.

— Да уж «так» или «не так», а не инше... Нашел бабу ладную, и хата справная, и хозяйство так что неразоренное... ребят двое... кони... корова... Чому не жить? Жить будет... Развод возьме, и поп окрутит... Так что Силантия твово я там на племя оставил!

Из дармограевых окон запахло свежеиспеченным пшеничным хлебом, блинчики фросиных губ складывались насмешливо... Домна не спросила даже со зла, где же именно остался Силантий.

Дня через два с огромным узлом на плечах, пригнувши ее, прямую и крепкую, спустилась она вниз, в город. Кур она несла в корзине.

Федька поторчал без нее дома день, другой, потом ушел и он, заперев на замок двери. А там увидел Лука Петрович, как Асан нагружал на свою подводу табуретки, столы, хомут, седелку, и Домне хотелось положить еще чего-то, как можно больше, а рассерженный Асан кричал:

— Ты думал эго такой поезд?.. Это — один лошадь!

И бросал кнут на землю.

Когда умер Тщедушев, то подушки, самовар, стулья, — все, что можно было захватить и унести на руках из его дома, захватили и унесли соседи. Меньше всех досталось тогда художнику, а между тем ему казалось, что если и был у доктора наследник, то, конечно, только он.

Катя даже пробовала ругаться с Дармограями и Голосютами, но где же ей было? Домна тогда сразу подперла свои бока кулаками и так завела вдруг складно и уверенно, а Дармограиха так кстати и ядовито распускала свои блинчики, да и мальчишки с таким увлечением стали почему-то упражняться в метании камней, — кто дальше кинет, — что пришлось очень скоро уйти и даже затвориться дома, а Лука Петрович на всякий случай прикрыл и наружные ставни, оберегая стекла, которых теперь совершенно негде было достать.

Когда из дома Тщедушева вытащили последние громоздкие вещи, оставив только стены, двери и окна, художник говорил жене испуганно:

— Задичала наша гора!.. Чей же теперь черед со счетов прочь? Неужто наш? А? Неужто наш?

И глаза его, из которых один был зеленее и шире другого, раскрывались до предела и так застывали, пока Катя не отвечала уверенным басом:

— Ну, пошел, пошел городить неподобное!

Теперь же когда и третий домик на горе опустел, Лука Петрович ходил совершенно оцепенелый. Он то нервно ерошил волосы на голове, то ладонью примасливал их и с бородой тоже проделывал разное, все

стараясь решить: кого же теперь должно постичь роковое, — его или Дармограя?

— Нет, мы, конечно, слабее, и мы, мы, Катя, теперь погибнем!.. Слабые погибнут, сильные останутся! Закон!.. Мы!.. Дармограю что же? Он, может, пудов тридцать привез, — почем мы знаем?.. Значит, мы!.. Итак... мы!

Он хватался за голову и замирал в столбняке.

Однако, не желая сдаться без боя и приготовляясь, напротив, к упорной борьбе, он резал усердно, — приходя в себя, — на тонкие ломтики помидоры и раскладывал их сушить на крыше, говоря деловито:

— При этом способе что же теряет овощ? Только воду... Витамины все остаются... И если бы не павлин проклятый повыдергал у меня тогда молодую морковку...

— Ну, сколько же он выдернул? Пять каких-нибудь штук?— заступалась за павлина Катя, но художник волновался:

— Пять или десять, но это же жизнь наша!.. Чорт ее знает, отчего она зависит теперь!.. Может, не от пяти, а от о-д-н-о-й морковки она зависит!.. Прежде мы этого не понимали, а те-перь!.. Отлично все поняли!

И вдруг перебивал себя вопросом:

— А как ты, Катя, думаешь: павлинов едят?.. На картине Маковского, там лебедя жареного вносят, а павлинов... я что-то не слыхал?!

— Кажется, не едят, — подумав, отвечала Катя.

— Ну да, говорил кто-то, что у него мясо, как воронье...

— Да это ж еще и павлин-то старый... У него не мясо будет, а одни жилы...

— Все-таки... Бульон может быть... Старый петух, а он бывает... наваристый... Ну, уж если мясо, как воронье...

— Так и бульона в рот не возьмешь!

— Гм... Изумительная птица!.. — покачал головою Лука Петрович, увидавши как раз в это время павлина невдалеке. — А хвост у него линяет: я четыре пера нашел... Послушай, Катя!.. Катя! Где же ты там?.. Ведь я же говорю, а ты ушла!... Вот мысль! Что если хвост его выщипать? Дадут татары за этот хвост полпуда пшеницы?

— Ну, вот еще! И выдумает же, чтоб дали!— даже осерчала Катя.

— Отчего же?.. Ведь это... украшение!.. Целую комнату можно декорировать... в восточном вкусе...

— Эх... Пора бы уж, кажется!.. Мало ты в город ходишь!.. Ты думаешь, я им не говорила? Не то что хвост, — всего павлина продавала за полпуда пшеницы... «Во-ода на нем возить можна?.. Нет... Зачем такой мне павлин? — во-ода возить не может!..» Вот что они говорят!.. Да еще подмигивают друг другу: — «Хитрый женьчина какой, а?!»...

Художник крякнул, погрозил кулаком в небо и, продолжая резать и класть на крышу кусочки помидоров, увидел, как внимательно следил за ним издали павлин. Увидел и забеспокоился вдруг:

— Катя, Катя!.. Смотрит!.. Ты видишь?

— Ну-у?.. Что там еще?

— Ты видишь, — он смотрит! Видишь?

— Ну, и пусть смотрит!

— Как это «пусть»?.. Как это «пусть», я хотел бы знать?... То-есть — пусть сожрет? Так выходит по-твоему? Пава-Пава-Пава, — на, жри!

— Э-эх!.. Да ведь мы же дома!

— А ночью?.. А если до ночи не высохнут, — их ведь не отдерешь!.. Ведь их ни за что не отдерешь!.. Тогда, значит, чем свет, он тут!.. И все сожрет!

Пока два человека спорили о том, что он сделает завтра чем свет, павлин, деловитой своей повадкой шныряя в отдалении, часто поглядывал на крышу. Его действительно занимали эти красные, как свежее мясо, жирно блестевшие на солнце кружочки, и он забывчиво придвинулся поближе, чтобы рассмотреть их лучше.

Но маленький человек с большой рыжей бородою закричал вдруг неистово:

— Что-о?.. Сожрать?.. Труды мои сожрать хочешь?...

И кинулся на него с камнями.

Он гнал его, швыряя камни и крича, далеко, долго, сколько хватило силы, и когда, наконец, обессилевший сел, то спросил себя, задыхаясь:

— Придет или нет?.. Неужели... придет?.. Боже мой, что за подлая птица!

9.

В начале сентября, в середине очень яркого, но незнойного дня, на горе показалось трое, из которых двух художник видел раньше в городе, а третий, с гордым профилем молодого Наполеона, был новый — во френче и с револьвером и в желтых крагах.

Поднявшись на гору, этот новый снял кепку и долго махал ею около лица, а, глядя на него, и двое других, — плотник Скубаков и кровельщик Родителев, — тоже сняли фуражки, и один обтер рукавом рубахи розовую лысину, другой провел несколько раз ладонью по стриженному под ноль затылку.

Луке Петровичу они видны были на фоне необыкновенно тихого поражающе голубого моря, и по старой привычке художника он так и прилип к ним глазами: рубаха белая, рубаха розовая, грязно-зеленый френч и три головы разнообразных на поражающе голубом.

Но когда увидел его плотник Скубаков, стриженный под ноль, он обратился к новому во френче несколько даже подобострастно:

— Вот, товарищ Гусиков, — местный житель один: — он нам все тут показать может.

Лука Петрович подошел.

— Можете? — быстро спросил его Гусиков. — Вы чем же тут занимаетесь?

— Я?.. Я — художник! — с достоинством ответил Лука Петрович и попробовал сделать строгое даже лицо, подбросил бороду и выпятил грудь.

— Что-о?.. Художник? — и улыбнулся левым краем бритых губ Гусиков, а правый черный глаз прищурил.

— Я известный художник... Жема́рин!

— Ше-ма́-ев?

— Жемарин!.. Выставлялся часто... Неужели не слышали?

— Я-я, гражданин Шемарьин, с двенадцати лет занимаюсь революцией... И мне некогда было посещать выставки! — строго ответил Гусиков. — Но дело не в этом... Где ваш дом?

Лука Петрович показал рукою.

— Ну, какой же это дом! — пренебрежительно передернул наполеоновским носом Гусиков. — Это хижина «дяди Тома»... Так, значит, Ше... Же?.. Же-марьин?.. Хорош-с... Есть. Записано.

И, действительно, что-то вписав в маленькую книжечку, он кивнул на дом Тщедушева. — А этот чей?

— Вымороченный, — ответил художник.

— Как? Нет хозяев? Где же они?.. Умерли?.. Отлично!.. Этот на снос!.. Ну-ка, товарищи, пойдем, глянем, что там годится!

Подошли все четверо к домику доктора, украшенному затейливой и совершенно ненужной башенкой с разноцветными стеклами в круглом окне, и плотник Скубаков, постучавши в штукатуренную стену, сказал:

— Да он, похоже, деревянный!

— Деревянный, — подтвердил художник.

— Ну, вот видите!.. Для нас это находка!.. Мы — ремонтная комиссия, — обратился Гусиков к художнику. — И ремонта там в городе до чорта, а строительных материалов нет!.. Запишем!.. Чей это?

Когда кровельщик Родителев услыхал, что доктора Тщедушева, он изобразил на вздутом, шелушащемся, красном лице даже как будто робость.

— Вот жизнь наша!.. Я же их хорошо знал, только дома ихнего не довелося видать... А вещи, знать, растаскали? — и заглянул в окно.

— Еще вымороченный дом есть, — сурово сказал Гусикову художник. — Вот этот... Цикавого... Запишите: Ци-ка-вого...

— Чудесно! — снова обрадовался Гусиков. — И этот на слом!

Но Скубаков протянул неодобрительно в отношении покойника:

— Ну-у, с этой хайборы мало что возьмешь!.. Она, похоже, снову на слом ставилась... Черепица? Так и та татарская!

— Цикавый?.. Это ж не Афанасий его звали? — спросил Родителев художника. — Это не тот, что жену свою...

— Тот самый, — отозвался художник.

— Вот ведь как, товарищ Гусиков! Считается, в одном городе живем, а домà эти ни разу не случалось видать...

— Это мы тоже имеем в виду, — важно сказал Гусиков. — Городишко маленький, а раскинут он невозможно... Наш план его собрать в кучу... Ну, что заставило, например, людей здесь поселиться на такой горе?

— Ясно, что нужда, — объяснил Скубаков. — Внизу земля по двадцать за сажень была, а здесь, должно, по рублю платили.

— Ага! Вот то-то!.. Между тем, какие же здесь удобства? — Никаких! Дороги нет!.. Вода?

— Воды тоже нет, — сказал художник. — Дождевую с крыш собираем...

— Ага!.. Ясно дело!.. И мы этот угол похерим!

К домику Голосюты Гусиков подошел бодрый и веселый.

— Третий мертвый?

— Не совсем еще... Есть хозяйка, только перешла в город недавно.

— Ну, ничего... На всякий случай запишем и этот!

Записали, но перед дачей Петуньина озадаченно остановились все трое, и Гусиков сказал даже недовольным голосом:

— Это что за чорт?

Дача Петуньина была хотя и в один этаж, но большая и сделанная очень прочно из красного и синего гранита, красивой кладки, и хоть и выяснено было, что неизвестно где хозяин, все-таки ломать такого дома было нельзя.

— А дальше еще там домов больше нету? — спросил Гусиков.

— Дальше ничего нет, — ответил художник.

— Значит на всей горе один только этот?

— Этот и мой...

— Ну, ваш... Ваш — это не в счет... Вы где-нибудь служите? Нет?.. Отлично! Я вас зачислю... Вы ведь можете, конечно, планчик какой-нибудь... фасад?

— Разумеется! Я все могу! — обрадовался художник. — Я все решительно!..

— Ну, вот... Завтра приходите... Квартиру вам внизу можно дать... А с этой дачей... Ее возьмет, пожалуй, горхоз... А кто живет тут?

Они вошли в калитку, и им навстречу вышел Дармограй.

Глаза у него были красные, — должно быть, спал перед этим, — и глядел он подозрительно и недружелюбно.

— Что это, — дачу отнимать пришли? — спросил он почему-то у художника с рыву и с сердцем.

— Вы, товарищ, тут сторож?.. Отлично!.. Вот вы нам расскажете...— начал было Гусиков, но Дармограй перебил, глядя тяжело не на него, а все почему-то на Луку Петровича:

— Нема чего мне вам рассказывать!

— Э-эти зверские рычания свои вы оставьте! — повысил голос Гусиков. — Мы — комиссия! Вот прежде всего запишем... Это дача Петуньина? Адвоката?

— Ну, Петуньина... известно, — человек строил, капитал вкладал... Сад на горе разводил... на безводной... — мрачно отвечал Дармограй, глядя на одну из труб дачи. — Сад... вот видите... Это называется — куль-тура!.. Посмотрим сад.

— Сад обрезки, должно, лет пять не видал, — сказал Родителев.

— Десять, скажи! — метнул в него красный глаз Дармограй.

— Гм... Это яблони?.. А что это за шишки на ветках?.. И пух этот белый что значит? — спросил Гусиков.

— Тля кровяная! — ответил Родителев за Дармограя.

— Называется это — сад пропащий, — пояснил Скубаков.

— Вот, видите!.. А это груши?.. А почему эти дупла маленькие?.. В первый раз вижу!

— Это — не дупла, — сказал Родителев.

— А что же?

Родителев поковырял пальцем в одном таком маленьком дупле, Скубаков в другом, и оба поглядели вопросительно друг на друга.

— Похоже, — ребята гвоздем колупали, — сказал, наконец, Скубаков.

— Гвоздем!.. — раздраженно протянул Дармограй. — Дятела̀ это делают, если знать желаете, а не ребята... Дятела̀... Птички такие!.. Гвоз-де-ем!..

— Да тут и то все дерева поклеваны, — присмотрелся Родителев. — Посмотри ты, какое дело!.. Значит все дерева зачервивели!

Но Гусиков заметил в одном маленьком дупле плотно туда вколоченный миндальный орех.

— Ага! Вот доказательство, что ребята упражнялись! — попробовал вытащить из дупла орех пальцами и не мог.

— Дятела̀ это делают, вам сказано по-руськи! — осерчал Дармограй.

— Что-о? Миндаль в грушу вколачивают? — вскинулся Скубаков.

— Ты — плотник, — так ты и знай свое рукомесло плотницкое, — вот!.. А это дятела, а не ребята!.. Он миндаль носом уфа̀тит да сюда, — встремляет да долбит, — вот какое дело!.. Семечко в рот, а шкорлупу вон!.. А на ее место еще уфатит, еще несет... Видали, шкорлупок сколько?

Действительно, все увидели под деревьями, то здесь, то там, кучки расклеванных миндальных орехов или орехов с дырочками, но уже пустых, а Лука Петрович заметил и одного дятла, долбившего в дальнем конце сада и показал Гусикову.

— Ага, вижу!.. А это что там большое, зеленое?.. — спросил Гусиков удивленно.

— Это?.. Это павлин ..

— Павлин?.. Да это... Какой же это фруктовый сад? Это сад зоологический! — весело решил Гусиков. — А это что за дерево возле дома?.. вон, листья лопухами?

— Это — павлония...

— Павлины! Павлонии!... «Дятела»!.. Та-ак!..

Гусиков снял кепку, поерошил жидкие волосы и сказал решительно:

— Много денег было у господина Петуньина: не знал, куда их девать!.. Сад этот — куда он годится? На дрова!.. Только... А до-ом... Крыша хороша на доме! Марсельская черепица! А?

— Это уж настоящая марсельская! — поддакнул Скубаков. — И, видать, новая.

— А уж под такой черепицей стро-пи-ла, — это называется ле-ес!..— умилился Родителев.

— Ну, что ж... Вот мы эту крышу и снимем! — решил Гусиков.— Крышу, просветы, полы подымем... Кирпич из печей возьмем... А стены... чорт с ними, пусть стоят...

— Они на цементе сложены... Им веку не будет, этим стенам... Постоят, глядишь, и дождутся: кто-нибудь со временем на достройку возьмет, — соображал Скубаков, пробуя ковырять ногтем большого пальца выдолбленную дятлом дырку в дереве, что для него было ново и больше всего его теперь занимало.

— Конечно!.. Мы строительство со временем так двинем, что... лет через десять город сюда домахнет!.. И, конечно, трамвай сюда ходить будет, а не как мы перли целый час... Да, а пока материалы нам нужны в центр... Понимаете, товарищ, — обратился Гусиков к художнику: — мы должны в первую голову не раз-бра-сываться по окраинам, а укрепить центр!.. И что можно отсюда вывезти, мы вывезем...

— В первую голову мебель вывезти, — подсказал Скубаков, уныло глядя на Дармограя.

— Правильно! Мебель!.. Вот мы ее сейчас опишем, а за сохранность ее до присылки подвод сторож отвечать будет...

— Я ни за что тут вам отвечать не могу! — решительно качнул головой Дармограй. — И даже с дачи этой в город съеду, если хотите знать!

— Ничего-ничего, — ответите! — невозмутимо продолжал Гусиков. — Что же касается павлина этого, то мы его...

— Павлин мой, — скромно вставил художник.

— Ах, вот как!.. Ну, ваш, так ваш!.. Раз хозяин на месте, то мелкого имущества мы не трогаем...

И наполеоновский профиль повернулся к художнику вполне благосклонно.

Когда, записавши, сколько и какой мебели осталось на даче Петуньина, комиссия уходила обратно в город, художник, провожавший ее, заметил невдали от дороги, в кустах, Джина. Вид несчастной собаки

был очень дик. Полубезжизненный, неимоверно-худой, с дрожащей мордой, Джин стоял и глядел не на них, идущих толпою мимо, а в небо.

— Это что?.. Бешеная? — увидел его и Гусиков и проворно выхватил матовый револьвер.

— Не стреляйте! это не бешеная! — схватил было его за руку Лука Петрович. — Это — сумасшедшая!

— Не один ли чорт?

И Гусиков выстрелил, не целясь.

Джин завизжал оглушительно и ринулся в кусты.

— Околевать побежал, — сказал Скубаков, почесав за ухом, а художник поглядел на Гусикова со страхом.

На другой же день на горе появились четыре подводы из горхоза, посланные за петуньинской мебелью, художник же ушел вниз определять свой паек, и только Катя могла наблюдать не без злорадства, в какой большой тревоге металась, даже руки вынувши из-под фартука, Дармограиха, точно грабили ее самою.

Не только всю мебель, какая осталась, — даже помпу с длинным совсем еще новым шлангом нашли на чердаке и увезли, — даже садовую лестницу забрали. Целый день скрипели мимо, раскачиваясь на промоинах и камнях дороги высокие беспорядочно нагруженные воза, на которые очень завистливо глядела Катя.

Лука Петрович явился только к вечеру, усталый, так как пришлось ему долго ходить по другим окраинам и вместе с тремя другими решать, что где годится на слом. Однако он был доволен, что устроился, повидимому, прочно: домов, которых нужно было убрать с окраин и перетащить в центр, оказывалось много.

— Надо бы спросить Дармограя: правда ли он хочет переезжать отсюда? — предложила ему Катя. — Пошел бы к нему да спросил!

Но художник даже руки поднял для защиты:

— Что ты! Что ты!.. Разве можно теперь говорить с Дармограем?

— А вдруг в самом деле переедет, как же мы тут одни с тобой будем?

— Как, как?.. Зачем думать от этом: «как»?

Но думать пришлось: недели через две, так же скрипя и раскачиваясь, потянулись вниз два воза с имуществом Дармограя, и вызывающе целились с них в небо крашенные желтой охрой ножки столов и стульев.

— Что же вы будете делать в городе? — не утерпела не спросить Дармограиху Катя.

— А здесь что нам делать? — сурово отозвалась Фрося. — Как здесь нечего, так и там нечего... только там будто к людям ближе.

И прошла, не задержалась, однако Катя не заметила на возах мешков с заработанной в степях пшеницей.

За нею явился поздно вечером сам Дармограй, и хоть лошадь, конечно, была чужая, но правил ею он сам; и так же ночью, как приехала пшеница из степи, переселилась она и с горы в город: это было время больших хитростей и немалого лукавства; огромных тайн и безжалостных

их разоблачений; очень дешевых человеческих жизней и очень дорогой горсти муки.

Еще не начинали ничего ломать на горе, но уже душу художника охватила жуть от одиночества и пустоты кругом. Несколько дней он с упорством маниака разыскивал на тех постройках, которые уже сносились, обыкновенные крючки и петли, приносил их к себе домой и ввинчивал в двери и ставни рядами, отчего те приобретали какой-то одежный вид.

Но и ряды крючков не спасли его от страха ночных нападений, от жути, от тоски одиночества, и через несколько беспокойных дней и бессонных ночей после отъезда Дармограя вывез все из своей дачки и переселился вниз Лука Петрович.

10.

Гора опустела, — павлин остался.

Он остался один, как был, даже как будто и не заметив, что ушли люди. Он ронял перо за пером, как это было в его жизни уже раз пятнадцать. Там, к весне, он снова должен был расцвести во всей пышности, а теперь наступала осень, — время, когда надо было переходить, меняться, готовиться к обновлению, и потому утихнуть, уйти в себя, копить силы.

Теперь он не волновался, не кричал призывного «пэ-эгу», не распускал хвоста. Длинноногий, с изогнутой сине-зеленой шеей он или сидел на крышах брошенных домов, или неторопливо пасся в саду Петуньина. Тут много было падалицы, уже перегнившей, рыжей и потому мягкой, и много мелкого живого осмелело с уходом людей и вылезло наружу. Кроме того теперь стали поспевать и падать на землю жолуди.

Несколько раз, беспокоясь о целости стекол на своей даче, поднимался сюда, — большей частью по вечерам, так как дни его были теперь заняты, — Лука Петрович. Он бродил по горе и, если встречал павлина, звал его почему-то отчетливо, так же как звал Цикавый:

— Пàу-пау-пау!.. Эх, птица милая!.. Пàу-пау-пау!

Но, завидя его, павлин, хоть и неспеша, уходил дальше или взлетал на крышу какого-нибудь дома и смотрел на него сверху вниз немного как будто презрительно.

Между тем там, внизу, где художник теперь разрушал окраины, чтобы укрепить центр, уверенно и тоскливо говорили все, что надвигается голод, что зима будет страшная, что кто переживет эту зиму, тот долго будет жить и все время будет ее помнить.

А однажды, совершенно случайно, на клочке какого-то отрывного календаря случилось прочитать ему, что павлинов не только едят, но что мясо их вдобавок и очень вкусно, и он говорил жене возбужденно:

— Какой же я олух, Катя! Ведь читал же сам когда-то у Забелина в «Быте московских царей», что подавались к царскому столу павлины! Теперь отлично помню!.. Почему же я это забыл?.. Надо спешить, Катя!

— Что? Куда спешить?

— Ведь этого просто не знают, — поняла ты?.. Не знают, что можно есть! Думают, действительно, мясо как воронье! Вот почему его не трогают!.. Надо пойти!.. Ведь пропадает, зря пропадает, — фунтов двенадцать вкуснейшего мяса!.. Надо пойти сегодня!

Странно, — чуть только отчетливо родилась, появилась, окрепла в нем мысль о том, что он может опоздать, что надо спешить как-нибудь заманить и поймать или просто снять в темноте с дуба с в о е г о павлина, чтобы не сделал этого кто-нибудь другой, — как он заспешил, заметался.

Он знал, что подступиться к дубу из-за густого шиповника было невозможно и нарочно добыл кривой, как серп, острый татарский нож-патаѵуч, которым режут, насадив его на длинную палку, держи-дерево и другие колючие кусты на огорожи. И вечером, предвещавшим довольно светлую ночь, держа свое длинное орудие, как копье, он поднялся на брошенную гору.

Он подымался в тревоге, он спешил: почему-то ему все казалось, что вот вчера еще, когда он не знал, что едят павлинов, он мог бы его застать и поймать, а сегодня уж не застанет... Даже сердце у него работало беспорядочно...

Он пришел еще засветло — и прямо к дубу: — павлин ходил около дуба и глядел вверх, ныряя змеиной головою и вытягивая шею, как это делал он всегда, готовясь взлететь.

Художник мгновенно согнулся, — присел за куст, и так в очень неудобном положении — и камешек острый резал ему колено — сидел, не шевелясь, пока павлин не взлетел на свой привычный обсиженный сук.

— Ну, вот... Ну, слава богу! — бормотал художник; устроился поудобнее все за тем же кустом, прилег и ждал, когда совершенно стемнеет.

И пока он лежал так, дожидаясь темноты, он многое передумал, но собственные мысли последних лет всегда удручали необычайно: они все казались ему слепыми и бескрылыми, и каждой полудикой бабе на базаре он готов был теперь верить больше, чем самому себе.

Патавуч он тоже верил, потому что это был татарский инструмент, и, поверивши в него, он даже ни разу не попробовал подсечь им ни одной колючей ветки.

Когда ему показалось, что стемнело достаточно, он встал. Дуб виднелся уже среди темного сплошным черным пятном, и в нем нельзя было различить павлина.

«Это хорошо!» — подумал художник, надвинул поглубже шляпу и тихо подошел к дубу.

Но первая же толстая жигйна шиповника, когда он просунул под низ ее патаѵуч и попытался срезать, так жестоко затрепетала, что он остановился и патаѵуч вынул. Шиповник хорошо защищен. Его ветки не

только сплошь колючи, они сцепляются друг с другом, — это только теперь, в первый раз за всю жизнь, ясно понял художник. Когда он потянул одну из тугих жилин, закачалась половина куста.

Лука Петрович отошел на несколько шагов, боясь испугать павлина: слетит, — и где его тогда искать?

Нужно было обдумать в стороне, как сделать. Ночь оказалась совсем не из светлых: нашли откуда-то густые облака, и очень смутно представлялось все кругом, да и то больше угадывалось, чем виделось, так как это была знакомая, с в о я гора.

И вдруг показалось, что от домика Голосюты, по тропинке, движется что-то очень высокое. Вот то, что двигалось, остановилось и стало меньше, точно присело.

Художник был очень боязлив от природы, а тут было все так необычайно. Это высокое, что двигалось, было точно жираф с вытянутой шеей. Сердце забилось очень беспорядочно. Художник присел и пополз прочь на четвереньках и все натыкался руками и коленями на какие-то колючки: ничего, кроме перекати-поля и других колючих и сухих трав, не было уж теперь на этой земле; и когда он отполз шагов на десять и оглянулся, то высокое, похожее на жирафа, задвигалось опять и показалось огромным и тощим, как привидение. Тут же у Луки Петровича мелькнуло насчет приведений, что они не бывают почему-то толсты, но страх, его охвативший, был сильнее этой случайной мысли, и художник не выдержал и коротко вскрикнул.

Он не мог вскрикнуть громко, сдавило горло, — однако жираф, подвигавшийся к дубу — он заметил это, — снова опустил шею, и тут же случилось что-то совершенно непостижимое и до того страшное, что художник не мог двинуться с места, — застыл.

Он увидел, как к дубу что-то будто упало большое сверху, и в то же время раздался пронзительный крик павлина, и то высокое, что двигалось, будто упало с сухим стуком, а от него по тропинке побежал кто-то согнувшись, совсем маленький к домику Голосюты, и тут же от дуба, где заворочалось, заворчало, затрещало, зашуршало, зашелестело, отделилось что-то большое, точно оторвавшийся сучок, и поплыло медленно и низко, не выше дуба, потом пропало из глаз, и где-то дальше еще раз слабо вскрикнул павлин.

— Что это? Катя! Катя! Что это? — бормотал по привычке художник, а ноги у него, боязливого по натуре, только дрожали крупно, а не двигались.

Но когда он отдрожал сколько надо было, чтобы прийти в себя и овладеть стучавшими зубами, он услышал шаги уже сзади себя и вдруг узнал проходившего поспешно книзу Федьку.

— Федя! — позвал он тихо.

Мальчишка остановился, и художник сделал к нему два шага. Он даже ощутил в себе прилив очень большой общительности, хотя и не любил Федьки.

— Федя, — что это такое было? — спросил он доверчиво, но все еще тихо.

— А я почем знаю, — хрипнул Федька.

— Это ты, значит, сейчас нес что-то высокое?

— Что я такое нес?.. Мердеéнь я домой... туда, в город хотел взять... да бросил.

— Мердеéнь, это... лестница такая татарская, — вспомнил художник. — Мердеéнь... да...

Он уже отошел, а Федька всегда был ему ненавистен. Вот почему он сказал вдруг не только полным голосом, но еще и возмущенно:

— Та-ак!.. Теперь я понял: мердеéнь!.. Так это ты моего павлина хотел стащить?.. Лестницу приставить да снять?

— Как это павлина?.. Очень он мне нужен! — в полный голос сказал и Федька.

— Постой!.. И что же это ты в него? Мешок, что ли, кинул?

— В кого это мешок?

— В павлина!.. Мешок!

— Теперь мешками не кидаются!

— А отчего же он полетел?.. Ты в него мешок бросил, а он с мешком полетел!

— С ума сошел! — крикнул Федька.

— Да ты не кричи, брат! — крикнул и художник.

— Что я тебя испугался, что ли?.. Я тебе камнем всю морду исколочу! — заголосил вдруг Федька визгливо.

— Что-о?

— То-о!..

— Вот так мерзавец! — спал с тона Лука Петрович и, ставя перед собою длинную палку с патавучом, как жезл, пошел по тропинке на дорогу, ведущую вниз, в город.

Он старался итти чем дальше, тем быстрее и убирал голову, выставляя плечи, потому что знал Федьку и ожидал, что он пустит в него камнем.

А когда камень, действительно, прожужжал очень близко справа, художник, цепляясь за неровности дороги, побежал вниз и, убегая, слышал, как звякнули и задребезжали стекла в стороне его дачки.

* * *

Дня два не ходил потом Лука Петрович на гору: все оправлялся от своего испуга. А когда на третий день, тоже вечером, — раньше нельзя было, — он осторожно взошел на взлобе, он был поражен странными звуками. В сумраке, не совсем еще сгустившемся, они были так неожиданно резки при общей тишине кругом. Еще и горы, вздымавшиеся вдали и так знакомые, были обычно-вечерние горы, и море, не окончательно

потухшее, было обычно-вечерним морем, но откуда же здесь этот клекот или хохот?.. Истерические, сумасшедшие взвизги и хохот!..

Лука Петрович повернул было в ужасе обратно, приготовясь бежать, но вспомнил вдруг, что когда-то давно, в детстве, в той лесной северной губернии, где он родился, он слышал такое же...

Взвизги, хохот, ауканье, и как будто далекий собачий лай и вой,— и все это доносилось оттуда, с того самого дуба!..

И художник понял: это по-своему ликовал, торжествовал, упивался сладостью жизни прилетевший на этот пустырь из горных лесов филин, два дня назад сожравший павлина.

Человек и его дело.

(Рассказ).

Глеб Алексеев.

Когда его внесли в операционную, он со страстной стремительностью приподнялся на носилках, и восковые от боли глаза его заметались по молочно-лиловатым на сильном свету столам, по шкапчикам, по рукам ожидавших его людей. Встретивший у двери хирург улыбнулся: он знал это растерянное и непобедимое движение — искать глазами ножи. Ножи были спрятаны.

— Нож! — все же вскричал Поротчиков, протягивая руку к блестящему предмету, в котором, как в колбе, кипело расплавленное серебро отраженного электрического света.

— Ложка, ложка! — с ласковой настойчивостью, как маленькому, отвечал хирург. Хирург снял пенснэ, чтоб протереть стекла перед операцией, и только тогда, когда (без пенснэ) глаза его стали слепыми и добрыми, Поротчиков ощутил к нему доверие и сразу ослабел. Эту покорную неизбежности смиренность больного хирург понял по-своему и кивнул сестрам, и одна из них тотчас подошла к столу, чтобы раздеть больного, а другая, обернувшись спиной, чтобы плечами укрыть от больного свои движения, сняла маску с хлороформом. Движения трех этих людей, готовившихся вскрыть живот четвертому, были профессионально-осторожными и как-то связанно-размеренными, как у петухов, со старательностью клюющих зерно перед тем, как броситься друг на друга, но вместе с тем веяло от них домашностью, простым человеческим делом, какие совершает человек каждый час.

«Зачем было бриться? — подумал Поротчиков, ухватываясь за второе, спасающее, — все же так просто!» — Ни глаза — одинаково добрые у всех людей, когда они не пристальны, ни видный ему висок высокой черной сестры и смешная теплая родинка на нем — не смеют ни обмануть, ни зарезать.

«К такой бороде, — подумал Поротчиков, — хорошо бы скрипку»...

Но простоте и домашности, с которыми расположился он на операционном столе, мешали худенькие, замытые до неживой белизны пальчики сестры, почти девочки, раздевавшей его с той волнующей женской нелов-

костью, какая всегда, даже у опытных медицинских сестер, есть к ожиданию мужской наготы. Было стыдно, что его — Ивана Андреевича Поротчикова, директора городской электрической станции, инженера за пятьдесят лет, уже давно отвыкшего от женщин, уважаемого и известного в городе человека — с бесстыдством целомудрия раздевает до нага худенькая девочка, которой он никогда не видел. Это было еще и смешно и печально, потому что говорило о беспомощности. Тогда, стараясь смотреть через плечо сестры, но прислушиваясь к ее движениям с особенным, неиспытанным раньше волнением, и боясь, что волнение это станет приметно другим, — Поротчиков спросил:

— А вы, доктор, на скрипке не играете?

Доктор, привыкший к пустяковым вопросам лежавших на столе, но снисходительный потому, что с того момента, как вымыл он руки и кивнул сестрам, чтоб готовили нужное, — он уже не считал то, что лежало на операционном столе, за человека, ибо только это сознание давало ему необходимое для операции спокойствие, поднял на больного ясные до дна свои глаза и спросил:

— А почему вам кажется, что я должен играть на скрипке? (У него было сейчас лицо человека, спрашивающего о стоимости вселенной.) Нет, на скрипке я не играю... — Он чуть не добавил: «Иван Андреевич»,—как звал больного еще сегодня утром, и, поймав себя на этом, нахмурился.

— А, это хорошо! — вздохнул Поротчиков. — Вы знаете, вот я...— Поротчиков приподнялся на локте, кивнул головой на электрическую лампочку, опущенную к изголовью и очень яркую, — я ему служил, да... всю жизнь... С детства, вы понимаете, я был близорук, и родить свет было, должно быть, чисто физиологической потребностью, но любить с детства я умел только звук — не верите? Прикройте глаза и вслушайтесь в звуки,— их непрестанно рождает все живущее, но и вы не слышите их именно вследствие этой непрестанности.

Поротчиков заулыбался, прикрывая ладонью обсохший рот, как бы приглашая доктора к заговору, к маленькому секрету, который он носил всегда с собой и только по случайности выдает ему, — и прислушался. И с отчетливостью (есть ли она неизбежность предчувствия?) он действительно слышал звуки, приглушенные слепяще-фиолетовой чистотой этой комнаты. Он слышал облегченные отчаянием шаги в коридоре и по легкости их (будто ходил человек босиком) догадался, что это жена, — она пришла, она не может сидеть... В оконные, заклеенные слепой бумагой стекла бился вечерний ветер, взлетающий над городом в сумерки, чтобы смыть с домов пыль, вздутую за день людскими сапогами. В соседней комнате из плохо привернутого крана упрямо стекала вода. Слух его двоился, не слыша ближайшее, слыша отдаленнейшее, то, что может быть и родит прекраснейшие произведения искусства.

— Вы очень ослабли, — покровительно сказал хирург, поднимая свесившуюся руку больного, — но мужайтесь... Все будет хорошо...

— Да, да, — кивнул Поротчиков, сдаваясь снисходительному этому невежеству, — я очень ослаб... но знаете: сейчас я готов допустить, что разгадал тайну глухого Бетховена...

Черная сестра, стоявшая в полоборота к Поротчикову, — вдруг уронила маску. Ее волнение раздражало доктора, но он знал, что надо дать сестре справиться с волнением самой, напряженно ждал у стола, отводя в угол опять зоркие в пенснэ и потому недобрые глаза. Это ожидание было не нужно ни делу, ради которого они трое собрались, ни раздетому человеку, лежавшему на столе в никому не стыдной наготе. И в это ненужное ожидание каждый подумал о своем, о жизни, крутившейся в коридоре неслышными шагами отчаяния, и о том, что не ей, жизни, а им, запершимся в этой комнате людям — нет до нее дела. Поротчиков думал: что же оставалось от него там, в жизни? Оставался свет, который он дал городу, — свет, проникавший в каждую комнату, в каждое жилье, свет, лежавший на улицах, вращавший картины кинематографа, освещающий больницу и вот его самого, лежащего в ожидании ножа на столе; на спинке дивана пальто, которое он забыл взять в больницу; начатое письмо к сыну-вузовцу в Москву; десяток безделушек на столе, которые пришли сами за прожитую—большую и умную, ибо прожита она, в сущности, для других — жизнь. И потому обадривающую улыбку хирурга, который улыбался не ему и не сестре, а себе, чтоб не выйти из терпения, — он принял за очевидное признание своей значительности, которая не может подвергнуться случайности даже на операционном столе.

— Вы знаете, доктор, — усмехнулся Поротчиков, — я хотел написать сыну, но потом отдумал... Я не знал, чем кончить письмо: «прощай» или «до свидания»?..

— Товарищ Петрова! — с несдерживаемым уже гневом повернулся доктор к черной сестре.

И под этим окриком сестра опять чуть не уронила маску. В минуту никому не нужного ожидания она думала о том, что упреждающе-скупые капли воды из непривернутого крана слышны всегда, когда к человеку вплотную подходит смерть.

— Я готова! — сказала сестра, подходя к изголовью стола. Она держала в руках маску, глаза ее стали зоркими: она соразмеряла свои движения, чтоб накинуть маску на лицо больного сразу, как силок, — как учили ее в свое время на курсах. Лицо больного уже потеряло для нее свои особенные, присущие ему одному черты; оно разделилось на нос, который надо не зацепить маской, на губы, на которые должна лечь пропитанная терпким составом вата. Вытянув руки, она подняла глаза на доктора, сдерживая дыхание и ожидая сигнала, чтобы кинуть руки вперед. Доктор, все еще сердясь на нее за неловкость, сделал чуть заметное движение бровями, и, послушная командному этому зову, сестра с автоматической ловкостью солдата опустила маску на лицо Поротчикова.

— Считайте, — сказала она, — все это — пустяки и, главное— не волнуйтесь... Считайте за мной: раз, два, три...

— Ну, раз, — с усмешкой повторил Поротчиков. Было забавно, что его, взрослого человека, заставляют считать вслух, и от этого счета зависит его будущее. Улавливая обостренным слухом, который новой волной коснулся его, когда крышкой маски сестра притушила его глаза, стук капели — он стал отсчитывать удары воды. — Три, четыре, пять...

Считать за водой было легче, но мешали удары пульса на руках сестры, шаги в коридоре, прилипавшие к двери, звон инструментов, которые готовила худенькая сестра, и еще непонятно тоненькое, как свист москитов, сипение над самой головой, определить которое он не мог: с таким чуть слышным зудом горят лампочки большого напряжения.

— Десять, одиннадцать, двенадцать...

В эту равнодушную дробь укладывалась вся жизнь, — он понимал это. Но капель уже обгоняла его, растекаясь в сладкую и липкую, как половодье, воду, она заливала грудь и горло...

— Двадцать шесть, двадцать семь... тридцать... — пропустил он, стараясь нагнать утекавшие капли. Маленькая эта хитрость дала Поротчикову возможность следующие пять ударов отсчитать четко и раздельно; отсчитывая с неверной, нарочной громкостью, он надеялся, что хитрости его не заметят. Но пропуск послужил для других сигналом. Худенькая сестра уже подходила к столу, держа на тарелке, как на блюде, инструменты. Доктор, движения которого опять стали скупыми и размеренными, провел пальцем по животу больного, показывая ей круг дезинфекции. И только тогда черная сестра, державшая маску, заметила, что больной считал капель, и ужаснулась этой мысли.

— Сто... сто сорок... триста! — прохрипел Поротчиков, вскидывая в последний раз локтями, чтоб оттолкнуться от стола, и замолкая, сдаваясь неудержимо-заливающему сладкому потоку.

— Отлично! — громко сказал врач, — товарищ Петрова, бинты и тампоны... Ланцет три, щипцы справа... благодарю вас...

Теперь, когда Поротчикова не было, а лежало перед ним страждущее человеческое тело, — каждое движение хирурга стало уже не его движением, а движением еще кого-то, кто скрывался в нем, кому подчинялся он сам. И он уже не видел ни стен, ни больного, ни рук своих, ни сестер, вставших по бокам стола, державших блюда с инструментами, разложенными в таком порядке, в каком понадобятся они при операции, чтоб он мог брать инструменты не глядя, с уверенностью, что возьмет нужное в данную секунду. И тогда с веселостью, которая заиграла в нем оттого, что в каждом своем жесте, даже если жест вооружен ножом, он был уверен,—хирург хлопнул большое, неотозвавшееся на его шутку тело ладонью и, протягивая руку за ланцетом, проговорил нараспев:

— Начнем, пожалуй...

...и вот когда тело было вскрыто, и кожа распялена щипцами в стороны, и в рану, булькавшую кровью, глянуло неповторимо прекрасными своими цветами человеческое нутро,— большая электрическая лампочка,

свисавшая к изголовью, стала медленно потухать. Хирург поднял голову со злостью на неожиданное препятствие, нелепо сбивавшее его, отнимавшее нужные на конец операции секунды.

— Это еще что? — спросил он хрипло.

Свет потухал с медленностью таяния; в ослепительном пузыре лампы пробилась желтая, как копоть, полоска, и тогда широко раздвинутые белые стены словно приблизились, подошли к столу, ожили потемневшие углы, и самый стол, казалось, пригнулся к земле, и растянутое щипцами, как лягушка, человеческое тело на нем в пожелтевшем полумраке стало отвратительным. Черная сестра уронила на пол ланцет, — оборванный девичий всхлип. И точно живого этого сигнала только и ждала лампочка — свет еще раз разгорелся до полной меры и сразу потух.

— Чорт знает что! — вскричал хирург, повыше поднимая запачканные кровью руки и разводя их в темноте, чтоб одной рукой не коснуться другой, — чужая кровь обжигала, когда собственные его, выпачканные ею руки касались друг друга. — Немедленно дайте свечу и позвоните на станцию!..

Он не растерялся, как не терялся даже в те секунды, когда от быстроты поворота одного пальца зависела доверенная ему жизнь, но темнота сейчас была неожиданной и нелепой. Это внешнее, независящее от него обстоятельство возвращало ему спокойствие.

— Отходите задом, — приказал он худенькой сестре, — сзади вас стол, поставьте на него инструменты...

Он слышал, как зазвенела колба, или, может быть, это был крик в коридоре, по которому уже бились чьи-то шаги, и вот кто-то уже колотился в дверь, срывал ее, чтоб всем своим отчаянием заставить совершиться чудо. В операционную врывалась жизнь, от которой двадцать минут назад они отгородились всей профессиональной своей холодностью, которая рвалась теперь сюда, чтоб теплым своим дыханием сделать то, чего по нелепой случайности не смог сделать тысячелетний человеческий опыт. Удержать эту жизнь, которая горькими руками жены могла упасть на распоротый живот и перепутать кишки, — было его делом, делом врача, и он бросился к дверям, протягивая вперед окровавленные руки, схватывая ими чьи-то плечи, чью-то голову...

— Назад!.. — закричал он, — я приказываю вам... вы слышите!

В желтом пятне свечи, возникшем в руках черной сестры, он увидел жену Поротчикова, седые ее волосы, о которые вытерлась кровь, безумные ее глаза, которым не было дела до случайности, которые сдали теплую человеческую жизнь его рукам и требовали ее возврата.

— Идите прочь! Как смели вы войти сюда! — вскричал хирург, упираясь руками в плечи женщины и с неожиданной для себя грубостью толкая их назад. И под этим толчком, отнимавшим у нее последнюю надежду, — женщина покорно повалилась навзничь. Хирург вырвал

свечу из рук сестры и, суя пламенем вперед, как бы прокалывая тьму, бросился в операционную.

В ней увидел он худенькую сестру, — она стояла у стены, вжимаясь в нее всем телом, как делает это человек в страхе, когда силится уйти от страшного спиной. На столе полусидел больной... В руке он держал маску, свесившуюся к полу, как большая ухватившаяся за землю рука, глаза его были раскрыты и в свете свечи — фиолетовы и мутны, как глаза быка, оглушенного обухом. Боль, должно быть, была так велика, что она уже не сводила судорогой его лицо, — ясное, отполированное неестественной желтой ясностью. Это была ясность последних секунд жизни. Увидев доктора, взмахнувшего свечой, как шпагой, — Поротчиков улыбнулся ему широкой, по необходимости прощающей улыбкой, и прохрипел, глухо и пусто, будто говорил последнее не ртом, а распоротым, почерневшим от спекшейся крови животом:

— Скрипку бы, а?..

Когда полчаса спустя дали свет, и лампа вновь залила молочно-белым, раздвигающим стены светом операционную — то, что было Поротчиковым, смирно лежало на столе, прикрытое простыней. Доктор, ожидавший возникновения света у окна, подошел к умывальнику, чтобы вымыть руки, и черная сестра приблизилась к нему с полотенцем. Она плакала, теплая родинка на ее виске казалась черной, как дыра от пули. Она готова была принять на свою грудь всю человеческую вину за совершившееся, и если бы эта вина раздавила ее, — она легла бы под нее со спокойствием человека, принимающего освобождающее возмездие. Но хирург, беря от нее полотенце, сказал, — и сам силясь найти ровное, делавшее уверенным каждый его жест — и теперь в сущности уже ненужное ему — спокойствие:

— Мы сделали все, что должны были сделать... Но дело, когда человек не любит его, а лишь подчиняется ему, часто мстит за себя; как ему, — и он махнул полотенцем к накрытому простыней столу, — как ему отомстил свет за скрипку...

Равноденствие.

(Рассказ).

Виктор Дмитриев.

1.

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
А. Блок.

Инженер Егор Васильевич Параделов положил себе еще месяц жизни. Он не кокетничал с браунингом. Решение его было зарублено глубоко и прочно. Но хотя жизнь завершилась, хотя вещи и навыки, техническая фуражка и тонкость ума стали ненужным, Параделов все-таки, бог весть зачем, в последний раз натягивал свою волю, которую он столько лет с гордостью и уважением носил в себе.

Он сам с жестокой точностью назначил месячный срок. Один из полутора миллиардов он задолго знал неотвратимый день и жил под его свинцовой тенью. Но даже и такую мысль Параделов постепенно приручал. Даже с этой тенью он обживался, как обживаются с висящей у пояса бомбой.

Нехорошо человеку знать час своей смерти. Только неизвестность делает жизнь сносной. Приговоренный в своей камере верит в помилование, которое, конечно же, прискачет на белом коне к подножию эшафота. Неизлечимому больному остаются бог, чудо, гомеопатия. У Параделова не осталось ничего, но он все-таки доживал назначенный себе месяц.

Каждый вечер Параделов перекладывал листок настольного календаря. При этом он, как в студенчестве отмеривая недели до зачета, подсчитывал: «мне осталось три недели», или: «мне осталось семнадцать дней».

Параделов третий год строил электрическую станцию в горячей долине под Батумом. За эти годы любовь и малярия вконец иссушили его. Он бежал сюда из города, где каждый асфальт хранил отпечатки дробных каблучков, где с каждого дерева в парке он срезал для нее прутики, где каждая женщина на улице обманывала сходством, но время и расстояние только раскалили чувство вместо того, чтобы сжечь.

Воспоминания и фотографический портрет вслед за Параделовым переселились в долину. Портрет лежал в письменном столе рядом с пачкой ежедневных неотправляемых писем и с маленьким плоским револьвером. У полуголой женщины на портрете были тонкие губы и запястья. В левой руке она держала овальное зеркало и была очень красива.

2.

Внезапная, как землетрясение, ночь разразилась над долиной.

Параделов ненавидел ночи и боялся их. Правда, воздух вокруг великолепно кипел воплями цикад и крылатыми светляками. Правда, здешнее небо, намалеванное густой масляной синевой, вовсе не походило на бледную и немощную акварель ученических северных небес. Там жестяные звезды дрожали и переглядывались в водянистой пустыне. Здесь холст провисал под медным грузом раскаленных созвездий. Но Параделова не утешали блестки и мишура светляков, театральное великолепие светил, простор синего свода, темный шорох моря, трущегося спиной о гравий. В темноте воспоминания обжигали больней. Чугунный мрак тяжело наваливался на плечи. Кровь Параделова сгущалась, и бессонница яростно решетила его ночи.

Параделов не спал. Он обнимал воздух и тискал подушку.

Да! Женщина была доступна шопоту и дыханию. Он мог касаться ее горячей белой кожи, мог трогать ее пахнущие миндалем волосы. Сраженная поцелуями, она изгибалась и обвивалась вокруг него, как хмель.

Ближе, тесней, горячей!

Параделов кидался по кровати, сминая и отшвыривая одеяла, подушки и даже тонкую, прогревшуюся простыню. Он ложился поперек и опускал ноги на холодный пол, как в студеный ручей. Но прохлада не подымалась выше худых колен и не достигала до сердца.

Пружины взрывались. Вздрагивающий матрац гудел, как гитара. Параделов стонал и задыхался.

Он не мог дольше дышать душной темнотой. Он не хотел! Но свет? Ни за что! Но сдаваться?..

Тогда Параделов стучал в стену, и из соседней комнаты приходил доктор. Он как бы возникал из перегородки, созданный стуком. На голом докторе были надеты только очки. Он нес перед собой початую бутылку коньяку, как зажженую лампу. Его старческая худоба различалась даже в темноте. Однако к выпирающим ребрам был привешен непомерный живот, обвисающий на тощие, волосистые ляжки. Доктор много пил. Старость и уродливость не печалили его.

3.

— Хлебните-ка, мальчик,— лениво с профессиональной успокоительностью говорил доктор, присаживаясь на постель и протягивая Параделову коньяк. — Будет вам ершиться и швырять подушками.

Но Параделов молча отталкивал бутылку. Здесь в долине он бросил пить. Он обязан был продержаться и без этого.

«Воля! — с гордостью думал Параделов, отстраняя коньяк. — У меня еще осталась воля!»

Прожив двадцать шесть месяцев вместе, вдвоем среди нескольких разноплеменных тысяч между непонимающих по-русски и с трудом понимающих друг друга оборванных и бородатых аджарцев, абхазцев, армян, мингрелов, грузин, осетинов и горных евреев, в пышной, но чужой и невразумительной природе, научаешься слышать и нешептанный шопот.

— Бросьте, инженерик, — сказал доктор, позевывая, — наплюйте на вашу хваленую волю и пейте этот старый честный четырехзвездный коньяк. Дер гоньягос! Он придаст вам аппетиту к жизни.

— А на кой чорт мне аппетит к жизни? Все равно я скоро сдохну.

— Совсем вам незачем и подыхать. Лучше обучитесь улыбаться. Вы живете, как в погребальной процессии, идущей за вашим собственным гробом. Реже брейтесь и чаще предавайтесь оргиям смеха. Смотрите, я не брит, пьян, смеюсь, кажется, счастлив и вот, видите, даже почесываю подмышку.

— Мне не над чем смеяться. Не знаю, как ваша, но моя жизнь нисколько не смешна.

— Именно ваша-то жизнь и смешна! Вы только прикиньте: молодой, талантливый инженер, удачно спроектировавший и построивший две больших гидростанции, имеющий свои труды, прочимый в профессора, вдруг исчезает. Был инженер Параделов и нет инженера Параделова. Но где же он? А он в это время корчится, как длинный красный земляной червь под каблуком, и не спеша подыхает в проклятой заболоченной долине.

— И что же тут смешного?

— А то, что умного и сильного человека сгибла в грязь и в смерть какая-то вертлявая столичная трясогузка, какая-то шлюха, дрянь, дерьмо.

— Полегче, доктор!

— А, вступаетесь за честь этой... Ладно, ладно! Разожмите кулак, гидальго. Вы сумасшедший, Параделов.

— Разумеется! Так же, как и вы! Это море хоть кого сведет с ума. А тут еще запах камфоры. Почему камфора? И цикады! Закройте окно, доктор. И, потом, знаете что? Вылечите меня.

— Отлично. Завтра вы начнете принимать синьку и подадите об отпуске.

— Никакой не отпуск! К чорту синьку! Завтра я, как всегда, пойду в контору. Меня надо лечить не от малярии...

— ... а от нее... — докончил доктор, кивая на письменный стол. — И что вы только в ней нашли? Она худая и вдобавок черная, как кочерга. А ведь вас даже самые отличные девочки не могли развлечь.

— Вы ничего, доктор, не понимаете. Какие тут, к чорту, девочки! Хотите я расскажу про нашу последнюю, девяносто первую ночь?

— Никак не хочу. Во время каждого приступа вы бредите именно этой последней, девяносто первой ночью и надоели мне с ней ужасно. Знаете, как вы начинаете? «Автомобиль шел в гору, — кричите вы отчаянным, рыжим голосом.— Фонари его накаляли шоссе до бела.— «Быстрей, — сказала ты. — Еще быстрей» — И при этом вы мнете и слюните мою руку.

— Да, доктор, она сказала быстрей, и автомобиль шел в гору. Я целовал ее закрытые глаза и смуглые плечи, мерцавшие в темноте. Губы ее растворились. Она трепетала от вина, от поцелуев, от быстрого хода машины. — «Быстрей!» — крикнула она, и мы помчались под гору.

— Вот вы и опять бредите,— вставил доктор.

Но Параделов не ответил. Он лежал на спине, подкинув руки под голову и широко раскрыв глаза.

— В эту же ночь я узнал, что женщина меня не любит. К окну подступило мутное утро. В комнате горело забытое электричество. На ковре валялись пустые бутылки и нелепо раскиданное белье. Она хотела денег, доктор, а не меня. Пустой я был ей не нужен. «Растрать!» — приказала она.

— А вы, честняк, разумеется, сдрейфили? Как же это: при такой любви?

— Ничего не сдрейфил! Ради нее я бы не то, что растратил, а родную мать прирезал. Но ради нее, ради ее любви, а не ради скупых, размеренных на часы и килограммы ласк. Доктор, я со злым размахом ударил ее по щеке. И вы думаете — она плакала, прятала голову в подушку? Она смеялась! Смеялась, хотя мои пальцы отпечатались на ее нежной коже. Я надевал голубые вязаные кальсоны, а она рассматривала мои кривые пальцы, — видите, у меня кривые пальцы,— и прижигала меня смехом. Знаете, кажется, ничто так не делает смешным мужчину, как кальсоны. Сам Юлий Цезарь, переходящий Рубикон, был бы только смешон в кальсонах. А тут еще эти кривые пальцы... Закройте форточку, доктор! Опять камфора!

4.

Днем губы Параделова были подобраны и сжаты. Узкие плечи его развертывались над большим столом, как выравненные по проволоке. Он ежедневно аккуратно брился, принимал холодный душ, исправно менял воротнички, делал доклады на совещаниях и в досужие часы развлекался виолончелью. Разговаривая, Параделов смотрел собеседнику в переносицу и слова свои вычерчивал точно и четко, как рейсфедером по ватманской бумаге.

— Да, — говорил он, — установку третьего щита Стонея закончить к завтрему. К девяти часам утра все должно быть сделано.

Даже с доктором, единственным, знавшим о ночных часах хрипоты и безумия, Параделов разговаривал так же, тем же однообразным, чертежным голосом.

Полгода назад строительству, наконец, отпустили настоящие деньги, и оно вошло в полосу большой работы. На трех квадратных километрах, под настигающими лучами яростного солнца люди потели, пригнув голову шли вперед, чертыхались, громыхали кирпичами и балками. Повсюду громоздились угловатые груды облицовочного камня, штабели смуглого, пахнущего смолой теса, тонны чугунного литья и стали. На дне котлована урчал экскаватор, в другом углу, слишком еще тесном для машины, копошились землекопы. Белые флажки взрывов взлетали над ближними каменоломнями.

Параделов заканчивал свой ежедневный обход. Он давно привык к этой суете, и ничего, кроме брюзгливой скуки, она в нем не вызывала. Заплетя руки за спину, он тщательно обносил щегольские ботинки мимо беспорядочных куч песка и цемента, осторожно отстранялся с пути угрюмых и проворных рабочих, которые, блестя промасленной бумагой обнаженных потных спин, быстро катили тяжелые тачки с землей и материалами. Параделов ходил вдоль перемычки, спускался в котлован и поднимался на кессоны.

За работой экскаватора Параделов наблюдал почти час.

— Эта машина,— сказал он, наконец,— кончила свое дело. Приступайте к сборке «Мариона».

— Слушаюсь,— ответил инженер, заведывавший земляными работами, и почтительно приложил руку к околышу.

Хотя формально Параделов числился всего лишь начальником работ, а главным инженером был автор проекта профессор Дукат, но и инженеры и рабочие знали, кто начальство. Профессор был далеко, Параделов близко. Повседневными мелочами строительства профессор не занимался. Он даже не всех сотрудников знал по фамилиям. А, самое главное, с Дукатом можно было шутить и угощать его плохими папиросами, Параделов же всегда и со всеми держался, как хлыст, занесенный для удара.

— Проверьте перед спуском «Мариона» вытяжную ветку. Вы ведь знаете, я не хочу ошибок,— сказал Параделов. Затем, отряхнув обшлаг пиджака, он, не оборачиваясь и не дожидаясь ответа, пошел к конторе, уверенный, что его распоряжение исполнят с скрупулезной точностью религиозного обряда.

Параделов не только г о в о р и л, что не хочет ошибок. Он и не ошибался. Своими прежними работами он увлекался, он болел ими, они изрывали его лицо. Он и его постройка были неразделимы. Нельзя было вычислить, где кончается мигрень инженера Параделова, а где начинается плохое качество бетона. Машины и исполнителей он подбирал тщательнее, чем композитор подбирает полутоны своей пьесы. Параделов находил и ошибался. Это он первый предложил новый способ бетонировки,

который потом почему-то назвали шведским. Во все щели между облицовочными камнями пропускались газовые трубки. Затем площадь работы целиком заливалась водой, и вода, проникая в трубки, вытесняла воздух из всех пустот. Тогда трубки наполняли цементом, цемент пер на воду, выталкивал ее, и в результате образовывалось несокрушимое, без пустот и пузырей сцепление облицовочной коры с основной бетонной подушкой. Но и у него же, у Параделова, на втором его строительстве ледоход прорвал неконченную плотину, и только внезапно ударивший мороз, снова стиснувший реку в кольцо, спас строительство от гибели.

Сейчас инженер Параделов работал размеренно, как арифмометр. Беспощадная точность и неукоснительная безошибочность его распоряжений внушали робость подчиненным и осторожное уважение начальству. Он не создавал, а служил, спокойно выполняя чужой проект, который сам же в глубине души признавал вздорным и ошибочным. Малярия и женщина оставили ему сил ровно настолько, чтобы делать все, что на его месте сделал бы честный и трудолюбивый, но не талантливый работник.

Доктор был прав. Параделов играл роль в спектакле. Он сам срисовывал себя с образца. Даже думал о себе он в третьем лице:

«Параделов идет к контору, — думал инженер, проходя по перемычке. — Он высоко держит голову и шагает уверенной, сухой походкой. Почему в кессон номер три не спускается смена? Сейчас Параделов подойдет к рабочим и спросит их: «в чем дело?»...

5.

(Неотправленные письма).

I.

Дорогая, когда старый, обросший рыжими гвоздями, доктор достаточно пьян, чтобы быть мудрым, он говорит приблизительно так: «Параделов, ваша любовь слишком густа для сегодняшнего жидкого времени. Мы живем в годы толстовок и самопишущих ручек. Дырявый вертеровский плащ устарел безвозвратно. Изберите другую страсть: к работе, на худой конец к наживе. Становитесь хоть авантюристом, что ли. Ромео в инженерской фуражке чересчур нелепая фигура. Вы смешны, Параделов, с своей несвоевременной, чрезмерной любовью. Она раздулась, как чудовищный аршинный огурец, выгнанный для выставки. Это монстр. В нем ничего уже нет от честного, мясистого овоща. Остались только вода и аттракцион. Ваша любовь, Параделов, аттракцион. Вас можно показывать».

Пусть так, дорогая. Пусть доктор прав, а я смешон. Но я не желаю надевать толстовку. Дырявый вертеровский плащ для меня достаточно

хорош. И притом, старый чудак не понимает, что кроме плаща и толстовки есть еще и третья возможность. В конце концов, выйти из комнаты, выйти из жизни, что может быть проще?

II.

Новый воспаленный день выползает из моря. Опухшее солнце подымается из глубины, как похмельная голова шального рыжего чудовища. Кончилась еще одна бессонная ночь, отданная тебе.

Помнишь ли другой, несхожий восход? Я его запомнил навсегда. Он был наш, он принадлежал нам обоим: тебе и мне. Когда это было? Погоди, дай прикинуть. Кажется, в июле? Да, именно, в июле. Ночью, в начале июля, за шестьдесят верст от Москвы. Это не была сбивчивая московская ночь, слепо мятущаяся между засаленных деревьев, уныло бродящая по бульварам, а настоящая влажная, лесная ночь.

В ласках мы свихнулись с тропинки и брели наугад по сучьям, валежнику и росе. Наконец, мы обрели озеро. Вправленное в крутые берега, одним концом упирающееся в горизонт, оно лежало гладкое и серое.

Сперва, вместо занавешенного темнотой противоположного берега, существовала только длинная черная лента. Потом надвигающийся рассвет выделил деревья, обнаружил припавший к воде бревенчатый домик, нарисовал, вытащенную на песок, перевернутую лодку. Рассвет работал для нас. Он создавал нам вещи. Он окружал нас природой.

Раздувавшийся над озером туман слегка порозовел с одного края. Там был восток. Туда подкрадывалось солнце. Оттуда взвивались и улетали легчайшие рассеянные струйки.

Пахло смолой, твоими духами и тиной.

Мы раздевались. Твое тело просвечивало сквозь кусты, как лампа сквозь зеленое стекло. Рисунок терялся. Оставались только краски.

— Холодно, — сказала ты.

Я тоже дрожал, но не от холода. Я ждал тебя, твое тело.

Это было в первый раз, и ты открывалась мне, как неизведанная страна. Трепещущее ожидание скрыло от меня свист птиц и предрассветное содрогание леса.

Ты стояла передо мной наивно, загородив грудь ладонями. Я нес тебя в воду. Ты лежала на моих дрожащих, осторожных руках, выгнувшись настолько, что твои мальчишеские волосы плыли по воде рядом с нами. Входя в воду, я все выше поднимал тебя на вытянутых руках. Я смотрел на тебя, и мое плохое тело, тридцатилетнего горожанина, казалось мне постыдным. Оно было недостойно тебя. Вода подступила к моим плечам и защекотала тебя. Ты вздрогнула, кажется, даже слегка охнула и как-то особенно распрямилась. Вывернувшись в воздухе, ты соскользнула в неуютную воду.

Мы плавали вперегонки и ныряли рядом. Раскрыв под водой глаза, я следил за движениями твоего потемневшего тела. Ты купалась вместе с солнцем.

Когда я одевал тебя, от твоей кожи и волос пахло уже не духами, а русалочьим запахом стоялой воды.

Мы вовсе не спали в эту ночь. Помнишь, утомленная, ты шла сзади, прихрамывая. На шоссе песок и гравий заползли в твои туфли. Ты жалобно и обиженно попросила меня остановиться. Лицо у тебя сделалось девичье, сонное, приготовительное. Одной рукой держась за мое плечо, другой ты вытряхивала туфли.

Тебя огорчило, что на твоем чулке (—Это заграничный шелк, —сердито сказала ты) распустились петли. Но ведь это ветки в лесу растерзали твой заграничный шелк! Но ведь это было после такой ночи! Мы подходили к станции и несли туда утро на плечах, а тебя огорчили чулки. Тебя могли огорчить чулки, когда расшитая стеклярусом трава блистала и благоухала? Когда с лугов стремился на нас запах ромашек и свежести? Когда мои первые поцелуи еще не обсохли на твоей коже, на твоих губах, на твоем платье? Да, я не стыжусь, признаться: на твоем платье!

Ты не любила меня.

III.

Я знаю, ты не придешь никогда. Но всякий раз, как в мою дверь стучатся, я стискиваю ручки кресел. А что если это ты! Только вцепившись в поручни, можно перешагнуть через секунду.

Где взять такие слова? Они должны быть плотные, как платина, они должны настигать, как радио.

Я сказал бы тебе этими словами:

— Приди, будь со мной! Дорогая, любимая попрежнему навсегда, на весь, измеряемый уже не километрами, а вершками остаток жизни, прости мне отчаянье, прости мне бегство, прости мне любовь! Приходи. Приезжай. Я тебя жду. Вот мой адрес. Вот моя жизнь. Постели меня под свой легкий шаг, чтобы здешний гравий не царапал твои башмачки.

Но таких слов у меня нет. До свиданья. Пора в контору.

6.

По обыкновению Параделов еще с утра почувствовал приближение приступа. От проглоченного хинина в ушных лабиринтах стоял гул и звон, как от попавшей при купании переливающейся воды. Хотя вокруг люди томились и исходили изнурительным потом, Параделов зябко запахивал пиджак и прятал руки в рукава.

Вскоре ясный до резкости день помутнел, как сквозь ситец. Звуки и голоса отодвинулись за перегородку. Даже гудки паровозов оказывались подбитыми ватой и приглушенными.

В два часа Параделова окончательно сшибло. Он лежал на большом кожаном диване у себя в кабинете, прикрытый несколькими негреющими

одеялами и пальто. Зубы его звякали, как медяки. Параделова мутило. Ему очень хотелось протянуться и распрямить ноги, однако озноб подгибал колени.

От дивана вдруг повалило жаром. Жар проходил сквозь тело, раскаляя кровь, усиливая лом в костях и тошноту. Одеяла приобрели вес и плотность.

Низкий потолок лежал на глазах Параделова, как повязка. Как слишком тугая повязка, он стискивал сильно и жарко пульсирующие виски.

Вещи вели себя нехорошо. Диван, например, плавно поднялся с пола и закачался тошнотной килевой качкой в аршине от земли. Книжный шкаф выпустил карлика. Маленький, нарядный и противный человечек вышел сквозь стеклянную дверцу шкафа. Он раздулся и побагровел. Затем он встал на руки и забегал по комнате, разводя ногами, как ножницами, Параделов отвернулся и спрятал голову в подушку. Но подушка оказалась деревянной. Кроме того она приобрела особое, независимое от дивана, вращательное движение.

Спрятав глаза в подушку, Параделов не изгнал карла. Всей кожей он чувствовал присутствие этого багрового человечка. Невидимость только сделала карлика еще страшней и противнее. Теперь он суетился под столом. Он собирал заговор вещей, Параделов знал это. Утварь и мебель стала стеклянной. Кресла, одеяла, футляр виолончели, простыни, даже брошенный на стул жилет, — все было из стекла. Малейшее неосторожное движение грозило сокрушительным звоном и дребезгом. Параделов затаился. Он не решался даже переложить щеку с пылающей подушки на прохладный кожаный валик.

Карлик подкрался ближе и сузил свои круги. Он остановился у самой постели и, кажется, готовился к прыжку. Но в эту минуту сделалась тишина, вещи остановились и примирились. Параделов уснул.

Разбудили его только ночью. В комнату вошел дрожащий от сдерживаемой вежливости дежурный инженер. Бумаги на столе затрепыхали. Заметив, что Параделов спит, инженер нерешительно остановился у порога.

— Тише, — сказал доктор, не оборачиваясь. — В чем там еще дело?

Он сидел у постели больного, а перед ним на табурете высилась традиционная коричневая бутылка и лимон.

— Надо его разбудить, доктор, — нерешительно заговорил инженер. — Знаете, серьезные неприятности для строительства.

Доктор молча и осторожно мешал в рюмке коньяк с содовой.

— Необходимо разбудить его, доктор, — повторил инженер — еще менее решительно. — Иначе все полетит к чертям.

— Ну, и пусть летит! — сказал доктор, прищуриваясь и рассматривая рюмку на свет. — Ну, и пусть летит, а будить его я не позволю. Сейчас он не главный инженер Параделов, а больной Параделов, и не он отвечает за строительство, а я за него.

— Доктор, но ведь это для нас зарез, — воззвал инженер.

— Свободная вещь, — отхлебывая и крякая, ответил доктор. — А вот что, идите-ка отсюда, молодой человек. Да, да, да, идите, идите.

Доктор растопырил руки и брюхом вперед попер на инженера.

Вставая, доктор уронил стул и шум разбудил больного. Параделов чувствовал себя лучше. Жар усилился, но озноб и тошнота кончились. Приступ шел на убыль. Высушенная жаром голова была пустой и легкой.

— Егор Васильевич, — громко и взволнованно заговорил инженер, ловким маневром вывертываясь из рук доктора, — Егор Васильевич, в горах тает, уровень повысился на сорок сантиметров, Адлерская станция извещает о надвигающемся циклоне, нужно что-нибудь предпринять.

Все это инженер выговорил одним духом без запятых. Увидев, что Параделов все-таки проснулся, доктор сердито пожевал губами и, подняв стул, сел.

— Повышается уровень? — переспросил Параделов, — циклон?

Даже сквозь жар и слабость Параделов тотчас понял, что строительство в большой беде. Вот она, когда сказалась, так давно им предвиденная рискованность дукатского проекта.

7.

Само по себе половодье было не страшно и предусмотрено. Но половодье, разражающееся месяцем раньше срока, было уже кое-чем. А преждевременное половодье, соединенное еще с циклоном, вовсе сулило грозные последствия. Именно такие наводнения, наводнения, произведенные крепким, идущим с моря, ветром захлестнули в свое время Петербург, Астрахань и Ленинград.

— Доктор, — сказал Параделов, — подайте мне, пожалуйста, брюки. А вы, Петр Самойлович, будьте добры созвать всех инженеров, прорабов, техников и из ячейки и рабочкома.

Инженер почтительно наклонился и, осторожно закрывая дверь, вышел.

— Я не подам вам брюки, Параделов, — сказал доктор. — Зато я могу вам подать отличный совет. Лежите спокойно. У вас тридцать девять и две.

— Убирайтесь к чорту, доктор! — рассердился Параделов. — Я вам русским языком говорю: подайте брюки!

Доктор поправил очки и пододвинул к Параделову стул с одеждой.

— Ну, так как же, Параделов, — спросил он примирительно и шутливо, — отстоите станцию? А на кой, собственно, ляд вам ее отстаивать? Неужели вас интересует судьба этой грязной лоханки с вонючими аджарцами?

Параделов смежил глаза. Трудно было определить, спит он или слушает. Балагурство доктора пришлось в центр мишени. В самом деле, не безразлично ли ему, Параделову, раздавит или не раздавит вода эту злосчастную станцию? Чем бы ни кончилась заворушка, все равно к концу

ее Параделов будет мертв. Но Параделов и не задумывался над заданной ему загадкой. Вместо того, он, как хозяйка перебирает кружовник, метр за метром перебирал участки перемычки, из которых особенно беспокоил его южный. Он подсчитывал запасы, ресурсы и людей; прикидывал планы, готовился к деятельности. Почему? Была ли то последняя профессиональная честность? Или просто действовала инерция, та самая, которая толкает вперед растоптанного муравья, волочащего за собой раздавленное брюшко? Параделов не старался проанализировать и разглядеть свое чувство потому, что самое это чувство слишком властно несло его вперед, не останавливаясь и не оставляя времени на рефлексию.

Когда собрались инженеры, Параделов, одетый, сидел у стола. Лицо его еще не остыло после приступа. Плотная синева вокруг углубившихся глаз делала их незрячими.

— Петр Самойлович, — попросил Параделов дежурного, — соедините меня с председателем райисполкома. Там, в книжке, записан его домашний телефон.

— Садитесь, — пригласил Параделов пришедших. — О случившемся вы уже, вероятно, осведомлены. Положение в достаточной мере опасное, но есть и очень изрядные шансы. Шторм собирается нас загубить. Однако он же может нас и вызволить. Стоит ему с достаточной силой ударить реке в лоб, и она замедлится, а то и вовсе остановится. Может быть, даже, перед перемычкой оголится дно. Вода пойдет вспять, к верховьям, и будет там копиться, чтобы потом оттуда тем тяжелее обрушиться на нас. Наводнение усилится, но оттянется. Во времени образуется щель, и мы в нее проскочим. Нельзя только терять ни минуты. Понятно?

Параделов отер платком пот с носа и с висков. Освещенные опасностью, примелькавшиеся лица знакомых, средних людей были новы и необычайны.

Студент-практикант, самый молодой из присутствующих, слушал Параделова с восторженным недоумением.

Вопреки расползшимся по щекам усердным веснушкам и своему резвому носику студент силился быть взрослым и солидным. А так как взрослый и солидный человек, муж совета, обязан был в таких чрезвычайных обстоятельствах возвысить разумный голос, студент, сам не зная как, выпалил первое, что подвернулось.

— Надо бы телеграфировать в Москву, — сказал он.

Параделов с обидным удивлением взглянул на него.

— Ничего не надо телеграфировать, — отштамповал он. — Я сам отвечу за все! Прежде всего, мы добьемся мобилизации окрестного населения. Деревянные части нужно убрать. Ветку укрепить. Входное отверстие канала расширить. Дальше...

— Да, да, вы слушаете? — закричал Параделов в поданную ему дежурным трубку. — С вами говорит Параделов. Да, начальник работ Параделов!..

8.

Параделов не спал всю ночь. Последние раскаты малярии еще сотрясали его организм. Бессонница и болезнь налили ему кровью глаза и всклокочили волосы. До самого утра он диктовал телефонограммы, принимал рапорты и распоряжался.

Вместе с Параделовым не спало и все строительство. Работали одновременно две смены, на перемычку перебросили большинство вспомогательных рабочих, и все-таки людей катастрофически не хватало.

Паровые лебедки собрали к котловану. Растопыренными лапами они хватали охапки бревен, досок, шпал и двутавровых балок и вскидывали их на высокий берег. А там уже дожидались. Едва только лебедкина ноша касалась земли, рабочие облипали ее со всех сторон. Они кидались в работу, как в драку: грузили вагонетки, наваливали с верхом тачки, просто навьючивали горбы и, задыхаясь и пошатываясь, оттаскивали тяжелую кладь в безопасное место. Тем временем внизу, в котловане, другая половина рабочих топорами и баграми разваливала и раздирала на части деревянные сооружения. Они сбивали у основания лебедок груды материалов, наспех, но прочно перехватывали их троссами и канатами. Затем падали черные лапы машины, раздавался короткий лязг натягивающихся цепей, и снова на берегу еще не остывшие, не размявшие спин рабочие кидались к спущенным материалам. Крик, пыль, резкий свет мятущихся фонарей, лязг и ругань пеленой расстилались над полем труда. Малочисленность приходилось возмещать натиском. Собственные тени не поспевали за людьми.

Солнце разлилось по долине, как алебастр из опрокинутого ведра. К конторе стали подтягиваться первые партии крестьян, согнанных исполкомом. Одни из них шли пешком, другие, подгоняя ленивых, могучих буйволов, ехали в арбах, поскрипывающих неуклюжими сплошными колесами. Мобилизованные прибывали полными деревнями, оставляя дома только детишек да запрятанных в черные покрывала женщин. Навстречу крестьянам, чтобы распределить их по участкам выбегали десятники. Заряженные густым электричеством сумасшедшей работы, десятники с разбегу рассыпали искры и разряжались в толпе, как лейденские банки. Крестьяне, привыкшие к неторопливой поступи буйволов и деревенских событий, шалели от одного вида и голоса этих встрепанных, распорядительных командиров. Их разом, как из ковша, ошарашивал новый, блещущий, хриплый мир. Оглушенные, столкнутые с толка, они робко кутались в свои бурки и сторонились. Но проходило полчаса, и тот, кто сейчас лишь молча хохлился и ужасался, тоже, вместе с другими, вертелся в общем водопаде, тоже, скинув все до рубашки, бегал, яростно тормошил многопудовые балки, гнал тачки, подставлял плечи, гортанно, на один манер выкрикивал грузинские и расейские ругательства, делал ту же непосильную дружную работу. Как мчащийся поезд подхватывает и в стремительном потоке воздуха влечет за собой ворох бумажек, веточек, окурков, песчи-

нок, не давая им остановиться или припасть к земле, гоня вперед и вперед, так стремительный труд подымал и увлекал за собой все и вся, не позволяя ни вздохнуть, ни разогнуть плечи, опьяняя людей своим всемогуществом, набивая кровавые мозоли на их жесткие ладони.

9.

Малярия и карлики отпустили Параделова до вечера, и он старался воспользоваться передышкой.

На строительстве было восемьдесят инженеров и техников. Параделов разделил их на две смены, и они работали по двенадцать часов. Даже самые щеголеватые утратили блеск ботинок и складку на брюках. Теперь они отличались от рабочих только большей громкостью крика. Даже Параделов не побрился и не сменил воротничек. Но он все-таки ходил, попрежнему, не спеша и, попрежнему, аккуратно обносил ноги мимо щебня, песку и камней.

Шторм не начинался. День был высок и прозрачен, как чисто протертое мелом стекло. Вода в реке прибывала очень медленно. Среди грохота машин и лопат равнодушно потрескивали цикады. В редкие просветы тишины входило мерное дыхание огромного, ровно колышащегося моря. Прозрачная сетка колебалась над раскаленной землей.

«А что, ежели вся возня напрасна? — думал иногда Параделов. — Что, если метеорологи ошиблись и шторм не состоится?» Но додумывать было некогда и не в охоту. Параделов не поспевал отбиваться от набегавших со всех сторон вопросов и людей.

«Ставить или не ставить землекопов на расширение канала? — спрашивали его. — Что делать со старой веткой? Куда переселять из угрожаемых жилых домов?»

— Ставить, — отвечал он. — Одних экскаваторов мало. Двести человек. Ветку укрепить, снимать не стоит. Переселяйте в контору и к служащим.

— Что же, Егор Васильевич, — огорченно сказал пробегавший мимо студент, тот самый, что вчера предлагал телеграфировать в Москву, — что ж, погода нормальная и никаких штормов не предвидится.

Студент как бы подтверждал его собственные давешние мысли, и Параделов взглянул на него с любопытством. Но он тотчас понял, что молодого человека ни мало не беспокоит судьба станции. Его обуревала жажда катастрофы. Задержку в событиях он воспринимал, как обиду.

— Будет шторм, дорогой мой, — успокоил студента Параделов. — Непременно будет.

Говоря это, Параделов увидел, что на востоке небо замутилось маленьким, слабо отпечатанным облачком. Тогда он понял, что шторм в самом деле неизбежен и, указывая студенту на облачко, добавил:

— А вот и он сам. Прет из Турции.

Студент восторженно и умиленно улыбнулся. Итак, сбывалось! Будь он один, он бы подпрыгнул. Но на людях он только защелкал паль-

цами и побежал, громыхая медяками в кармане и затопляя перемычку ослепительными улыбками. Он был счастлив нежданной возможностью бегать, галдеть, суетиться и запросто разговаривать с Параделовым...

После утреннего купанья студент чувствовал себя особенно молодым и теплым. Складно пригнанная, подтянутая одежда почти сливалась со свежим, розовом телом. Кристаллики морской соли присохли к лопаткам. Море осталось у него на спине.

Двое аджарцев волочили тяжелую рельсу. Студент запер им дорогу. Он выплеснул на них волну сердитых строгостей и нечаянных улыбок. Он грозно приказывал тотчас же повернуть обратно и с трудом подбирал уголки губ.

Аджарцы ни слова не понимали по-русски. Но из улыбки и веснушек они живо сообразили, какой в сущности не страшный, а, наоборот, молодой и счастливый человек кричит на них. Мир нравился студенту, студент нравился миру, а гнев был всего лишь веселым упражнением в гневе.

Аджарцы обрадовались передышке, сложили кладь и сели.

Дослушав до конца пространные и громогласные объяснения студента, они подняли рельсу и пошли в том же направлении. Студент рассердился, хотел куда-то бежать, кому-то сообщить, но вдруг, как привинченный, замер на месте. Он закинул удивленную голову к небу. В каких-нибудь несколько минут оно до краев налилось оловом. Коричневая тень прихлобучила долину. Предгрозовая река помрачнела и лежала, как темный брусок баббита, поблескивающий краями, зачищенными наждаком. Шум моря стал явственней и вмешивался теперь даже в грохот работы. Жара спала. Потянуло свежестью. Цикады умолкли. Запахло прелыми водорослями.

10.

Шторм пришел. Он налетел сразу. Двенадцать баллов ударили, как двенадцать ядер, выпущенных в упор.

Ветер срезал с земли пласты слепящего песку. Он подымал этот песок, швырял его, забавлялся им. Песком, как пачкой булавок, он сек лицо, царапал глаза, бил в лоб. Воздух пожелтел. Окна, бомбардируемые тысячью песчинок, дребезжали. С реки и с моря шторм подымал каскады брызг и соленым дождем хлестал долину. Ветер громыхал по крышам тяжелыми сапогами. Он врывался в котлован и метался в нем, как биллиардный шар, тридцать раз переменяя направление, то отскакивая от стен, то снова налетая на них. Он колотился головой о гранит, грыз и терзал землю, рыл ее копытом, выпрыгивал прочь, предоставляя мгновенное, неправдоподобное затишье, и снова низвергался в карьер. Свистящий воздух камнем подкатывался под ноги. Ветер обрывал брови со лба.

Работать стало чересчур трудно. Шторм и люди перетягивались, как двое атлетов перетягиваются на канате. Приходилось оспаривать каждую

тачку. Бревна и инструменты сами вырывались из рук. Море разрослось непомерно. Его приблизившееся грохотанье проглатывало голоса.

Параделов распорядился работать не восьми-, а четырехчасовыми сменами. Но нелегко было дотерпеть и четыре часа. Многие рабочие, а особенно мобилизованные крестьяне, вконец обессилев, забивались в тихие углы и лежали там, прикрыв голову руками. Проспав восемь непробудных часов, люди все-таки не хотели вставать. Разбудить их было невозможно. Тогда Параделов велел пожарным окачивать таких водою из помп.

Секретарь партийной ячейки, товарищ Самарский, устроил двадцатиминутное собрание. После этого из коммунистов и комсомольцев составился ударный трудовой отряд, которому Параделов поручал самые трудные и нужные предприятия.

День смешался с ночью. Застланные светящейся пылью фонари одинаково смутно горели круглые сутки. Большие тучи раздувались и хлопали, как мокрые паруса. Они двигались быстро и низко, скользя по зеленой крыше бетонного завода. Ветер день за днем, без перестачи, шел стеной, передвигаясь все с той же курьерской яростью, не уступая из скорости ни метра. Двенадцать баллов, все время двенадцать!

В долине один только человек не ворчал и не бранился. Параделов был доволен силой ветра. Шторм славно исполнял предписания начальника работ. Уровень больше не повышался, потому что главную массу вод ветер оттеснил обратно, в истоки. Оттуда, с верховьев, одну за другой слали телеграммы о ширящемся бедственном разливе, но зато строительство получило отсрочку.

— Мы заработали еще день, — сказал Параделов доктору, — еще день — четвертый. Теперь, пожалуй, успеем.

За четверо суток Параделов не проспал и четырех часов. Кончилась работа и налетала малярия, отлегала малярия и обрушивалась работа. Еще пошатываясь, Параделов выходил в котлован и на кессоны. На его ссохшемся лице сохранились только ноздри. Он уговаривал, приказывал, принуждал, находил минутные точные решения, и даже иногда сам, вместе с рабочими, вставал в передовую линию каленой физической работы. Помощь его оказывалась скорей символической. Параделов всегда был беден мускулами и хваткой, а сейчас, питаясь одними папиросами да злостью, он вовсе ослаб.

Впервые Параделов четверо суток кряду не писал женщине писем. Случалось ему и прежде пропускать день или два. Иногда утомление пересиливало волю. Но тогда, сдаваясь усталости, Параделов чувствовал себя, как будто позабыл умыться. Подписывая деловые бумаги, он одновременно сочинял в уме любовные периоды. Узелок о письме был прочно затянут в его памяти. Сейчас, спасая от распада и уничтожения труд тысяч людей, обороняя лес, бетон и металл, Параделов,

к удивлению доктора, даже в бессознании не вспоминал, как автомобиль шел в гору. В малярийном бреду он, превозмогая ветер, выкрикивал ругательства и команды.

11.

Шестой героический, потный, день вставал над строительством. Остервенелый ветер выворачивал море, как наволочку. Он выковыривал тяжелые камни со дна. Если только это было возможно, он попер еще гуще и еще сильней нажал на реку. Река вспучилась и заворчала. Она попробовала противиться, но подалась и отступила. А ветер опять и опять плечом притискивал ее к горам. Он нажимал на нее, как молодой, широкоспинный грузчик нажимает пружину бульварного силомера. Волосы его прилипли к вискам, бицепсы раздувают праздничную рубашку, подруга в белой блузке давно нетерпеливо дергает его за рукав, а он все жмет и жмет, налегая на стальную рукоятку, пригибаясь к земле и багровея.

Шторм возвысился до библейской мощи. К вечеру он выгнал воду из устья, выдавил ее из канала и, как юбку, задрал реку перед перемычкой. Русло заголилось на триста метров. Выказались блестящие валуны и влажная глина дна.

Это не могло быть надолго. Параделов понимал, что совершается последний натиск. Еще час, может быть, два — и вода рванется обратно, снося и свергая все на своей дороге.

Работы приходили к концу. Из котлована выгребли все, что можно. Остальное максимально закрепили. Теперь оставалось только смотреть и ждать.

Ветер опал. Злость его сникла до десяти баллов. Этого было не достаточно, чтобы сдержать пружину. Река медленно двинулась вперед.

Параделов приказал подниматься из котлована и оставить кессоны. Канал снова заполнился водой. Его очень расширили за эти шесть дней, но все-таки вода не укладывалась в нем и всползала на берега. Под плотиной копились тяжелые волны. Река заносила свинцовый кулак.

Товарищ Самарский не хотел покидать котлована, пока не закреплены последние шпалы. Остальные рабочие давно уже в лежку раскинулись на берегу, в бараках, где попало, часто в луже или на куче щебня. Другие из них засыпали в четырех шагах от своего барака, не в силах доползти до порога. Они, может быть, продержались бы в работе и еще неделю, но спокойствие свалило их.

Смена коммунистического отряда оставалась в карьере.

Отсюда, с кессона, сквозь завесу песка и влаги, они представлялись Параделову неясными и бесформенными глыбами.

12.

— Экскаватор! — это слово ошарашило Параделова, как из ведра.

Приказав прекратить работы, Параделов было и сам пошел прочь, но заметил, как к нему, спотыкаясь и размахивая длинными руками, спе-

:ит давешний студент. Студент что-то неразборчиво кричал набегу. Нако-
ец, из ветра явственно выделилось слово — «экскаватор»! Тогда Пара-
элов разом сообразил все и опрометью бросился в котлован. Студент
рокричал что-то ему вдогонку и, выбившись из сил, остановился.

В дни шторма Параделов работал с увлечением. И, как всегда,
влекшись, тут же дал промашку. Из карьера убрали все, даже не слиш-
ом нужные пустяки. А вот дорогую, мощную машину забыли. В этой
шибке Параделов виноватил одного только себя. Еще третьего дня не-
ец-машинист что-то докладывал об экскаваторе. Тогда, лишь бы короче
ончить разговор с досадным человеком, Параделов, не дослушав, сердито
тветил: «Идите и ждите распоряжений». Он хотел было возобновить
іова машиниста, но вспомянутое булыжное лицо немца снова так рас-
:рдило Параделова, что он даже споткнулся.

Запинаясь на спуске, Параделов отчетливо изображал себе, как сей-
іс он взберется на площадку, взглянет на манометр, даст сперва зад-
ий ход, а затем, не спеша, поведет экскаватор в гору. Представился ему,
ючему-то, давно забытый старичек-машинист, под начальством которого
і студентом ездил на паровозе.

Вышло все не по задуманному. Нефть не шла из форсунки. Пара-
лов не услышал даже и характерного свиста вырывающегося из
убки воздуха. Очевидно что-то было нарушено. Может быть бак
л трещину, может быть испортилось давление. Но, что бы это ни
іло, доискиваться поломки и чинить было некогда. Река уже сильно
рлила, пробираясь к перекату недостроенной плотины.

Ветер совсем ослаб и поник головой. Тучи, которым он до того не
вал сомкнуться, тотчас сгрудились. И тогда, без приготовлений, внезапно
гулко, как дробь с барабана грянул дождь. На улицах поселка и на
регу спящие с бранью просыпались в глубокой злой воде. Река вски-
ла под кнутами ливня. С Параделова схлестнуло фуражку. Стемнело,
к при спущенном занавесе. Но взамен погасшей рампы заиграли все
лушительные фейерверки тропической грозы. Большие, круглые мол-
и с треском и шипением лопались в дымящейся воде. Непробудная
инота перемежалась с такой синевой цинкографии, которая мало слепи-
— отшибала обоняние и вкус. Гром тяжело прокатывался по сознанию.
і заглушил море. В небе то грохотал кегельбан, сотрясаемый шарами,
лязгала металлическая посуда. Воздух исчез. Место его заняли чер-
ла, перемешанные с песком. Спички у Параделова в кармане промокли.

Товарищ Самарский, наконец, повел домой свой доблестный взмок-
ій отряд. Они уходили последними.

— Товарищи! — истошно закричал им Параделов не своим, полоум-
м голосом. — Товарищи, сюда, спасайте экскаватор!

Но отряд равнодушно шел мимо в нескольких шагах. От некоторых
ики Параделова были отгорожены стеной дождя и грома, другие, наста-
з мокрые воротники, торопливо проходили вперед, стараясь не слышать.

В конце концов, они тоже люди. После такой недели каждый имеет право пойти и завалиться спать.

Параделов почувствовал себя тоскливо-мокрым, худым и беспомощным. Он бросился за уходящими. Теперь ему представлялось, будто не только экскаватор, но и его самого покидают здесь в жертву неукротимой, глухой грозе. Он скользил и падал. В одной луже он оставил последки своей наигранной сдержки и корректности, в другой — булавку из галстука.

Товарища Самарского остановил какой-то незнакомый обшарпанный человек с лицом и ботинками, забрызганными грязью.

— Самарский, — сказал этот человек. (Гроза обратила крик в полголоса.) — Самарский, идемте к экскаватору. Мы должны его вытащить!

Самарский не враз признал Параделова. Но и самого его было мудрено узнать. Правда, он сохранил незыблемыми свою кепочку и серую толстовку, но в свете молний лицо его переменилось. Этот медлитель с механическим карандашиком, скучный, не улыбавшийся шуткам человек, из пяти слов три отдающий «выявлению» и «неполадкам», сейчас, не сходя с места, совершил самый настоящий, стопроцентный подвиг из тех, о которых сочиняют медовые книжечки для юношества и за которые награждают орденом.

Все девяносто коммунистов вконец измучились и одеревенели. Они уже почти не отбрасывали тени. Да и сам товарищ секретарь чувствовал, что каждый его мускул смят и растоптан. Но, превозмогая усталость, преодолевая деревянное отупение, он, крича и матерщиня, ударил в середину толпы.

— Эй ты, чорт, дурак! — вопил Самарский, обрывая людям полы и рукава. — Пошли, что ли! Ну, брось Ваньку-то валять!

Он дергал за плечи, взывал к совести и партийному долгу. На людей действовали не слова, потому что Самарский и в этот сердитый час говорил своим обычным, канцелярски-газетным слогом, почти что с «выявить» и с «неполадками». Но он знал, что люди должны пойти за ним, должны поверить ему, как они несчетное число раз верили тысячам других товарищей Самарских, тоже не знавшим другого языка и тоже убежденным, что им должны же, чорт возьми, поверить. И, в самом деле, знание Самарского каким-то непонятным для Параделова, но ясным для всех остальных путем, передалось. Люди пошли.

Девяносто человек вцепились в стальную скользкую от дождя махинищу. Железо не хотело покориться сразу: оно цеплялось колесами, давило на плечи и наседало, медлительно и стихийно. Но люди, ссаживая локти и ладони, скрипя зубами, кидались на него. Резал дождь. Под ноги стремились потоки жидкой глины. Мгновение расширилось и замерло, как остановившееся сердце. Машина дрогнула и подалась. Не сговариваясь, люди разом, в один голос крикнули невыразимым криком усилия и торжества. Оступаясь и подбадривая себя ругательствами, рабочие давнули еще. Миг переломился. Экскаватор тронулся. Сперва он шел медленно,

кело скрежеща колесами. Затем ход его убыстрился. Не разрешая себе едышки, люди гнали машину в гору.

Та самая секунда, которая решила судьбу экскаватора, бросила ›аделова на землю. Обморочная тень окутала его. Гроза и работа стали безразличны.

Наверху Параделова хватились не сразу. Только когда экскаватор : втолкнули на ровное место, и Самарский стал под бьющим дождем бирать белой расческой свой пробор, он приметил, что Параделова .ьше нет рядом с ним.

13.

Параделов проснулся. Он проспал тринадцать часов. Сияющий, омный полдень, запыхавшись от усилий, тискался в слишком узкое .о. Он заполнял всю комнату и не умещался в ней.

Гроза миновала. Еще со дна карьера испарялись остатние лужицы, дымились просыхающие берега, еще река выносила последние пухшие обломки в грозный простор жирного позолоченного моря, но : схлынули воды, и бесповоротно прошло время равноденственных ь. Крестьяне ладили арбы, блистало и жгло без помехи солнце, рабо- пили веселую водку и ели брынзу.

Параделов, не глядя, выбросил руку. На всегдашнем месте не ока- ɔсь ни папирос, ни самого стула. Параделов обернулся и увидел, что застланному солнцем полу разбросаны уродливые кротовьи кучи гряз- одежды и скомканного белья. Возле самой кровати распласталась /чая мышь. Безголовой летучей мышью была жилетка. Выпавшие ı тикали подле.

Отщелкала первая полминута, та, когда проснувшийся еще спит. Iараделову возвратились вытесненные сном события. Он снова мог ›вать их и расставлять рядами. Они парадом дефилировали перед ним. обморок обрубал строй. Дальше шрифт сплывался. Абзац нельзя было честь.

Последний раз Параделов видел себя так: вместе с Самарским и мунистическим отрядом он выволакивал экскаватор. Ботинки его ıьзили и разъезжались. Дождь облепил его...

Когда инженер упал, вода уже грохотала, врываясь в котлован. разщелкалась позабытыми досками, сворачивала тяжеленные камни ›зла вверх. В трех метрах под параделовскими каблуками проноси- › пена и бревна.

Очнувшись, Параделов неумело закарабкался по крутому, сопро- ıяющемуся склону. Ветер цапал его за шиворот и сталкивал вниз. аделов неловко убегал от клокочущей погибели и силился вспомнить /ю-то насущнейшую мысль, которая могла бы, он это знал, разом, как итое масло, обезвредить настигающие волны. Но, так и не успев вспом- ·, Параделов второй раз свалился, и снова обморок топором обрушился ıего.

Как он пролежал в беспамятстве добрых пятнадцать минут, как мчалась по его коленям крутящаяся коричневая вода, как его поднял и понес неизвестно откуда выхватившийся студент, дождавшийся, наконец, своего желанного геройства, — Параделов не помнил. Не давалась ему и та, тогда недодуманная, мысль. Она вывертывалась из-под рук и ускользала.

Параделов встал и, не одеваясь, достал из стола папиросы. По зеленому сукну плыла сложенная телеграмма. Она была углом подсунута под календарь и, взглянув на нее, на календарь, на эти межевые столбы вновь возникающего мира, Параделов поймал свою мысль: «Это смерть, но зачем я от нее убегаю» — вот что он должен был тогда подумать.

Мир существовал! Он оповещал о себе телеграммами, календарями и солнцем. Мир существовал, и календарь показывал роковое, назначенное для выстрела число. Сегодня было двадцать девятое марта!

«А все-таки я бежал»,— подумал Параделов и развернул телеграмму. Его удивила порванная бандероль. «Неужели доктор распечатал? — лениво удивился Параделов.— Кажется, он никогда не был любопытен».

«Жорж, — прочел Параделов, — получила твое письмо согласна выехать любой день попрежнему люблю телеграфируй твоя Ирина».

Параделов аккуратно сложил телеграмму и опять придавил ее календарем. Он сел на стол и почесал голое колено.

В раму окна был врезан широкий кусок моря и часть строительства. На постройке работали. Вода не повредила основных сооружений. Кессоны удержались. Плотина выстояла.

Параделов решил нынче же телеграфировать Дукату. Все-таки бедняге профессору не миновать суда! Шесть дней задержки и, как никак, много ценностей погибло. Случайность? «Но мы, инженеры,— подумал Параделов,— лишены права на случайности. Мы их хозяева!»

Однако о чем это он рассуждает? А телеграмма? А она? И что за письмо? Может быть, доктор отправил одно из его писем?

И вдруг Параделов с удивлением, почти с испугом почувствовал, что ни стреляться, ни видеть женщину ему нисколько не хочется. «Да ведь она мне чужая!» — подумал он, еще не смея даже дослушать свою мысль.

Параделов достал фотографию. Но и на карточке была только бесстыдно раздетая, худая, красивая баба, с наглым и тонким лицом.

Параделову показалось оскорбительным и то, что женщина была раздета, и пошлая кличка Жорж, и особенно то, что ее телеграмма без точек была переписана безграмотным чиновническим почерком. Эти незначащие подробности как будто разоблачали женщину.

Когда-то она бросила славного простака мужа ради Параделова, его самого она оставила для прыщавого богатого юнца, а сейчас опять бросала кого-нибудь для него, для Параделова.

И безграмотность почерка, и то, что она оставила мужа, как-то странно слившись, составили новый облик этой женщины. Перед ним

стояла умная, жадная самка, для которой мир — только благоустроенный и вульгарный публичный дом.

«Гадюка»,— подумал Параделов, даже не очень сердито.

Нужно было каким-нибудь движением, толчком доказать себе освобождающий перелом. Параделов размашисто порвал телеграмму, разорвал фотографию, вынул из ящика маленький тяжелый браунинг и швырнул его в закрытое окно.

Револьвер со звоном разбил стекло и канул в густую траву. Свежий горячий воздух ворвался в комнату. В пробоину хлынуло море и машины.

На строительстве дружно шипели паровозы. Солнце навылет пронизывало высокое здание временной электростанции. Это здание выстроил он, инженер Параделов. Он воздвиг эту мощную перемычку, он вырыл карьер и канал.

Чертили птицы, пахло солью и гнилой рыбой. Эти птичьи чертежи, этот запах иода и гниющей рыбы, вся эта вкусная, просторная жизнь принадлежала ему.

Параделов почувствовал, что он очень здоров и голоден. У него бурчало в животе.

— Доктор! — закричал Параделов, сильно колотя в стену, — старый плут, вы на сей раз ошиблись. Тащите сюда коньяк, зовите девчонок! Давайте пить, доктор, давайте жить, цветет миндаль!

Огненная лапа.

(Роман.)

(Окончание).

Хаджи-Мурат Мугуев.

15.

Я старательно выводил кривые, персидские письмена, списывая урок, заданный мне Бен-Кадыром. Причудливые фигуры ломаных линий прерывались множеством точек и были испещрены маленькими, еле заметными значками, имевшими свое особое назначение и наименование. Стройные фразы укладывались в эти причудливые письмена и плавно текли справа налево, украшая уже наполовину исписанный лист. Рядом со мной сидел Бен-Кадыр, и его внимательные глаза озабоченно следили за движениями моего пера, а губы старика удовлетворенно шептали выводимые мною слова. После нашего памятного разговора славный старик ни разу больше не напоминал мне о нем, но я видел, как в его больших и печальных глазах сидела глубокая, затаенная грусть.

— Еще немного, сын мой, и ты будешь писать лучше меня, — заглядывая через мое плечо, пошутил он.

— Ты очень добр, отец, далеко мне до твоего искусства.

Он ласково прошептал:

— Я говорю правду... если бы еще месяц или два, и ты был бы совсем арабом, как и мы... ибо сердце твое и мужество ни в чем не уступают детям пустыни... а мужественные и опытные люди нам нужны...

Он помолчал, но я чувствовал на своем лице его упорный и жадный взгляд. Пригнувшись еще ниже к бумаге, я продолжал выводить иероглифы, делая вид, будто бы не замечаю острых и взволнованных глаз старика.

— Ты много писал, глядя в книгу, сын мой, не попробуешь ли теперь написать то, что я сейчас скажу тебе, и ответить мне так, как бог положит тебе на сердце и язык.

Я поднял голову. Глаза Бен-Кадыра строго и торжественно смотрели на меня.

— «Когда стая львов не имеет предводителя, львы в бою становятся хуже баранты... но если людьми руководит идея и любовь к родине,

и ими предводительствует опытный солдат, то они непобедимее сотни львов»... Ты написал?.. — спросил он, не сводя с меня упорного и вдохновенного взгляда: — «Лучше погибнуть с ножом за свободу, чем расстреливать из пушек свободный народ»... Ты и это написал, сын мой?.. И теперь последнее: «Россия, далекая страна, дала нам Ленина, для того чтобы весь мир продолжал его дела... Истинный русский не может быть трусом и врагом угнетенного народа, и, если его зовут на помощь, он должен во имя Ленина и своей страны притти к тем, кого угнетает общий враг»... Написал?.. Вот и все... а теперь, сын мой, я ухожу, урок, заданный тебе, очень труден, и ты хорошо и крепко подумай над ним, потому что это наш последний урок... Дальше наши дороги могут разойтись. Прощай, мой сын,— и, наклонив голову, Бен-Кадыр пошел к дверям. Остановившись на секунду у двери, он коротко сказал:

— К вечеру дай ответ... М ы будем ждать...

М ы... кто мы?... Мадинэ и он, или еще кто-то, кто чувствовался за этим подчеркнутым «мы»... Голова моя шла кругом... В течение последних трех дней это было второе предложение об измене. Право, я начинал чувствовать себя героем из какого-либо модного романа Дюма-отца.

Вильбуа мрачен... Он дважды исчезает на монитор и возвращается оттуда хмурым и возбужденным. Когда я задал ему вопрос о причине такой повышенной нервности, он досадливо мотнул головой, долго и возбужденно грыз ногти и, наконец, нехотя пробурчал:

— Лейтенант совсем плох. Кажется, начинается гангрена, и, если он не будет спешно эвакуирован в Багдад, его особе угрожает смерть от заражения...

— А подобный исход очень волнует вас? — поинтересовался я.

— Не исход, а последствия, которые логически могут вытечь из него, — снова буркнул Вильбуа, и его взгляд тяжело остановился на мне.

— Последствия?.. какие?.. Ваш отъезд? Но он и без того намечен был в ближайшем будущем, да я и не думаю, чтобы Сади-Кянт и его обитатели могли надолго приковать внимание и симпатии столь высоких гостей.

— Бросьте шутить... Положение совсем не отвечает вашему настроению... Мне кажется, что момент, о котором я так недавно предупреждал вас, уже наступил, и боюсь, что завтра будет уж очень поздно...

— То есть... — поднимая голову, переспросил я.

— Вам еще не понятно?

— Н е т.

Вильбуа слегка помялся и, слабо пожимая плечами, сказал:

— Мне кажется, что в штабе что-то предпринимается против вас... что именно — я не знаю... но настроение создано определенно против вас. Впрочем, может быть, мне это только показалось, но, если у вас есть что-либо, компрометирующее вас, уничтожьте теперь же, а пуще всего бойтесь обнаружить нашу связь, ибо помните, что в случае вашего провала

консул союзной Франции должен быть чище и целомудренее жены цезаря...

— Не бойтесь, — рассмеялся я, — ведь связи-то между нами еще нет никакой. Вы верно забыли, дорогой друг, что я пока ничем не ответил на ваше милое и заманчивое предложение.

Почувствовав в моих словах иронию, Вильбуа смущенно заморгал и, отворачиваясь к окну, пробормотал:

— Ну да, но ведь я говорю это, так сказать, на всякий случай.

Я продолжал выписывать заданный урок, старательно украшая листы витиеватыми значками, и хотя рука попрежнему бережно и аккуратно выводила кривые, персидские письмена, но мозг мой усиленно работал над новостью, только что полученной от Вильбуа. Я сам еще вчера заметил некоторое, весьма странное отношение ко мне со стороны всегда учтивого и радушного майора. Когда вечером, как и всегда за последние дни, я пришел к нему с обычным рапортом, он принял меня не в своей деловой комнате, а в сенях и, не ответив на мое приветствие, сухо сказал:

— Доклада сегодня не будет... Я занят... — и, холодно обведя меня глазами, повернулся и исчез за дверью.

За время моих странствований и подневольной, бродяжьей жизни я привык ко всяким манерам и способам обращений, и поэтому этот странный прием не произвел на меня особенного впечатления. Полковник был не в духе, он, вероятно, получил неприятные вести из Багдада, а ужасная катастрофа с лейтенантом окончательно испортила его и без того подавленное настроение; объяснив этим поступок Коутса, я, нимало не смущаясь, повернул назад и прошел на монитор. Только что кончилась вечерняя заря, матросы разбредались по судну, — часовые мерно шагали по палубе, маяча черными тенями на полуосвещенном судне. Луна всходила над пустыней, и ее серебряные блики скользили по вздернутым стволам кормовых пушек монитора. Я поднялся было по трапу и хотел уже спуститься вниз по лестнице, проходя мимо орудий и установленных в бортовые гнезда пулеметов, как вдруг матрос-ирландец, стоявший у орудий часовым, брякнул ружьем и, взбросив его на перевес, неожиданно преградил мне дорогу.

— Вы что, с ума сошли?.. Я комендант местного укрепленного района... — но несговорчивый ирландец продолжал вертеть штыком у моей груди, упорно не пропуская вперед. На поднятый нами шум подошел разводящий, очень вежливо, но так же твердо, объяснивший мне, что с сегодняшнего дня, по приказанию полковника, вход на монитор всем посторонним воспрещен ввиду объявленного повсеместно военного положения. То, что против меня что-то затевалось, было очевидно, тем более что, когда я, не споря с караульным, повернулся, чтобы сойти обратно по трапу на пристань, я увидел в дверях капитанской каюты наглую рожу Слепцова. Негодяй, засунув обе руки в карманы и слегка покачиваясь и переступая с ноги на ногу, вызывающе и насмешливо сказал по-русски:

— Многоуважаемый друг! Я прямо сконфужен поведением этих длинноногих идиотов... я ужасно, ужасно сочувствую вам... но что же

поделать! . Кстати, почему вы не зайдете навестить бедного лейтенанта? Решительно все уже перебывали.

Голос его был вкрадчив и утонченно вежлив, но на его лисьей мордочке и подлых, холуйских глазах было написано столько торжествующего злорадства, что я еле сдержался от того, чтобы не залепить по ней кулаком.

И вот теперь, когда мое перо равнодушно скользило по бумаге, все мои мысли были заняты вопросом, что̀ случилось. В чем обвиняют меня, и как скоро это обвинение будет предъявлено мне?.. Лейтенант полумертв, его козни против меня пресеклись в самом начале, — значит, то, что послужило к перемене отношений ко мне, ни в какой мере не относится к Гильдебрандту. Слепцов, — но это ничтожная собака, шпик, продажная тварь, слову которой вряд ли придаст майор большое значение, да, наконец, что же мог выдвинуть против меня этот негодяй?

Следующим шел Вильбуа. Если бы консул был провокатором, — он мог бы вовлечь меня в свою игру и затем выдать с головой. Но, во-первых, он консул дружественной Франции, которой нужна была живительная и драгоценная нефть, за которую Вильбуа отдал бы не только меня, но и всю эту экспедицию вместе с потрохами; во-вторых, положение Вильбуа было настолько официально и велико, что он никак и никоим образом не мог и не должен был быть замешан в подобном деле, которое грозило скандальными последствиями и для него, и для двух «дружественных», но одинаково жаждущих нефти стран, и, наконец, в-третьих, у него вообще ничего не было такого, что могло бы хоть на иоту скомпрометировать меня. Итак, отпадало и это предположение, — оставалось только одно, последнее — и это последнее было крепче и основательнее других — княгиня.

Я всеми фибрами моего существа чувствовал, что и здесь дело не обошлось без этой странной и удивительной женщины. Интуиция безошибочно говорила мне, что женщина, которую всего несколько дней назад я сжимал в своих объятиях, — предала меня так же страстно и безотчетно, как и неделю назад она бурно и бестрепетно выступила перед обществом и майором, снимая с меня обвинение Гильдебрандта. Что̀ руководило ею теперь?.. Ревность, тоска по утерянной надо мною власти, боль за лейтенанта?.. или, быть может, все вместе взятое?.. Не знаю... Но несомненно, что удар мне нанесен не без ее участия.

Когда я дописал последнюю строку, Вильбуа уже не было.

Пользуясь моим сосредоточенным состоянием, консул ускользнул из комнаты, а может быть он просто пошел на монитор, для того, чтобы собрать сведения о здоровьи лейтенанта. День был распределен мною точно, по часам. Через час после завтрака я снова пойду к полковнику и попытаюсь выяснить у него причину внезапного изменения отношения ко мне. Затем до обеда чистка и сборка пулеметов, после обеда — двухчасовой сон и в шесть — пешее учение гарнизона, после чего я направляюсь к Бен-Кадыру, который в последний раз ожидает меня,

Что̀ я скажу ему? Его три вопроса, на которые вечером я должен был дать окончательный ответ, лежали передо мной, чернея кривыми и умными значками, выразительно поглядывая на меня с середины белого, незаполненного листа.

Что̀ ответить ему?.. Мне так надоела эта проклятая жизнь и связанные с нею неприятности, что перспектива бегства от людей, от цивилизации и ее подлого общества в пустыню казалась мне заманчивей мечты, — но проклятая привычка, усвоенная еще с детских лет, повиноваться букве закона рождала мысль: «а служба — долг?..».

Я отложил перо и глубоко задумался над словом «долг». Долг — это большое, огромное и святое слово, это обязательство, стоящее выше жизни и равнозначащее слову «честь», — но разве это был мой долг сидеть здесь в глуши, в песках Месопотамии, и подобно церберу оберегать захватные тенденции британского льва? Неужели долг в том, чтобы я, русский по рождению и честный по убеждениям человек, служил пушечным мясом англичанам в их глухих и заброшенных колониях и, подобно темному, некультурному афганцу, за фунты и гинеи грабил и угнетал высокосимпатичный, честный и свободолюбивый народ?.. Разве в этом долг? Долг!.. Ха-ха-ха!.. Как нельзя лучше охарактеризовал это чувство мсье Вильбуа, правда, вовсе и не подозревая об этом, когда в пылу увлечения нефтяными перспективами он горячо и убежденно предлагал мне перейти на сторону французов, обещая за это большую сумму денег и свое подданство. Ему и в голову не пришло, что подобное предложение по существу оскорбительно и недопустимо, ибо он был прав, когда видел во мне кондотьера, живую силу, которую можно было покупать и перекупать лишь в зависимости от бо̀льшей суммы.

И внезапно передо мной, впервые за эти пять лет, остро и ясно, родилась следующая мысль: «Как низко я пал... как я утерял человеческое достоинство и как тяжело и трудно мне вновь вернуть его...» Впервые я устыдился себя, и нечеловеческая тоска о прошлом, о даром прожитых годах, о убитой мною золотой юности и подло загубленных надеждах охватила меня...

Кровь прилила к голове, и на секунду я почувствовал себя нехорошо... Комната ходуном завертелась передо мной, и огненные круги побежали по стене...

— Борыс Петровыч... голубь родной... Выпийте... вот водица... — услышал я возле себя взволнованный голос Дерибабы, и я почувствовал, как казак старался влить мне в рот воды.

— Ох, боже ж мий, ну и злякался я, — уже обрадованно говорил Дерибаба, глядя, как я жадно отпил полстакана холодной воды. — Слышу, кричите будто што-то.. Я слухаю, да так и не разберу, будто и по-русски, а што выходит — и не пойму. Потим гляжу, зубами этак — рррр... ровно волк, заскрипели... я сюды бегом... а вы побелили, як та бумага, я тут так злякался, што и не дай боже,

Я, успокоив славного казака и посидев без движения еще минутку, решительно взял перо и, переведя на русский язык вопросы Бен-Кадыра, по-русски же написал:

«Отец, солдат не имеет ничего кроме жизни, но это немногое он отдает тебе и твоим друзьям». — Я еще раз перечитал написанное и стал переводить его на персидский язык. Рука моя не дрогнула, когда я закончил последнее слово, ибо я, наконец, понял, что нашел себя. Солнечные лучи ворвались в раскрытое окно, и огненные зайчики весело забегали по еще невысохшим строкам. В моей груди медленно и неотвратимо росла буйная радость, охватывая меня с ног до головы. Я подошел к открытому окну и, закинув руки за голову, широко и сильно вдохнул в себя пряный аромат радостного солнечного дня, впитывая в себя его здоровую радость и распыленную на мириады теплоту. Я вспомнил «Конька Горбунка» и заключительное место, когда Иванушка вылезает из котлов Царь-Девицы молодым, радостным и красивым, с обновленной душой и освобожденным от всяких скверн и гадостей...

Нет, ни минуты я больше не хотел медлить. Я знал, с каким нетерпением ожидает ответа Бен-Кадыр, и я не мог задерживать хоть на час то, что подсказала, наконец-то, пробудившаяся совесть и мой настоящий долг.

— Максимыч!

Дерибаба влетел к комнату.

— Вот, друг мой, возьми вот это письмо и сейчас же отнеси его.

Казак хитро ухмыльнулся.

— Я знаю кому... нашей барыне...

Я сдвинул брови и поморщился. Всякое напоминание о княгине и окружавшем ее обществе было противно и оскорбительно в этот высокий и исключительный для меня момент.

— Совсем нет. Не ей, а моему учителю, Бен-Кадыру, передай ему лично письмо и сейчас же возвращайся сюда.

— Слушаюсь.

Дерибаба осторожно взял конверт, сложил его пополам и, заложив за отворот рукава, вышел.

Итак... мосты сожжены... Отступления нет... Позади ничего, одни безрадостные и тяжелые воспоминания неудачного кондотьера, впереди же — светлая цель и осмысленная борьба.

Мысли роились и пылали в моей голове. Одна за одной рождались они, увлекая меня своею фантастической величиной и дерзостью. Если бы восстание было действительно поддержано турками и своевременно подкреплено спустившимися с гор лурскими партизанами, — какую кровавую баню можно было бы задать моим вчерашним господам. Огненным смерчем можно было пронестись по этим необъятным степям и равнинам, поднимая кочевые племена бедуинов, зажигая огнем восстаний взбудораженные города и кровью и железом изгоняя из Ирака англичан. Конечно, я твердо знал, что восстание в конце концов будет подавлено и что при двух-трех неудачах горные племена возвратятся обратно в свои не-

приступные ущелья, но, если мы сумеем захватить врасплох англичан, кто знает, будет ли им под силу вести с нами длительную партизанскую войну, и не согласятся ли они, подчиняясь необходимости, обратиться с миром к Национальному Комитету Ирака. Во всяком случае еще сегодня вечером я буду у Бен-Кадыра и разузнаю у него все, что только будет интересовать меня. Я чувствовал, что подчеркнутое слово «мы» означало нечто бо̀льшее, чем его семью. Бог знает, что и кто ждали меня вечером у него, но, раз им был нужен мой опыт и мое искусство боевого офицера, я должен буду целиком отдать его им.

Легкий шум за моей спиной заставил меня повернуться. За мной, нагло ухмыляясь, стоял Слепцов и четверо вооруженных матросов. Черные дула «кольта» и «ли-метфордовских» винтовок ласково смотрели на меня, а вкрадчивый и хихикающий голос Слепцова пояснил мне цель этого неожиданного визита.

— Не ожидали... тем лучше... хе-хе-хе-кс... тем лучше. Будем надеяться, что это значительно облегчит нам работу, — и, меняя свой подлый, издевательский тон, он вдруг прикрикнул: — Ни с места... не двигайтесь... чорт вас побери... а то сейчас же пристрелю, как собаку. — Он грозно выкатил белки глаз и визгливо продолжал ругаться: — грязная гадина... большевистская тварь... ну, на этот раз тебе уже не отвертеться от петли,— и, размахивая «кольтом», доблестный контрразведчик бросился ко мне и в одну секунду вывернул все мои карманы, шаря своими подлыми руками по мне.

О, с каким наслаждением я раздавил бы этого гнусного человека, если бы не четыре винтовки, направленные в мою грудь, и не свирепые взгляды, которые бросали на меня матросы.

— Прежде чем ругаться, вы бы, господин Слепцов, объяснили мне, что̀ все это значит, и для чего вызваны сюда эти матросы.

Слепцова всего передернуло. Слюни целым каскадом брызнули из его судорожно заходившего рта.

— Без комедий, мой милейший, без комедий. Вы уже раз обманули этими драматическими фразами майора, второй раз это вам не удастся. Вы лучше меня знаете, в чем дело.

— Не имею понятия, — сухо и презрительно вставил я.

— Знаешь, проклятая сволочь! — задыхаясь от бешенства, прошипел Слепцов и, выдергивая из кармана бумагу, скороговоркой прокричал: — Вот радиограмма из Багдада, по которой майору предписано арестовать вас, как шпиона и агента большевиков.

— Глупости, — прервал я излияния Слепцова. — Ваши подтасованные сплетни не смогут обвинить меня. Боюсь, что за провокацию ответить придется вам.

— Довольно, — внезапно сдерживаясь, сказал он и обратился к матросам, — арестуйте его.

Матросы окружили меня, а Слепцов в одно мгновение перерыл и перекопал все мои вещи, выбрасывая из чемоданов решительно все.

— А это что... тоже сплетни? — и он злорадно хихикнул, победоносно потрясая пуком неведомых мне бумаг и еще чем-то, чего я не смог рассмотреть.

— Мерзавец! — крикнул я и, оттолкнув окружавших меня караульных, бросился на опешившего Слепцова, но в ту же секунду я почувствовал в черепе тяжелую боль и на секунду потерял сознание. Один из конвойных ударил меня прикладом по голове. Когда я очнулся, вся комната была перевернута вверх дном, мое белье валялось раскиданным по всему полу, мои записки, учебники и тетради лежали развернутыми на столе, а передо мной стоял торжествующий Слепцов и потрясал фотографическими снимками нефтяных источников и колодцев, снятыми Вильбуа.

— А это что... тоже сплетни? А это... собственноручно написанное признание — тоже моя провокация? — И он ткнул пальцем в черновой экземпляр вопросов Бен-Кадыра и мой ответ, лежавшие на столе.

— Ведите его... Сержант, или вернее — товарищ комиссар, вы арестованы, — и, почтительно изогнувшись, он пропустил меня вперед. Голова моя ныла от тяжелого удара, в глазах еще дрожали зеленые круги. Итти было трудно, особенно же без шлема, забытого впопыхах на окне. Солнечные иглы мучительно кололи мою непокрытую голову, хотелось пить, а засохшие губы готовы были треснуть от удушливой жары. «Куда они поведут меня, — подумал я, — на монитор, или же заключат под караул здесь же в селе?» На мой вопрос матросы хмуро пожали плечами и поспешнее погнали меня. Слепцов отстал от нас и с захваченными при аресте бумагами направился к полковнику.

Улицы казались вымершими. По пути не было почти никого, и только две-три робкие фигуры удивленных арабов жались к стенам при виде нашей печальной процессии. Наконец, меня подвели к воротам дома, где помещалась охрана штаба, и через секунду мы вошли в грязный, четырехугольный двор, где меня сейчас же принял начальник охраны и после недолгих разговоров ввел в угловую, низкую башню, которая и должна была служить моей временной тюрьмой... За мной закрылась дверь, и через минуту брякнул железный засов. Я был арестован и заточен в круглую старинную башню по всем правилам исторических романов Дюма, таким образом сходство мое с его героями еще более увеличивалось.

Прошло полчаса. Я стал внимательно оглядывать мое новое помещение, так любезно предоставленное мне усилиями Слепцова и К°... Особенно пожаловаться было нельзя, так как самая комната была хотя и темна и невелика, но все же достаточно суха и прилична. Высота моей тюрьмы была не больше двух саженей от земли, и две стены ее выходили прямо на улицу. Сквозь треугольное оконце светились лучи и, путаясь в бахроме паутины, тускло освещали мое новое обиталище. За дверями было тихо, и только изредка до меня доносились неясные заглушенные голоса солдат. Посреди каморки стоял круглый стол, и лежали две, совсем новых, вероятно, специально для меня принесенных, цыновки. Вот и все, что украшало тюрьму.

В чем дело? Что побудило их арестовать меня, ведь не могли же они святым духом узнать мои помыслы и мое решение бежать в пустыню к арабам? Нет, причина крылась в чем-то ином, но несомненно веском и тяжелом, иначе меня не арестовали бы теперь. Но что?.. Несмотря на то, что я не знал за собою никакой вины, я понимал, что дела мои не завидны. Обстоятельства складывались так, что решительно все становилось против меня... Приказ о моем аресте, данный из Багдада, говорил о том, что мною весьма заинтересовалась политическая полиция, несомненно подготовленная донесениями и Гильдебрандта и Слепцова, — обыск, так подло и провокаторски произведенный у меня, и этот пук совершенно мне неведомых, но якобы найденных у меня, брошюр — ляжет тяжелым обвинением против меня, — затем мои записи и вопросы Бен-Кадыра. При нужном и тенденциозном освещении они будут уликами против меня, а показания Слепцова, лейтенанта, матросов, которые производили арест, моя попытка ударить провокатора и т. д., и т. д. — все эти в обычное время незначительные и малозаметные детали в нужную минуту превратятся в тяжелые улики и повлекут за собою мое осуждение. Да! Вильбуа был совершенно прав... Английский закон начинал действовать, и я был первым, которому приходилось испытать на своей спине чистоту и святость его.

Дадут ли мне они поесть, и будет ли сегодня допрос? О том, что станет со мной, я беспокоился не очень, ибо пришел к выводу, что так или иначе, но я уже обречен на осуждение, и все равно все мои оправдания не приведут ни к чему, ибо мне было ясно, что всеми моими делами властно и настойчиво руководит из Багдада всесильная политическая полиция при ставке британского резидента... Но почему?.. неужели я, простой и скромный сержант, действительно мог представлять собою какую-то опасную, политическую фигуру? Нет... этого не могло быть... Оставалась только месть... гнусная и низкая месть со стороны влиятельного лейтенанта за его неудачную любовь.

За окном окончательно стемнело... В моей каморке стало темно, как под землей. Я ощупью добрался до цыновок и прилег на них.

Уже засыпая, я обрадованно вспомнил, что совершенно случайно успел своевременно послать Бен-Кадыру ответ на его вопросы.

Что бы со мною ни случилось, но и он и Мадинэ должны были знать, что русс, которого они так сердечно и братски полюбили, был достоин этой любви и доверья.

16.

Веселые лучи прыгали по моему лицу и не давали спать. Половина стены была освещена ярким утренним солнцем. Сквозь треугольник окна я видел кусочек голубого неба и ясные, чуть белесоватые облака. Чириканье воробьев и рев верблюда доносились с улицы. До оконца было сажени полторы, я подкатил свой стул и, вскочив на него, после ряда бесплодных попыток взобрался, наконец, к самой амбразуре и выглянул вниз.

Передо мной лежал краешек улицы и желтели высокие глиняные стены соседних дворов. Немного... хотя в моем положении жаловаться не приходилось. Несколько секунд я напряженно глядел на улицу, — но уголок, который открывался мне, был пуст. Я чувствовал, как руки мои слабеют и затекают от неудобного положения. Я спрыгнул и, разминая затекшие члены, сделал несколько гимнастических движений, приседая и выбрасывая вверх руки. Так прошло минут пять. За дверью послышались шаги, раздались голоса, и щелкнул замок.

— Выходите.

Передо мною стояли два солдата с ружьями на ремне.

— Куда?

— В штаб.

Вероятно, на допрос. Я встал, один из конвойных пропустил меня вперед, второй замкнул шествие, и мы двинулись по узкому коридору вниз, где уже собралась большая толпа любопытных, среди которых я увидел нескольких арабов, знакомых мне по Сади-Кянту.

На улице, у самых ворот, я увидел растерянное полное неподдельного горя лицо Дерибабы. Милый казак смотрел на меня отчаянным взглядом, — и в его глазах светилась настоящая скорбь.

— Не робей, Максимыч... с нами бог, — пошутил я, проходя мимо него.

— Дай бог... дай бог, — сокрушенно повторил он.

Один из конвойных прикрикнул на нас:

— Не разговаривать.

У поворота улицы я оглянулся, и сердце мое екнуло от бурной радости. Я увидел, как за нами, в сопровождавшей нас толпе любопытных, следовал Бен-Кадыр. Поймав мой взгляд, старик радостно и тепло улыбнулся и ласково кивнул мне головой. В его глазах стояла такая жгучая радость и столько восторга, что я даже почувствовал себя несколько огорченным. Неужели мои бедствия не должны были опечалить его?..

Сбоку, не отставая от нас ни на шаг, понуро плелся расстроенный Дерибаба. Только в эту минуту я понял, как хорошо иметь беззаветного друга, ни при каком бедствии не покидающего тебя. Бедный казак кивал мне головой и что-то пытался сказать, но присутствие конвойных удерживало его. Уже у самого штаба он вырвался несколько вперед и, когда я входил в двери, он ободряюще что-то крикнул, но захлопнувшиеся двери не дали мне возможности расслышать его слова.

Меня провели по так хорошо знакомым комнатам, где столько раз бывал я у майора и где совсем недавно разыгралась знаменательная сцена с княгиней. У дверей стоял часовой. Мои караульные остановились, и через секунду я был введен в кабинет майора.

Коутс сидел за столом, и его глаза были устремлены прямо на меня. Я вытянулся и громко произнес:

— Здравия желаю, господин майор!

Не меняя выражения лица и не сводя с меня пристального взгляда, Коутс чуть заметно кивнул головой и раздельным голосом произнес:

— Сейчас я опрошу вас, предлагаю отвечать только на вопросы и ни на иоту не уклоняться от сути допроса. Отвечайте правду, только правду, через минуту вы сами убедитесь в том, что ложь не спасет вас.

— Господин майор, я не знаю, в чем обвиняют меня, но, так как я не боюсь никаких обвинений, я буду говорить только то, что буду знать.

— Очень хорошо. Скажите мне, давно ли вы состоите на службе у большевиков и в чем заключаются ваши обязанности?

— Я вовсе не служу у них. Вам хорошо известно, что я служу сержантом третьего пограничного полка.

— Так-с... Тогда чем же объясняются вот эти бумаги, найденные у вас при обыске? — И он, выдвинув ящик стола, вынул и положил предо мною кипу брошюр, аккуратно спрессованных и перевязанных бечевкой.

— Что это? — удивился я.

— Коммунистическая агитационная литература, напечатанная на русском и английском языках...

— Не знаю... это не мое... у меня ее не было. Я считаю, что мне подбросил ее производивший обыск Слепцов...

— Дешевое объяснение... итак, это не ваше?.. А вот это?.. — При этих словах майор протянул мне малюсенький шелковый лоскуток, на котором мелким, но четким и ясным шрифтом было по-русски и по-английски напечатано: «Предъявитель сего агент и член Коминтерна № 2005, по кличке «сержант», уполномачивается секцией восточной пропаганды на ведение агитпропагандистской работы». Ниже темнела неразборчивая подпись и неясная печать.

— Вижу впервые... и считаю это делом рук негодяя Слепцова.

— Без оскорблений, сержант. Вы арестованный, прошу этого не забывать. Объясните мне в таком случае, что̀ значат вот эти снимки, — и майор разложил передо мной ряд фотографий, которые несколько дней назад сделал Вильбуа, снимая так заинтересовавшие его нефтяные поля.

— Эти снимки не мои, — сказал я.

— Тоже не ваши?.. Очень странно... в таком случае, чьи же они?.. Все это было найдено при обыске в ваших вещах,— быть может, вы объясните, зачем и для чего находились у вас достаточно важные снимки месторождения нефтяных богатств, которыми весьма интересуются большевики?

Пока он говорил, я думал о том, что раз Вильбуа, которому, конечно, полностью известны результаты обыска Слепцова, не пожелал сказать о том, что эти снимки делал он, то, значит, что-то мешало ему, и теперь, если бы даже я выдал его, все равно никто бы не поверил мне, и это объяснение легло бы на меня, как новое доказательство моей вины и лжи. В то же самое время я потерял бы единственного союзника среди этих господ. Я решил не выдавать француза.

— Хорошо не помню, майор; снимки, может быть, и мои, во всяком случае никакой важной роли они не имеют и придавать им особенное значение не следует.

Мой независимый тон вывел из себя майора.

— Очень жаль, что вы не можете опровергнуть улики, хотя и призываете на помощь беспримерную наглость. Но это не поможет... Клянусь вам в этом... Итак, фотографии, может быть, и принадлежат вам... а что означают вот эти записи и довольно символические дифирамбы Ленину, написанные вашей рукой на русском языке? — Он остановился, строго разглядывая меня, и в его серых британских глазах загорелся презрительный огонь.

Злость начала охватывать меня. По тону и по всему характеру допроса было ясно, что вопрос со мной закончен давно, и что сейчас ведется обыкновеннейшая, казенная процедура, и что Коутс, основательно настроенный и крепко нашпигованный против меня, не верит ни одному моему слову. Я холодно взглянул на него и, равнодушно пожав плечами, сказал:

— Вы убеждены в том, что я большевик... очень хорошо... Ведь никакие мои уверения и доказательства не убедят вас в противном... Незачем дальше терять времени, г. майор, я больше не скажу ни одного слова, — поступайте так, как велит вам ваш закон.

Майор вскочил, лицо его побагровело, и глаза налились бешенством... Он задыхался...

— Нет...вы будете отвечать, чорт возьми... Я заставлю вас говорить... Я не позволю вам второй раз сыграть на вашем мнимом благородстве. О, нет... на этот раз ваша комедия, сударь, не пройдет...

Я взглянул на него.

— Мне незачем разыгрывать комедий... Мне надоел этот допрос, вот и все...

— Но я еще не кончил его. Откуда вы получили мандат и литературу? Я вас спрашиваю... молчите... очень хорошо... Сейчас вам ответят на мой вопрос.

Он повернулся к двери и приоткрыл ее. Из соседней комнаты вышел удивительно приглаженный и внешне крайне спокойный Слепцов и, не глядя на меня, стал около майора. Коутс повторил вопрос. Я продолжал молчать.

Слепцов, наклоняя голову и кивая головою в такт своим словам, почтительным и вкрадчивым голосом доложил:

— Все коммунистические материалы арестованным получены из Керманшаха, как самого близкого к Сади-Кянту пункта, в котором расположено так называемое советское консульство. Данные опроса жителей и солдат говорят о том, что сержант неоднократно уезжал в длительные поездки, не сопровождаемый никем.

— Так, — продолжал Коутс, — а теперь, помимо этих преступлений, я назову вам еще одно, которое вы подло и бесчеловечно допустили на-днях и только за него одно вы достойны справедливого наказания. Я

говорю о том моменте, когда, побужденный низменными чувствами и ненавистью ко всему британскому, вы подло отвели дуло вашего ружья в ту самую минуту, когда под лапами разъяренного тигра лежал ваш начальник и знакомый — лейтенант Гильдебрандт. Несмотря на мольбы бывших с вами дам, вы допустили второй удар лапы по человеку и только тогда спустили курок... Вот заявление княгини Строгановой, в котором она рассказывает все. Хотите прочесть его?

— Не надо... Заявление княгини описывает факт, и я горжусь моим поступком... хотя меня несколько печалит то, что господин лейтенант остался жив...

Коутс, не глядя на меня, прошел к двери и, открыв ее, крикнул ожидавшим нас караульным:

— Увести его.

Через минуту я снова шагал по пыльным улицам Сади-Кянта в свое новое обиталище.

Приблизительно через час после нашей симпатичной беседы с полковником мне принесли «передачу» и мою шинель с небольшой подушкой, принесенную, очевидно, Дерибабой. Все это было очень кстати, и, будь у меня еще свеча, я чувствовал бы себя почти великолепно... Охо... хо... несмотря на мое униженное положение, пищу мне принесли, как видно, с барского стола и вдобавок еще в судке, снабженном вилкой и тупым ножом. Интересно, кому я обязан этой необычной милостью... Вильбуа или княгине?.. Не утруждая себя напрасными размышлениями, я принялся за холодную курицу, с аппетитом изголодавшегося человека уничтожая ее. Запив водою свой обед, я решил внимательно и как следует обдумать мое положение, взвесить все совершившиеся факты и обстоятельства и попытаться вырваться из плена, который, по всей вероятности, в недалеком будущем кончится для меня печально. Примостив под голову подушку и укрывшись шинелью, я лег на цыновки и, закрыв глаза, в продолжение двух часов напряженно думал о своей судьбе, ища выхода из создавшегося тяжелого положения. Умирать так глупо и бесславно только потому, что я случайно стал на дороге лейтенанта, я не хотел, и все мое существо кондотьера, любившего жизнь и сотни раз рисковавшего ею, бурно возмущалось и протестовало против такого нелепого и недостойного конца. Вошедший солдат убрал посуду и, равнодушно оглядев меня, скрылся за дверью. Я продолжал неподвижно лежать, не шевелясь и не открывая глаз. Нет...я не должен умереть...теперь, когда я как будто бы обрел смысл жизни и покончил с моей пустой и ненужной судьбой... умирать теперь я не мог... Я вскочил и, напряженно думая, быстро и энергично зашагал по каморке. Мой мозг горел напряженной думой, все клеточки моего тела были заряжены огромной жаждой жизни, и сердце нервно и тревожно выстукивало: «жить»... «жить»... Но что же делать?.. откуда искать спасения?.. Вильбуа?.. нет... он не поможет, не потому, что он не хочет, но потому, что «консул третьей державы должен быть в стороне от всяких

подозрительных дел». Княгиня?.. да... она может помочь... несмотря на то, что я видел ее показание на меня, я твердо знал, что ею руководило что-то большое и глубокое... гораздо сильнейшее, нежели простая месть. Я понимал, что от этой взбалмошной и деспотической натуры одинаково неожиданно можно было получить и любовь, и смерть... Но чем могла сейчас помочь она?.. Теперь ничем, ибо было уже поздно, так как английский закон вступил в силу и стал действовать, порукою этому был приказ о моем аресте и часовые у дверей.

Оставался Бен-Кадыр. Я вспомнил его печальные и проникновенные слова, которые, уходя, он бросил мне:

— Если ты будешь в беде, — мы поможем тебе.

Нет... нет, я должен надеяться только на себя, и в этом тяжелом положении спасти меня могут только мои собственные руки и моя голова.

Я подошел к окну. Сквозь его треугольник смотрело солнце, и мне сильно захотелось поглядеть на село. Одиночество и ужасное чувство заключенного уже пробуждались во мне. Я приставил стол к стене и, взгромоздившись на него, подтянулся на мускулах и заглянул в окно. Напротив, у стены, там, где виднелся маленький кусочек улицы, стоял побелевший от отчаяния Дерибаба и напряженным взором следил за моим окном. Я не выдержал и слабо вскрикнул, делая головой ему знаки. На лице казака засияла широкая счастливая улыбка, и он закивал мне, делая беззвучные движения губами. Я почувствовал, что слабею, и спрыгнул на пол, для того чтобы через минуту с новой силой и удвоенной энергией полезть к спасительному окну. Дерибаба снова просиял и, напряженно вытянув вперед губы, что-то снова медленно произнес. Не понимая его, я отрицательно покачал головой. Казак сокрушенно покрутил головой, с минуту помолчал, подумал и затем, широко улыбнувшись, внезапно повернулся и быстро скрылся из моих глаз. Это не озадачило меня. По всей вероятности, на улице показался кто-либо из солдат или матросов, и мой славный Дерибаба предусмотрительно исчез. Я опять соскочил и стал нервно прохаживаться по комнате. Неожиданное появление Дерибабы и его ничем не сокрушимая любовь ко мне удесятерили мои силы и дали мне лишний шанс на победу. Чорт возьми... Мы еще поборемся с тобой, английский закон, и поглядим, чья возьмет, господин лейтенант! Меня снова безудержно потянуло к окну. Я вскарабкался на свою позицию, но, увы, милого Дерибабы не было. Я поминутно всползал наверх и снова соскакивал вниз. Меня очень мучила мысль, что хотел сказать мне казак, еще утром так упорно пытавшийся сделать это.

Прошло полчаса. Я уже стал ослабевать окончательно, но жажда увидеть Дерибабу и услышать от него эти таинственные и, быть может, очень важные для меня слова заставила снова полезть на окно и с надеждой вглядываться в уголок улицы. Ура... Напротив снова стоял Дерибаба, и, как только наши глаза сошлись, он что-то напряженно прошептал, и затем, повернувшись ко мне спиной, стал писать углем на желтой, глиняной стене кривые, корявые буквы. Написав одну букву, он сейчас же

вглядывался в меня и, видя, что я прочел и киваю ему головой, он стирал ее и на ее место снова выводил такие же смешные и колеблющиеся значки, несшие мне освобождение и жизнь.

На стене одна за другой вырастали и исчезали буквы, сложенные вместе в порядке составлявшие следующее:

«Сиводни мы с Банкадырем ночью поставим лесницу к акну, а потім втикаемо у степ».

Я радостно закивал головой. Дерибаба, убедившись в том, что я понял его, заулыбался и, соскоблив со стены угольные пятна, поспешно ушел.

Итак, все просто и ясно складывается само собой. Друзья, в помощь которых я не верил и чью любовь я не дооценил, не оставили меня в беде и, рискуя головой, решили спасти меня.

План их прост и поэтому безошибочен. Потерпеть неудачу они не могли. Ночи здесь, если нет луны, темны и непроглядны. Караул, стерегущий меня, находится внутри двора и в самой башне, улица не охраняется никем. В полночь село замирает окончательно, и ни одной живой души на улицах нет, поэтому достаточно только приставить к башне с улицы высокую лестницу и, взобравшись по ней, расширить лопатой или ломом мое оконце, и бегство уже совершилось. Утром, когда обнаружится побег, мы будем уже далеко. Я легко и радостно вздохнул. Ну-с... мой дорогой лейтенант... ваша затея не удастся... Мы еще с вами повоюем...

17.

Часы текли медленно и монотонно. Ночь приближалась и сильнее окутывала Сади-Кянт. Луна начинала всходить после часа, таким образом мои спасители должны были появиться часов в 11—12, ибо это было самое подходящее время для моего освобождения из тюрьмы. Часов в восемь вечера мне принесли ужин, состоявший из жареной баранины с рисом и нескольких фруктов. На мой вопрос, кто это так заботится о моем аппетите, молчаливый и хмурый солдат не ответил ничего и, недовольно оглядев меня, ушел. Я снова остался один. Выглянув в окно, я по звездам определил время, — было, вероятно, не более девяти, — еще часа два, и я буду на свободе. После двухдневного заточения в этой гнусной каморке, да еще с перспективой быть повешенным, я был несказанно рад вырваться отсюда и отправиться туда, где меня ждали милые и честные люди, вдобавок еще нуждавшиеся во мне. Но что же я буду делать там?.. Пустыня, горы, кочевья, бедуины... необозримые пески... все это хорошо и заманчиво, пока ново... пока впереди есть цель... но когда будет она достигнута, когда восстание закончится победой, что же тогда? Они, арабы, хозяева своей страны. Они займутся устройством своего государства и благополучием народа... а я?.. что будет делать чужой и тогда неподходящий для них человек?

С минуту я думал... и новая мысль озарила меня. А Россия? Советская Россия... та, которой не знаю я, но к которой тянутся мечты и на-

дежды этих людей, разве она не примет меня, меня, воина и бойца за интересы угнетенных арабских племен? Ведь я вернусь в нее новым, другим и возрожденным человеком, нашедшим и свою родину, и жизненную цель.

А Мадинэ... как она? В эту минуту мне было больно вспомнить мою маленькую нежную любовь. В памяти всплыла наша последняя встреча там, на острове, и ее покорный и молящий взгляд и побелевшее от муки и любви лицо. «Сагиб, если это нужно, сделай, но только пожалей меня», — пронеслись в моем мозгу ее покорные слова.

В дверь неожиданно стукнули, и в ту же секунду она широко распахнулась, и, озаряя каморку светом квадратных морских фонарей, вошли Слепцов и двое караульных. Оглядев равнодушно меня и обведя фонарем стены, он отрывисто сказал:

— Собирайтесь, да поживее. Сейчас пойдем на монитор. Слышите, я вам говорю, вставайте, не то прикажу солдатам поднять вас.

Я встал и стал медленно сворачивать шинель. Неужели все пропало, но что же такое, или Дерибабу кто-то видел, и затея его раскрыта, или же ассирийский батальон уже прибыл в Сади-Кянт и сменил гарнизон? И то и другое для меня было одинаково плохо, ибо, как только я буду привезен в Багдад, лейтенант и Слепцов ускорят предание меня полевому суду. Солдаты, брякнув ружьями, повернулись. Слепцов стал позади меня, и наша небольшая процессия, озаряемая колеблющимся светом фонарей, размеренным шагом вышла по той самой лестнице, по которой два дня назад меня вводили в эту тюрьму.

На дворе было шумно и оживленно. Горел костер, дымилась походная кухня, стояли расседланные кони, и возвышались горы спрессованного сена. Дневальные, точно монументы, стояли у ворот... Это несколько удивило меня. Раз все пока остается попрежнему и никаких сборов и приготовлений не видать, значит экспедиция остается в Сади-Кянте, но в таком случае бедный Дерибаба погиб. Глубокая скорбь сильно потрясла меня... У меня и так почти не было верных и бескорыстных друзей, и вот из числа этих немногих проклятая случайность вырывает самого честного и близкого мне человека.

Уже подходя к монитору, у самой пристани, я чуть не вскрикнул... так неожиданно и невозможно было то, что я увидал. Сзади нас, шагах в шести, взвалив на плечи мои чемоданы, шел Дерибаба. Не успел я еще сообразить, в чем дело, как конвоируемый солдатами был введен на судно, где меня Слепцов свел вниз и, проведя по ярко освещенному коридору, втолкнул в маленькую одиночную каюту. Не отвечая на мои вопросы, Слепцов вышел и, защелкнув дверь, дважды запер ее на ключ. Я остался один. Найдя небольшую койку, я улегся на нее. Голова моя шла кругом, и надо было привести расходившиеся мысли в порядок.

Сегодня меня снова вызывали к майору, только на этот раз наша встреча произошла не на берегу, а здесь же на мониторе, в его двойной каюте, куда провели меня. Я решил не отвечать на вопросы и держаться

как можно независимее, мне до чортиков надоели все эти обыски, допросы и косые взгляды окружающих, в таком изобилии выпавшие на мою долю за последние дни. Но допроса на этот раз не было. Вызвали меня совсем по другому делу, которое было и неожиданно, и интересно для меня. Восстание против англичан началось, и первые его удары были произведены повстанцами там, где его вовсе не ожидали англичане.

Уже три дня, как начались военные действия повстанцев на линии Моссул — Бакуба — Ханнекен. Али-Мардахан и шейхи [1]) племен бени-лаам нанесли англичанам первый и весьма существенный урон.

В ночь на 11-е апреля луры и курды Мардахана, уничтожив ночным налетом наши посты у Ктезифона, отрезали шоссейный путь на Ханкарие. Расквартированный в оазисе Сиди-Абдаллах, небольшой отряд пехоты при четырех пулеметах под командой лейтенанта Джефриса был полностью уничтожен атаковавшими его курдами, а главная масса лурской конницы и арабов бени-лаам после двухчасового жаркого боя захватили Самарру. Таким образом, железнодорожная линия на Керманшах была перерезана повстанцами, а Моссул совершенно изолирован от англичан.

Воздушная разведка обнаружила большие конные части бедуинов, обходившие Бакуба и стремившиеся выйти на линию Селевкия — Багдад. Первые успехи восставших воодушевили горячие головы по всей стране, и сейчас надо было ожидать общего возмущения. В бою у Самарра решающую роль в поражении британцев сыграл переход роты четвертого индусского полка на сторону повстанцев. Главное командование группой, руководившей боем у Самарры, вел сам Али-Мардахан, а конная колонна, разгромившая гарнизон в Сиди-Абдаллахе, возглавлялась курдом Амиром-Афшаром. Я напряг память. Передо мной выплыла физиономия старшего курда, всего несколько дней назад так мирно и любезно беседовавшего с нами на развалинах древнего Каллаша. «Бинокль княгини, подаренный ему, вероятно, честно послужил своему новому хозяину», — подумал я.

Читая кусочки полученного из Багдада тревожного радио, майор, казалось, вовсе забыл, что перед ним находится арестованный и обвиненный в измене человек. Тон, которым он со мной говорил, был приветлив, а манера держаться не оставляла желать ничего лучшего. Казалось, будто бы ничего не произошло, и мой арест, удар прикладом по голове и заточение — все это было только неприятным сном. Закончив чтение радиограммы, Коутс, отложив ее на стол, спокойно проговорил:

— Теперь вы видите, в чем дело. Восстание вспыхнуло во всей стране, и с каждым часом оно будет сильнее разгораться. Мне вновь предписано не отходить, не дождавшись прихода ассирийского батальона, и таким образом еще два-три дня мы пробудем здесь. За стальною броней нашего монитора возвращение в Багдад совершенно безопасно и даже

[1]) Шейхи — старшины и вожди.

покажется экспедиции интересной и занимательной прогулкой. Орудия, установленные на судне, и его восемь пулеметов послужат для нас прекрасной защитой и в случае атаки сумеют отстоять судно. Я призвал вас по следующему поводу... Виноваты вы или нет в том, что вам приписывает политическое отделение штаба верховного комиссара — я не знаю и остаюсь при старом моем убеждении, что вы превосходный солдат и в случае опасности будете нужны больше, чем кто-либо другой. Опасность надвигается, и я, как старый колониальный солдат, прекрасно вижу ее. Лейтенант почти мертв и в случае боя не сможет помочь мне ничем... офицеров больше нет... Слепцов и Вильбуа не в счет... в нужную минуту и тот и другой внесут панику в наши ряды... Я предлагаю вам следующее: забудем до приезда в Багдад весь инцидент... его не было... Я назначу вас начальником береговой обороны и комендантом села, — когда подойдут ассирийцы, вы сдадите им пост и отправитесь с нами в Багдад. Если произойдут встречи с неприятелем, от вас зависит доказать вашу невиновность и получить полное оправдание... Решайте... ваша жизнь в ваших собственных руках...

Удивительно просто... эту глупость мог предложить только один майор... Наивный старик был более прост, чем мне это казалось до этих пор.

— А прокламации и брошюры, якобы найденные у меня?.. А фотографии?.. — еле сдерживая улыбку, спросил я.

— Я ничего не знаю о них... и, если вы в бою замените мне лейтенанта, клянусь честью английского офицера и джентльмена, я отстою вас от притязаний десятка политических полиций.

— А ранение лейтенанта?

— Это дело чести самого джентльмена, и притом романические драмы всегда имеют свое оправдание.

— Это невозможно, г. майор... Весь гарнизон видел мое унижение, и вряд ли кто-либо из солдат подчинится беспрекословно вчерашнему арестанту.

— Пустяки... это не причина для отказа...

— Еще один вопрос... Скажите мне честно, г. майор, кто вам внушил эту мысль использовать меня, — не г. Слепцов ли?..

Майора всего передернуло.

— Избави бог... Этого господина я только до Багдада терплю при себе... пользоваться же его советами было бы унизительно для меня. Если вы еще сомневаетесь, то я скажу вам больше, вся экспедиция в панике... все эти штатские господа решительно потеряли головы и в паническом страхе только и знают, что уговаривают меня скорее сниматься и ехать в Багдад... В видах предосторожности я сегодня приказал всем членам этой злополучной экспедиции немедленно же со всеми слугами и багажом перейти на монитор, где и подчиниться правилам внутреннего распорядка, выработанным на случай длительного проживания на судне. И вот это мероприятие так взволновало и напугало всех, что мистер

Хьюз ультимативно потребовал у меня отвода всей экспедиции в Багдад. Несмотря на мои ссылки на приказы штаба сэра Перси Нокса, они ничего не хотят и знать и буквально мешают мне заниматься делом в эти тревожные и чрезвычайно опасные минуты... и вот тут-то ваша хорошая знакомая, княгиня Строганова, и предложила мне использовать вас, дабы таким образом добиться вашего спасения.

— Княгиня? — разинув от удивления рот, переспросил я.

— Да... она самая... а мсье Вильбуа поддержал ее, похвалив вас, как бравого и опытного солдата. Таким образом, вы видите, что члены экспедиции вовсе не переменились к вам, а, наоборот, всеми силами заботятся о вашем освобождении. Ну-с... итак, сейчас я отдам приказ о вашем назначении комендантом Сади-Кянта.

Я мотнул головой.

— Очень рад, что все так благополучно заканчивается для вас. Можете итти, никто вас больше не задержит, хотя должен напомнить, что мне было бы не совсем желательно терять вас надолго из вида.

Майор сконфуженно закашлялся и покраснел.

— Слушаюсь, г. майор... удаляться из села я не намерен...

Он облегченно вздохнул и, протягивая руку, шутливо приказал:

— Ну, а теперь, г. комендант, приступайте к вашим обязанностям.

Мое внезапное падение и столь же стремительное возвышение не удивили, как видно, никого. Перепуганные члены экспедиции совершенно потеряли голову и в животном страхе перед повстанцами проявляли столько глупостей и бестактностей, что меня до высшей степени удивляет это потерявшее разум человеческое стадо, еще три дня назад представлявшее собой образчик «воспитанного и корректного высшего света»... Так, например, лэди Хьюз устроила за завтраком истерику и, подобно торговке, истошно вопя, требовала немедленного возвращения в Багдад.

— Вы не имеете права жертвовать жизнями штатских лиц. Это просто возмутительная дерзость! — растерянно поддержал ее князь Строганов, с которого слетели его обычное равнодушие и флегма.

Сплетни одна нелепее другой рождались на пароходе, увеличиваясь до фантастических размеров, неведомым образом доходили до слуг. Паника сильнее и крепче охватывала монитор, передаваясь и его защитникам, матросам, аккуратно несущим свои утомительные караулы. Только мисс Эвелин никак не реагировала на все эти страхи. Храбрая девушка, запершись в своей каюте, запоем вносит в свой дневник события текущих дней. Вильбуа я как следует еще не видел, ибо, встретившись с ним за завтраком в общей каюте, мы перекинулись парой ничего не значащих фраз, хотя француз весело и многозначительно поглядел на меня. Княгини я еще не видзу... Гильдебрандт, слегка оправившийся от ран и потрясения, окружен заботами и уходом этой добровольной сиделки, ни на шаг не отходящей от него. Признаюсь, меня даже поразили такое бескорыстное внимание и уход за больным. Слепцов делает вид, будто бы

не видит меня, и старается не попадаться на глаза, хотя я чувствую на себе его полные ненависти и злорадства глаза. Воображаю, какую встречу готовит мне в Багдаде этот тип. Несмотря на то, что он бывший офицер, все мои попытки мобилизовать его для патрульной работы окончились неудачно. Негодяй при помощи майора умел улизнуть из строя и теперь на мониторе исполняет роль чего-то среднего между хозяином собрания и пароходным интендантом.

Но никогда, кажется, в жизни не испытал я бо́льшей радости, чем при встрече с Максимычем, который буквально запрыгал от радости, видя меня целым и невредимым, свободно и без всякого конвоя разгуливавшим по Сади-Кянту.

— Ой, Борыс Петрович, да як же вы, голубь мий, похудилы,— уверял он, обнимая меня в десятый раз и радостно заглядывая в глаза, — я ж думал, не даст бог и побачиты вас... мы с Банкадаром все мерекувалы, щоб вас з неволі ослобонить, — сыпал словами обрадованный казак.

Бен-Кадыр... мой дорогой отец и любящий друг... человек, пробудивший меня к жизни, и которому я еще ничем не заплатил за его безмерную дружбу.

Мадинэ... моя маленькая робкая козочка, по которой больно и сладко тоскует мое сердце... Мадинэ... мне так сильно и страстно хочется услышать ее робкое и радостное «сагиб». Как ни странно, но я тоскую по ней, по ее нежной ласке и теплому, девичьему поцелую.

Незаметно для себя я глубоко и сильно привязался к этой девушке с большими и ясными глазами.

— Где они?

— Кто? — удивленно переспросил меня Дерибаба, оставляя на минуту обнимать меня.

— Бен-Кадыр и Мадинэ.

— Та дома, що им здилается.... ох и злякались оны за вас, Борыс Петрович, дуже сумовали, старикова дівка так даже занедужила, — рассказывал кубанец и, видя, как я переменился в лице, тотчас же успокоил меня: — ну, не пужайтесь... вона хучь и знедужилась, а сама хотила за вами в тую башню лизть...

— Максимыч... отнеси сейчас же вот эту записку к Бен-Кадыру и поцелуй его, — и, вырвав листок из блок-нота, я наскоро нацарапал на нем пару строк. — «Вечером приду, ожидай меня, отец».

Дерибаба взял бумажку и быстро зашагал по пыльной улице.

18.

Шестичасовая сводка из Багдада принесла нам еще более тревожные известия. Главная колонна повстанцев нагнала отходившие от Ктесифона обозы экспедиционного корпуса и, уничтожив слабое прикрытие, завладела ими. Армянские дружины, стоявшие у Шерибана, были выбиты из него курдами племени Шаммара, а шедшие на помощь армянам части

пеших гуркосов, узнав о поражении армян, вернулись обратно в Мендели. Ввиду малочисленности британских гарнизонов, разбросанных по всему Ираку, и массового характера восстания, пока, до прибытия подкрепления из Индии, по плану предположено отводить войска к Багдаду, где под прикрытием батарей и десятка-двух мониторов дать бой курдским и арабским полчищам. Воздушная разведка доносила о большом количестве подкреплений, идущих на помощь восставшим из Курдистана. По непроверенным еще данным агентуры верховный комиссар сообщал нам, что арабы Неджефа и Кербалы решили примкнуть к повстанцам, объявив священную войну (джихат) англичанам. Одним словом, каша заварилась надолго. Я вспомнил Бен-Кадыра и его последние слова: — «Да сохранит тебя святой аллах, сын мой».

Старик несомненно играет активную роль и имеет связь с повстанцами. Если дня через два не подойдут ассирийцы, — малочисленный гарнизон измотается во-всю. Сади-Кянт и вся прилегающая к нему местность радиусом на двадцать пять верст была объявлена на военном положении. Хождение в селе и движение по реке и дорогам разрешалось только днем от восхода и до заката солнца. С сегодняшнего числа все переезды и выезды в Луристан, Курдистан и пустыню Кара-Лют, равно как и прибытие оттуда, запрещены.

Майор прочел мне очередную сводку и наиболее драматические места отметил красными чернилами.

— Каша заваривается, чорт возьми. Как вы думаете, сержант, мне кажется, что если эти проклятые ассирийцы не подойдут через день-два, то положение наше будет аховое.

— Н-да.. обстановка не совсем благоприятна для нас, — подтвердил я.

— Я сегодня же дам радиограмму в штаб верховного комиссара и, объяснив ему положение экспедиции, потребую отзыва нас через пару дней. Батальон может притти и через неделю, а я не могу, я не в состоянии видеть дальше это перепуганное стадо... чоррт побери... и это называется европейцы... мужчины! К моему стыду я должен констатировать, что самыми храбрыми из всей этой экспедиции оказались дамы — княгиня Строганова и бесстрашная мисс Эвелин, все же остальные — ужасная дрянь.

Я молча наклонил голову.

Минуту майор взволнованно молчал и затем добавил:

— Прошу вас, не проговоритесь о полученной радиограмме. Зачем волновать и без того перепуганных людей... Итак, идемте... через пять минут обед.

Мы спустились в кают-компанию, где уже собиралось общество. Здесь, впервые со дня моего ареста, я встретил орнитолога и других ученых, очень озабоченно встретивших меня. Забывая о такте и приличьи, они, взяв меня под руки, отвели в сторону и долго и нудно расспрашивали о положении и о том, насколько остро и непосредственно угрожает опасность монитору...

Ответив несколькими ничего не говорящими фразами, я попытался было успокоить ученых и направился к столу, где уже рассаживались остальные. Вильбуа задержался, и около меня было пустое, незанятое место. В эту минуту вошла княгиня, и, быстро окинув взглядом всех присутствующих и отвечая на приветствия, она прошла к столу и, вглядываясь в меня, сказала:

— Здравствуйте, Борис Петрович, — около вас, кажется, мое место?

Я привстал и, поклонившись, придвинул стул.

Она шумно села и, поблагодарив меня взглядом, обратилась с каким то вопросом к соседу. Я усиленно принялся за еду.

— Наголодался, бедненький, — услышал я сказанные вполголоса русские слова.

Я поднял глаза и встретился с смеющимися зрачками княгини.

— Нет, не очень. Ведь меня кормили не так скверно, как полагается арестантов.

— Да... знаю. Бараний бок с кашей и, кажется, холодная курица с макаронами, — вскользь бросила она, с любопытством нащупывая меня глазами. В ее зрачках я снова читал неудовлетворенный и похотливый огонек. Я чуть улыбнулся, она заметила это и снова как бы нехотя спросила:

— Ну... как ваш роман... с дикаркой, продолжается?

— Да..., и на этот раз крепко и окончательно.

За столом было шумно. Все с аппетитом ели и громко разговаривали, и слова княгини, сказанные вполголоса, терялись в общем шуме и разговоре.

— То есть, как это окончательно?

— Очень просто... я полюбил ее.

Ярость, достойная хищной кошки, мелькнула в ее глазах. Лицо на секунду передернулось, но, моментально овладев собой, она тихо и многозначительно улыбнулась и покачала головой:

— О, нет.... эт-того не будет.

— Почему?

— Потому, что не хочу. Вот и все, — и, протянув руку к вазе, взяла небольшую кисть прекрасного крупно-зернистого винограда и, чуть прищурившись, стала надкусывать гроздь, искоса поглядывая на меня. Я взглянул на нее, и мне невольно вспомнилась огромная полосатая кошка, стоявшая над распростертым Гильдебрандтом и так же искоса, хищно и внимательно разглядывавшая меня.

— Что это... опять эксперимент?

— Нет. Его продолжение.

Обед подходил к концу. Под влиянием вина шум за столом не умолкал, и забывшие на минуту страхи джентльмены оживленно беседовали, предвкушая удовольствие от скорого возвращения в Багдад.

— Мне нужно будет поговорить с тобой, по весьма серьезному делу,

— Хорошо, — ответил я и подал княгине очищенный звездочкой апельсин. Сидевший на краю стола Слепцов приподнял бокал и предложил выпить за здоровье лейтенанта. Все шумно приветствовали этот тост и стали звонко чокаться бокалами.

Улыбаясь одними глазами, Вильбуа, сидевший напротив нас, перегнувшись через стол, успел шепнуть нам:

— А я пью за ваш альянс и за счастливую встречу в Багдаде.

Княгиня неопределенно покачала головой и осушила бокал. Обед закончился, и все стали расходиться по каютам.

— Неужели ты в самом деле веришь, что настроение изменилось в твою пользу и что возвращение в Багдад не угрожает тебе?

— Верю... может быть, меня встретят какие-либо мелкие неприятности, но невиновность будет установлена судом, и майор первый поддержит меня.

— «Хоть и седьмой, а дурак», — убежденно произнесла княгиня и, пытливо глядя в глаза, проговорила: — и все же, милый, не увеличивай глупости... уходи... пока не поздно. Сделай так, как советовал тебе наш общий друг.

— Какой друг?.. я не знаю, о ком ты говоришь.

— Не лукавь... ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Уходи и уходи теперь же... Тебя в Багдаде ждет неминуемая смерть.

Ее глаза были полны печали и глубокой заботы обо мне... Теплая, полная рука ласково гладила мои пальцы, я чувствовал на себе ее дыхание и знакомый запах ее духов. Но чем теплее были эти заботы, тем недоверчивее и настороженнее становился я. Откуда она узнала о предложении Вильбуа?.. и как совместить этот участливый тон с тем заявлением майору, которое губило меня?... Нет... этой женщине я не поверю никогда... Осторожность... осторожность, сержант... здесь пахнет предательством.

— Я ни о чем не говорил с Вильбуа и никуда уходить не хочу... Не продолжай подобных разговоров, так как это возмущает меня.

Она снова покачала головой и со вздохом произнесла:

— Ты не доверяешь мне... а ведь я твой единственный друг. Поступай, как хочешь.

Мы сидели на пристани, недалеко от монитора. Запад медленно догорал, и алые полосы ярким пожаром охватили горизонт. Красно-лиловые столбы стояли над пустыней, и их огненные блики откатывались и скользили по далекому хребту Мардинских гор.

— Кровь... закат точно выкупан в крови... Ты не суеверен? — Она наклонилась ко мне, — нет?.. а я очень, и, мне кажется, в этом кроваво-рдяном закате предзнаменование нашей судьбы.

Она встала и, уже собираясь уйти, спросила:

— Мы увидимся?

— Да, если хочешь.

— Когда?

— Когда угодно.

Она усмехнулась и восхищенным шопотом произнесла:

— О... как ты хитер... Сегодня в полночь... у тебя... на мониторе,— последнюю фразу она договорила, медленно чеканя слога и пронизывая меня упорным и насмешливым взглядом.

Она кивнула головой и быстро пошла к монитору.

Со стороны села к нам подходил Дерибаба.

— Отнес?

— Так точно... велели кланяться и отдать сию цидулю.

Он оглянулся и, засовывая руку в карман, неловко вытащил крохотный лоскуток бумаги, на котором бисерным почерком были выведены всего три слова: — «Приходи немедленно сейчас».

Я снова прочел письмо и, разорвав его на сотню мельчайших крохотных кусочков, развеял их, бросая в реку. Когда последний лоскуток опустился на застывшую воду, я поднял голову и увидел стоявшую на борту княгиню. Она, не сводя глаз, смотрела на меня и тихо чему-то смеялась.

— Идем, — сказал Дерибаба, и мы пошли в село.

— Максимыч... я никогда не забуду тебе этого... Мне снова угрожает опасность... Пойдешь ли ты туда, куда я позову тебя?

— Борыс Петрович, голубь мий, та хучь в гроб, або ж с вами... да разви мини туточки без вас жизнь?.. обрыдли вони мини уси, ции английцы, ну их... до бису... бачить их не можу... щоб воны уси сказылис. Борыс Петрович... тикаемо з вами до дому, до России... ей же богу... в мене одна думка на сердце полягла, как бы домой, на Кубань воротыться. Кажну ночь об энтом думаю... сердце дуже сумуе по своим...

— Слушай, друг... попадем ли обратно в Россию, я не знаю, но уйти отсюда мы должны. Будь готов, может быть, сегодня же ночью отправимся в путь. Пока молчи и помни, что за нами наблюдают.

Дерибаба радостно закивал головой, и в его глазах мелькнула радость.

— Слава тебе, боже... надоело по чужим местам таскаться, пора и домой итти.

Мы подходили к дому Бен-Кадыра. Улица была тиха и пустынна. Село крепко спряталось за высокие стены, окружавшие дома. Я взял щеколду и сильно постучал, за дверью послышалось шарканье туфель и торопливые шаги.

— Кто там? — услышал я знакомый голос.

— Свои, отец, свои, — крикнул я, и через секунду меня крепко обнимал взволнованный Бен-Кадыр.

19.

И вот я снова в этой милой комнате с низко нависшими сводами, с мягким и уютным ковром на полу и пестрыми сундуками по углам...

Вокруг меня мои близкие, родные люди, с такой несказанной радостью и безграничной любовью взирающие на меня... Мадинэ, Зикра и Бен-Кадыр... а в нише, на невысоком сундуке, мой верный Дерибаба. Четыре друга, четыре близкие души, и в радости и горе не покидающие меня.

— Сын мой, я снова убеждаюсь в том, что руссы — лучшие в мире люди. Этот человек так любит тебя, что его жизнь без твоей похожа на смерть... О, аллах... я рассказывал тебе о том, как родилась дружба, а теперь я увидел, как она живет. Если бы не я, он расколотил бы головы твоим тюремщикам и погубил бы себя, — указывая на Дерибабу и благодарно трепля его по руке, рассказывает Бен-Кадыр.

— Но как вы сговорились, ведь он почти не знает персидского языка, — спрашиваю я и перевожу наш разговор смеющемуся и довольному Дерибабе.

— Аллах умудрил наши головы, и мы поняли друг друга, — объясняет Бен-Кадыр.

— Да чего мудреного, — смеется Дерибаба, — дівка побіліла, як стена, да як заголосыть... а старик весь труситься, вот-вот заплачет сам, а все пытает мене, где вы, да як вы... ну а чого не понялы, то вже руками друг дружке доказалы.

Мадинэ счастлива, она не сводит с меня смеющихся глаз и, не стесняясь присутствия Бен-Кадыра, прикасается ко мне своими крохотными пальчиками и все просит рассказать о том, как меня мучали в тюрьме.

— А знаешь, сагиб, сестричка моя проплакала всю ночь... Все тебя вспоминала... видишь, как она привязалась к тебе. Не правда ли, Зикра?

— А ты, Мадинэ... разве ты не скучала по мне?

Она отвернулась и, теребя бахрому ковра, ответила, глядя на Бен-Кадыра:

— Пусть дядя сам расскажет тебе об этом, сагиб.

— Ну, дети мои, сагиб наш снова с нами, и возблагодарите за это аллаха и идите к себе, оставьте нас вдвоем... ибо каждая минута сейчас дороже целого дня.

Мадинэ и Зикра встали и, не торопясь, пошли. Я в стенном зеркале следил за лицом милой девушки, так неохотно расстававшейся со мной... Она встретила мой взгляд и, тихо улыбнувшись, что-то нежно прошептала.

— Сагиб, ты не уходи, не попрощавшись с Зикрой, — сказала она, закрывая за собой дверь.

Бен-Кадыр тихо и любовно покачал головой.

— Дай аллах, чтобы ты когда-нибудь еще встретил такое же золотое сердце, как у Мадинэ.

Я почувствовал, как теплая волна подкатила к моему сердцу и тихо прошептал:

— Я уже встретил его и другого мне не надо.

Бен-Кадыр серьезно и умно посмотрел мне в глаза и после маленькой паузы сказал:

— Сейчас не время отвлекать беседу словами, которые мы скажем в другой раз.... Скажи, почему они арестовали и зачем так скоро отпустили тебя?

Я быстро, в нескольких фразах, набросал старику историю моего ареста, упомянув о роли лейтенанта и Слепцова, и затем, перейдя к моему освобождению, рассказал и причины, вызвавшие его. Бен-Кадыр не прерывал... Когда я сказал ему, что майор обещает мне спасение и свою защиту, глаза моего собеседника быстро и внимательно скользнули по моему лицу.

— Ну, и что же ты решил?

— Отец мой... я русский, сын той страны, которая борется за освобождение Востока от англичан, и если я сделал до сих пор немало ошибок, то ничто не помешает мне своею кровью искупить их... Я ваш и, если нужно, сегодня же уйду с тобой.

— Слава аллаху... слава его лучам, вразумившим тебя. А твой друг?

— Он уйдет вместе со мной.

Бен-Кадыр торжественно встал.

— Сын мой, вы оба нужны нам. Ты, как опытный солдат и знающий военное дело человек, он, как твой друг. Но вы оба нам нужны вдесятеро раз больше, потому что вы дети того народа, к которому ежедневно воссылаются наши благословения, и ваше присутствие среди нас зажжет огнем сердца воинов, с надеждой взирающих на далекую Россию... Слушай... будь готов... нельзя медлить ни минуты... через час мы должны быть далеко. Я отвезу вас туда, где уже собрались грозные мстители за наш поруганный край. Время дорого, и надо ехать сейчас...

— Как сейчас... а Мадинэ?.. Зикра?..

— Не бойся за них... Я к утру возвращусь обратно. Англичане и не знают о том, как близко от них бродит смерть, которую так беззаботно и легкомысленно вызвали они... Собирайтесь... мы едем сейчас.

— А кони?.. и затем, отец, за мною могут следить... я знаю, что мне не доверяют совсем.

— Ни один человек не увидит нас. Идемте.

Мы встали, я быстро перевел кубанцу слова старика. Дерибаба вздохнул, истово перекрестился и решительно сказал:

— Ну, що ж... Пийдемо.

Бен-Кадыр открыл дверь и негромко позвал. В комнату вошла Мадинэ.

— Прощайся с сагибом, сейчас мы уходим, — и, увлекая с собою Дерибабу, старик вышел во двор.

Радость загорелась в глазах девушки, и она быстро и порывисто обняла меня.

— Прощай, Мадинэ... бог даст, мы снова увидимся с тобой и тогда уже навсегда.

Она обвила мою шею тонкими ручонками и смело, без колебания, поцеловала в губы и нежно произнесла:

— Прощай, мой любимый... мой муж.

Еле сдерживаясь от охватившего меня волнения, я стремительно выбежал из комнаты, — у дверей стоял Бен-Кадыр и ожидавший меня Дерибаба.

Ночь уже сходила на село. Закат давно догорел, и темные сумерки окутали Сади-Кянт. Не открывая дверей, мы прошли за Бен-Кадыром по двору и, перейдя его, пролезли сквозь дыру, проделанную в толстой стене. Перейдя второй двор, мы перелезли через низенький плетень и, пройдя мимо сараев, снова нырнули в брешь, которая вывела нас в густой виноградник. Прячась и пригибаясь к грядкам, почти не видя друг друга в темноте, мы спустились в какую-то глубокую яму, из которой пахнуло сыростью и застоявшейся плесенью. Черная непроглядная ночь смотрела на нас из этой дыры. Я на минутку было остановился, но твердая рука Бен-Кадыра настойчиво потянула меня за собой, и я почувствовал, как звездное небо, свежий, ночной воздух и яркие огни видневшегося вдали монитора исчезли из моих глаз, и ноги внезапно по колени погрузились в воду, и холодные мурашки забегали по спине. Сзади, неловко ступая по воде, чуть не падая на меня, наваливался Дерибаба.

— Борыс Петрович... Никак мы под землей.

Я поднял голову... В самом деле над нашими головами была непроглядная ночь, а ноги шли по дну быстрой и холодной реки.

— Не бойся, сын мой. Это арык, — тихо и успокаивающе сказал Бен-Кадыр. — Ты видишь, что преследовать тебя не так-то легко. По дну этого арыка мы выйдем прямо к Шат-Эль-Арабу, а там, на берегу, в камышах, нас ждет лодка, которая и перевезет на другую сторону реки. Оттуда на конях мы отправимся в Сиди-Абдаллах, где ждут нас друзья.

— Кто? — переспросил я.

— Амир-Ашфар и его отряд.

Судьба снова сталкивала меня с курдом, которому в Хуммаре княгиня отдала свой бинокль.

Мы шли уже несколько минут в непроглядной темноте, хлюпая по воде тяжелыми сапогами, наконец, арык стал шириться, его стены раздвинулись, и откуда-то спереди потянуло свежим воздухом, и блеснули огоньки звезд.

— Вот и река.

Я огляделся. Впереди перед нами поблескивал широкий Тигр. Звездные блики, отраженные в воде, дрожали и колебались, преломляясь миллионами изломанных огоньков. Высокий камыш чуть шуршал под набегающим ветерком, и его кудрявые, бахромистые головки мерно покачивались из стороны в сторону. Из тихой заводи послышался заглушенный крик совы. Бен-Кадыр негромко ответил на него, и через минуту, раздвигая камыши и неслышно режа воду, выплыла лодка. Двое невидимых глазу гребцов приветствовали нас.

Сади-Кянт был верстах в двух ниже нас. Ярко сияли огни монитора, и четко вставала над водой его тяжелая громада.

На секунду я остановился и затем резко и твердо вскочил в лодку, в которой уже рассаживались мои друзья.

Гребцы налегли на весла, и лодка быстро и бесшумно заскользила к противному берегу, который все ближе и сильнее приближался к нам.

20.

Темная ночь... Высокие, черные пальмы смотрят с немой стороны. Серая луна мертвым светом озаряет Сиди-Абдаллах... Вокруг раскинулась многоверстная пустыня с редкими оазисами. Пески... пески. Частые огни курятся на биваке... Ржут кони... хрустит сочный ячмень, и время от времени слышится заунывное пенье у костров. Черные тени бродят по поселку... как горох, рассыпалось человеческое месиво, заполняя собой и оазис, и дома, и окрестности Сиди-Абдаллаха... Заглушенный гортанный разговор, лай собак и посапывание коней сливаются в одну общую, беспрерывную мелодию...

Мы сидим под пальмами, в саду старшины. Прошло больше часа, как мы прибыли в Сиди-Абдаллах, где нас торжественно встретил Амир-Афшар, начальник левобережной группы, наступающей на Сади-Кянт. Радость не сходит с лица Амира, он ежесекундно подчеркивает свое уважение к нам и восторг от моего прибытия. Рядом с ним восседает военный совет из четырех человек,— это нечто вроде штаба, где кажется довольно оригинальным явлением присутствие муллы. Я оглядываю присутствующих... какой удивительный народ... бодрые, здоровые, веселые. На лице каждого так и написано презрение к смерти и давнее уменье не бояться войны. Да, с такими воинами справиться не легко. Бен-Кадыра я не узнаю... Только теперь начинаю понимать, какая огромная сила таится в этом хрупком человеке, и каким необычайным авторитетом пользуется он среди этих людей! Решительно все, вплоть до самого Амира-Афшара, преклоняются перед ним и почтительно выполняют его приказания. На моих глазах Бен-Кадыр буквально переродился, его ласковый и тихий голос звенит повелевающе и твердо. Глаза приняли суровое и сосредоточенное выражение, и вся фигура старика выросла и приняла вид военачальника, человека, который бесстрашно распоряжается жизнью сотен людей. Совещание тянется полчаса. Я в кратких словах информировал совет о положении в Сади-Кянте, о планах майора и его надежде на ассирийский батальон. Курды весело переглянулись, и Амир, лукаво сощурившись, сказал:

— Они не придут... сегодня к утру Али-Мардахан со своим отрядом уничтожит их. Они окружены в Дизаке и обречены на смерть.

— В таком случае надо спешить, ибо, если остатки батальона пробьются в Сади-Кянт, монитор в тот же час снимется и уйдет в Багдад.

Бен-Кадыр поднял голову:

— Нет, он не должен уйти от нас. Мы сегодня ночью нападем на них, и к утру Сади-Кянт будет в наших руках. Мы не можем упустить этих

людей. Их обменяют на арестованных в Багдаде членов Национального Комитета... Люди наши храбры, и мужество их безгранично, но они не обучены полевой войне, и, если мы внезапно не захватим судно, наши необученные войска не выдержат огня пулеметов и орудий монитора, и надежда на освобождение друзей уйдет. Ты мудр, ты знаешь военное ремесло. Помоги нам взять судно, и мы никогда не забудем тебя.

Взоры курдов устремились на меня. Их мужественные лица глядели с надеждой, и по выражению глаз я понимал, что им, храбрым, но наивным воинам гор, кажется, что я всемогущ, и если захочу, то добуду им монитор. Я напряженно размышлял...

«Монитор может быть захвачен только врасплох. Несмотря на многочисленность курдов и их отвагу, все пойдет прахом, если защитники судна своевременно обнаружат наступление врага... Никакая храбрость не сделает чудес против многочисленных пулеметов и орудий монитора, защитники которого, сидя за стальной броней парохода, расстреляют в упор атакующего их врага.... Нет... атакой в лоб мы ничего не приобретем, но потеряем половину повстанцев, и монитор, отбив атаку, отойдет на середину реки и, открыв огонь из орудий, уничтожит Сади-Кянт и его ни в чем не повинных жителей... Нет, судно надо будет брать хитростью, той самой военной хитростью, которая граничит с безумием и имеет на успех всего один шанс, но которая на протяжении сотен веков применялась различными полководцами и вплела немало лавров в их победные имена».

Я проверил свои выводы и стал объяснять их затаившим дыхание слушателям.

— Твоя правда... истинно говоришь, не взять нам в лоб проклятый барфур, — кивая головой, печально подтвердил Амир-Афшар.

Курды были удручены моим ответом. Они молча покачивали головами, понуро вздыхая и сокрушенно переглядываясь.

Бен-Кадыр в упор смотрел на меня, и я видел отчаяние в его горящем взгляде...

— ...но, братья, на свете нет ничего невозможного... и один смелый волк может разогнать стаю собак. Если нельзя взять английский барфур в лоб, попытаемся захватить его хитростью. Я затем и пришел к вам, чтобы победить с вами или вместе умереть. Сейчас пришел момент испробовать судьбу, и я попытаюсь захватить барфур с тем, чтобы в нужную минуту, когда я подам знак, вы бросились в атаку и поддержали меня.

— Яаа... аллах!!! вот это говорит настоящий муж, и в его словах я узнаю храброго русса,— пылко воскликнул Бен-Кадыр, а восхищенный Амир вскочил с места и бросился ко мне.

— Не горячитесь, братья, и спокойно выслушайте меня. О том, что я у вас, на пароходе еще не знает никто. Пусть сейчас же две сотни лучших воинов спешно перейдут на ту сторону Тигра и тайно по арыку проберутся в село. Время не ждет, — через четыре часа рассвет. Они займут все дома и сады перед пристанью и будут ждать момента, пока я не крикну

и чет.

на помощь. В то же самое время вторая группа должна из камышей атаковать монитор. Ни на одну секунду нельзя промедлить атаки, ибо от быстроты натиска зависит успех. Теперь слушайте главное... Я с моим товарищем спокойно и открыто пойдем к судну, нас окликнут часовые, я отвечу и, когда мы подойдем к самому караулу, я кину в него гранату, и вы все в один момент, в одно мгновенье выскакивайте из-за прикрытий и с криком, стрельбой и ревом кидайтесь в атаку на монитор. Часовые у орудий растеряются и в первую минуту не дадут отпора, когда же мы ворвемся, — будет поздно, и они сдадутся или погибнут...

Я обвел глазами сидевших. Лица курдов пылали зловещим огнем, мои слова раззадорили их боевой азарт, и они шумно и восторженно приветствовали мой план. Только Бен-Кадыр молчал и проникновенным взором смотрел на меня. Я снова узнал его грустные глаза и этот бесконечно родной и добрый взгляд. Он вздохнул и тихо сказал:

— Таким образом мы возьмем монитор, но знаешь ли, что вы оба первыми погибнете в бою... ты подумал об этом?

Курды замолчали и подняли головы: им только сейчас стало ясно, что первые же выстрелы с монитора убьют нас.

— Отец мой, я сделал в жизни много зла, и моя кровь, пролитая за свободу, окупит эти грехи.

На красивом лице Амир-Афшара пробежала грусть. Он взволнованно проговорил:

— Русс... я хочу умереть с тобой... Клянусь аллахом, что в первых рядах, которые будут итти за тобой, буду я.

— Сражаться рядом с тобой — великая честь, а теперь все по коням... Объясните воинам план — и вперед к переправе. Скоро рассвет, нам надо спешить.

Военачальники бросились к своим отрядам... я на минутку задержал Амир-Афшара и, подведя его к застывшему на месте Бен-Кадыру, сказал:

— Друзья мои, идя на смерть, я прошу вас исполнить мою единственную просьбу. Останусь я жив или нет — безразлично, но вы обязаны будете исполнить ее. Я прошу, чтобы ни один волос не упал с головы мирных людей, захваченных в плен на мониторе. Обещайте это мне.

— Сын мой, я обещаю тебе это еще и потому, что за них взамен мы получим арестованный Комитет...

Лагерь быстро пришел в движение. Мгновенно вся площадь и улицы были запружены конными, и через минуту огромная конная масса на крупной рыси понеслась к переправе, мчась, как ангелы смерти, к ничего не подозревавшему Сади-Кянту.

Пропустив кавалерию, мы сели на коней.

— Что сказать Мадинэ, если ты не вернешься назад? — беззвучно, еле выговаривая роковые слова, проговорил Бен-Кадыр.

— Скажи, что я полюбил ее.

Бен-Кадыр тихо и безнадежно вздохнул, и я увидел, как у этого сильного и решительного человека перекосилось лицо от глубокой муки.

Рядом со мной, стремя со стременем, беспечно ехал ничего не подозревавший Дерибаба. Он тихо мурлыкал под нос кубанскую песню, наконец, я не выдержал и сказал ему то, что должно было случиться с нами через час.

Казак внимательно выслушал меня.

— Максимыч... еще есть время... откажись, пока не поздно, незачем губить себя.

Кубанец медленно придержал коня... бледный месяц слабо озарил его лицо.

— Борыс Петрович, а друг милый... да разви ж я вас брошу помирать одному?.. Жили вдвох — так уж и помрем вместе, — и, весело рассмеявшись, он хлестнул своего коня, и мы полным карьером поскакали вперед, — туда, где нас ожидала смерть.

21.

Темная, непроглядная ночь... Луна беспомощно нырнула в серые, косматые облака, и яркие звезды рассыпались на черном бархате насупившегося неба. Влажный и прохладный ветерок набегает от реки. Сонный камыш подрагивает и ложится под ногами, образуя широкую щель, по которой тихо, бесшумно и бесконечно льется людской поток. Сколько их... мне кажется, что прошло не меньше трех сотен, а сзади, с невидимых лодок, все прибывают новые и новые подкрепления. Фланговый отряд из двухсот человек уже подобрался ползком к монитору и засел в камышах... от него прибыли двое для связи, предупредив Амир-Афшара о том, что они готовы и ждут условленного сигнала. Часть ушедших вперед заняла виноградники Сади-Кянта, расположенные саженях в ста от пристани. Резерв и коноводы остались на противоположном берегу, ожидая своей очереди. Курды все больше и сильней просачиваются в село, наполняя Сади-Кянт, через потайной арык.

На мне прекрасный маузеровский автомат, данный для боя Амир-Афшаром, и пять гуммаровских разрывных гранат. Дерибаба украшен винтовкой и гранатами. Я уже договорился с ним... Как только нас окликнут часовые, я сейчас же швыряю на палубу одну за другой гранаты. Дерибаба поддерживает меня, и мы с криком «ура» кидаемся на сходни... В эту же секунду фланговая засада дает залп по монитору, и весь отряд Амира-Афшара с воем и боевым визгом атакует монитор. Если б только нас подпустили к самому трапу... я знаю разрушительную силу гуммаровских гранат... хорошо брошенная граната огненным столбом пламени и дыма разгонит не ожидающих нападения часовых, а оглушительный залп, свист пуль и дикий вопль «алла» сотен атакующих людей довершит наше начало. Весь успех заключается в быстроте... Я ощупью нашел руку кубанца и крепко пожал ее... Он так же сильно ответил на пожатие и прошептал:

— Скучно, Борыс Петрович, хучь ба начинать.

Наконец, мимо нас прошли последние ряды повстанцев, их еле уловимый шорох растаял в ночной тишине.

— Идем, — тронул меня за плечо Бен-Кадыр, и мы тем же путем, ныряя в арык и шлепая по подземной реке, проходим в село...

Перебравшись через виноградники и пролом в стене, мы вышли к дому Бен-Кадыря. Старик, шедший рядом со мной и почти ничего не говоривший за весь путь, внезапно остановился и тихо сказал надломанным, больным и шедшим откуда-то из глубины сердца голосом:

— Попрощайся с ней... вы больше никогда не увидитесь, — и, не давая мне времени ответить, он увлек меня за собой. Дерибаба остался один... я едва успел крикнуть ему, чтобы он дождался меня.

В той самой горнице, где еще так недавно сидели мы, — произошло наше прощанье.

Бен-Кадыр, уже не сдерживая обильно льющихся слез, молча взял меня за руку и подвел к застывшей и бледной девушке, как тень, замершей у порога... Слабый свет ночника тускло озарял нас...

— Мадинэ, наш друг уходит на смерть... попрощайся и поцелуй его...

Сдавленное рыдание помешало старику закончить слова, и он, махнув рукой, быстро отвернулся и, заглушая плач, выбежал из комнаты.

Тонкие губы Мадинэ побелели. Ее чадра опустилась на пол, а маленькие нежные пальцы судорожно заходили по стене.

— Ты уходишь... туда?..

— Да, моя радость... но не бойся... я останусь жив, и после мы с тобой никогда не расстанемся.

Глаза ее пусто и безнадежно смотрели на меня. В них горел огонь тоскливого отчаяния, граничившего с помешательством. Как бы не отдавая себе отчета в мыслях, она покорно и апатично повторила мои слова:

—...и потом мы с тобой уже никогда не расстанемся...

Каждая секунда была дорога. Курды, вероятно, уже заняли позицию в садах... ночь догорала, и через час должен был закуриться рассвет... Я взял руку полумертвой Мадинэ и, еле прикоснувшись губами к ней, сказал:

— Не отчаивайся... я еще вернусь...

Дверь захлопнулась за мной, но два скорбных глаза, наполненных тоской и безнадежностью, глядели на меня из темноты.

— Пора... Люди заняли виноградники... В селе все спит, и никто не заметил нас, — шепнул вынырнувший из ворот Амир и, пригнувшись ко мне, сказал:

— Помни, что позади тебя в десяти шагах будет твой брат Амир-Афшар.

— Максимыч... Пора... Наступил наш час...

Казак снял папаху, поднял к звездам глаза и молча трижды истово перекрестился, затем повернулся ко мне и, крепко целуя в губы, задушевным голосом сказал:

— Ну к, что ж, прощевай, голубок... Мабуть и не свидэмся.

И мы быстро зашагали к пылавшему огнями монитору, зажав в руках поставленные на боевой капсюль гранаты...

— Кто идет? — металлическим звоном раздался с монитора окрик, и несколько серых фигур мелькнули над бортом.

— Свои,— негромко ответил я и, сдерживая волнение, добавил:— комендант гарнизона.

Фигуры застыли на месте, пристально вглядываясь в сгустившуюся мглу. Мы быстрым, размеренным шагом подходили к монитору, и я был саженях в десяти от борта. Нижняя линия иллюминаторов была освещена и яркой полосой огней опоясывала длинное, черное туловище судна... Дерибаба с мрачной решимостью ни на шаг не отставал от меня. Вдруг второй, такой же сухой и резкий окрик снова прорезал тишину:

— Что пропуск?

Не останавливаясь, я на ходу размахнулся и изо всей силы швырнул в самую середину палубы заряженную гранату, метя в темневшие фигуры... впереди что-то грохнуло... сверкнуло и, взлетев на воздух, вспыхнуло и неистово затрещало.

В ту же секунду слева от монитора гулко рявкнул стройный, отчетливый залп, и рой пуль со свистом и воем запрыгал по палубе, мостику и стальной обшивке монитора. Рикошетировавшие пули дико взвизгивали и, стеная, пели свою зловещую песнь. Заунывный вопль «алла» потряс камыши, и сотни фигур, раздвигая осоку и пригибаясь к земле, с воем и криками ринулись в неудержимом беге на монитор, наполняя воздух неистовым воплем «ал...л...ла». Я успел швырнуть еще две бомбы и бросился вперед. Мое одинокое ура слилось с ревущим, победным «алла» и мгновенно потонуло в нем... Точно по волшебству ожил Сади-Кянт... Внезапно из его черной мглы, из низких виноградников, из темных садов и кривых площадей бежали, мчались, неслись и растекались бесчисленные фигуры, потрясая оружием и вопя свое оглушительное и страшное «алла». Чувствуя за собой топот мчащихся ног, я стремглав влетел на палубу, успев кинуть куда-то еще одну гранату, которая с оглушительным треском разорвалась, озарив на секунду торопливо перебегавших по палубе людей и холодный блеск орудий, направленных на село... Нападение было совершено так стремительно и живо, что защитники судна не успели еще приготовиться к защите, как уже я и человек десять курдов влетели на палубу, дико крича, стреляя и наводя панику на врага.

В эту минуту грохнуло боковое орудие монитора, и три пулемета, установленные на носу и капитанском мостике, запели свою зловещую мелодию навстречу набегающим курдам. Яркая полоса огня снова вырвалась из дула орудия, и второй снаряд, поставленный на картечь, слизнул набегавшую на пристань толпу... Люди охнули... заметались и бросились врассыпную... прячась от губительной картечи, с воем взрывавшей землю в сорока шагах от монитора. Треск пулеметов, беспорядочная стрельба

ɔев картечи слились в сплошной гул, в который злобно и победно влилось упорное и настойчивое «алла». О... значит, храбрые курды не разты, и первая неудача не испугала их. Нас, ворвавшихся на судно, было более пятнадцати человек. На корме тускло поблескивали два орудия, ошенных артиллеристами. Возле них торчали пулеметы, около которых жало два трупа, по всей вероятности, разорванных моими гранатами... ι корме не было больше никого... итак... из трех орудий, находившихся судне, двумя владели мы, оставалось третье, в упор расстреливавшее встанцев, — необходимо было захватить его. Мы рассыпались по палубе залегли у бортов и между орудий, медленно пробиваясь вперед. Пули гали меж бортами, щелкали по орудиям, неслись над монитором, впиясь в палубу, и резали воздух во всех направлениях, свистя и завывая. о были беспорядочные, летевшие отовсюду—и со стороны повстанцев, и правленные в нас защитниками монитора, залегшими на носу судна. рма снова озарилась пламенем, и снаряд, свистя и тяжело громыхая, онесся над селом и разорвался где-то над домами. С мостика в темноту дленно плывет электрический луч прожектора, нащупывая мечущихся площади людей.

Дело начинает принимать серьезный оборот, надо немедленно атазать мостик.

— Максимыч. — позвал я, и из-под орудия выглянула голова стрешего по пулеметчикам кубанца. — Есть гранаты?

— Три.

— Давай их сюда. Сейчас атакуем пулеметы.

За моей спиной и сбоку трещали беспорядочные, частые выстрелы ногих курдов, вместе со мной вбежавших на монитор. Я быстро бро. им несколько слов, прося открыть учащенный огонь по капитанскому тику и тем помочь мне подкрасться к пулеметам.

— Сделаем, брат, так, как ты говоришь, — услышал я знакомый ос Амир-Афшара. Радость охватила меня, курд сдержал свое слово ился рядом со мной, как простой боец. Зажав гранаты, я пополз по рой палубе, прячась между черневшими предметами. Пулеметы англинеистово трещали, все усиливая свою трескотню. Крики «алла» несь несколько заглушеннее и дальше, чем поначалу, и только левофланая группа, атаковавшая из камышей, все так же решительно и настойо вела свои упорные атаки, желая захватить защищенное с фланга ько пулеметами судно. Если мне удастся сбить с мостика пулеметы, — итор сейчас же будет взят.

Я полз... Вот уже винтовая лестница, блестящие поручни которой ь отсвечивают в темноте. Вот дверь... ведущая вниз, к каютам, туда, сейчас в смертельном страхе забились в углы перепуганные люди, асом вслушиваясь в звуки разыгравшейся наверху, над ними, смерьной и трагической симфонии. Над головой мерно рокочут пулеметы. шатся взволнованные голоса и чей-то прерывистый стон. Я ползу, ляясь за поручни и винты, и медленно взбираюсь туда, откуда немолчно

тарахтят пулеметы. Орудие снова грохочет, и мгновенная вспышка озаряет группу людей, приникших к борту. Темнота снова поглощает их. Снаряд рвется над садами, и сизобелое облако стелется над селом. Я продолжаю ползти... шальная пуля шлепается возле меня у самого виска и с протяжным воем рикошетирует вниз... Частый огонь повстанцев разливается в темноте. Их пули дождем осыпают монитор. Наконец, я доползаю до перил и, задыхаясь от усталости, на секунду затаиваю дух... Возле меня, метрах в двух в стороне, трещат пулеметы, и слышатся взволнованные голоса.

Взмах... второй... третий... и три гранаты, одна за другой, летят в самую середину мостика, и три взрыва ярким и эффектным столбом взлетают над монитором. Люди стонут, вопят и валятся. Кормовое орудие смолкает, и остановленный луч прожектора застывает на месте. Радостный крик «алла» звенит под бортами судна... Толпы повстанцев заливают палубу... умолкшие пулеметы уже не страшны атакующим... Начинающийся рассвет обрисовывает картину боя... Еще хлюпают одиночные выстрелы... пули так же беспорядочно носятся в воздухе, но монитор уже в руках повстанцев, и победное «алла» гудит и переливается по площади, гулко отдаваясь в селе.

В ту же секунду острая боль пронизывает мое плечо, и я, выпуская из рук перила, падаю на руки подхватившего меня Амира.

22.

Светает... Темные контуры пальм ярче вырисовываются на сером фоне рассвета. На далеком Востоке, там, где пустыня упирается в синюю твердь Мардинского хребта, еле заметно розовеет полоса. Тени бегут от реки, и влажный воздух оседает на траву росой. Затейливо курятся дома, зажженные снарядами, и на фоне пламени, искр и дыма, словно сказочные черти, снуют фигуры курдов и взволнованных крестьян, заливающих пожар.

Плечо ноет... Шальная пуля скользнула по кости и, пробив мякоть, вышла где-то над лопаткой. Боли особенной нет, но рука на перевязке, и недели две мне придется обходиться только одной. У пристани, там, где обычно происходил базар, собирают пленных. Их гонят отовсюду и с западного поста, и с южного, где караул при первой же атаке курдов выкинул белый флаг и сдался без выстрела повстанцам. На палубе у одного из пулеметов лежал ничком майор, судорожно хрипевший в предсмертной агонии. Курдская пуля пробила ему горло, и он, захлебываясь кровью, медленно умирал. Бедный старик... лучший из всех, с которыми свел меня нелепый случай... и единственный из них, защищавший монитор.

У борта сидит бледный Дерибаба, по его страдальчески-перекошенному лицу пробегает судорога. Он стонет и отворачивает в сторону забинтованную голову. Неприятельская пуля прошла навылет через его щеки, раздробив в крошки несколько зубов. Вокруг пристани и дальше на пло-

щади темнеют трупы убитых повстанцев. Раненых сносят к монитору, где им делают перевязку, — пленный судовой доктор и местный арабский врач.

Да, нелегко нам досталась эта победа, и, если бы не чудовищная храбрость курдов, вряд ли удалось бы взять эту окованную броней черепаху. На мониторе находится Амир. Он быстро расставил караулы, согнал лишних людей с судна и приказал перепуганной экспедиции запереться в каютах и не подниматься наверх. Амир-Афшар — прирожденный воин, и я прямо любуюсь на его деловитые и мудрые распоряжения.

Рассвет все ярче охватывает небосклон, и сильнее алеют Мардинские хребты. Подожженные дома догорают, и пожар близится к концу. Бен-Кадыра все еще нет... Я схожу по спущенному трапу и, несмотря на боль в плече, поспешно шагаю туда, где остался он и моя маленькая Мадинэ.

Груды взрытой картечью земли... комья глины взорваны свинцом... перебитые ветви и покорно повисшие пальмы... Это место, где разорвался бризантный снаряд. Труп... еще один... обезображенный с развернутой головой. Я прохожу мимо, спеша туда, где ждут и не верят моему спасенью родные и близкие люди. Вот и село... Сейчас кривая уличка, за ее углом, в самом начале площади, знакомый дом, где... Внезапно я отшатнулся...

У самой дороги, лицом к селу, на пыльной, обрызганной кровью земле лежала с раздробленным плечом мертвая Мадинэ. Чья-то шальная пуля, наугад пущенная из старинного «пибоди», убила и изуродовала этого чистого и прекрасного ребенка с такой большой и любящей душой.

Сердце болезненно заныло во мне. Я опустился на колени и, поцеловав спокойные, слегка удивленные глаза Мадинэ, закрыл ее лицо разметавшейся чадрой... Слез не было. Была пустая беспросветная жуть и отчаяние. Моя первая и робкая мечта рассеялась, как дым.

— Сы... ын... мой... ты видишь... я был прав.

Я поднял голову. Надо мной, у стены, глотая слезы и дрожа всем телом, стоял Бен-Кадыр, он безнадежно прошептал:

— ... вы больше не увиделись. Мадинэ ушла из дома... за тобой.. и вот... — он протянул руку, указывая на труп, и горько зарыдал.

Опустив голову, я смотрел на лежавший у ног черный комочек, в котором еще час назад билось горячее сердце маленькой Мадинэ, так безгранично любившей меня...

Восход, алый как кровь, залил горизонт, и солнце, живое и горячее, победно вкатывалось на небосвод.

Трупы убраны. Раненые свезены на берег и размещены в селе. Пленные солдаты и слуги экспедиции также расположены в Сади-Кянте, и только членам экспедиции разрешено оставаться на судне.

От Али-Мардахана прибыли гонцы. Они поздравили нас с победой, весть о которой уже разнеслась за пределы села, и в свою очередь расска-

зали об уничтожении Ассирийского батальона, шедшего в Сади-Кянт. На рассвете, приблизительно в момент нашей атаки на монитор, луры Мардахана всеми своими силами обрушились на отдыхавший в Дизаке батальон и после короткого боя разгромили его. В коротеньком письме, присланном Амир-Афшару, Мардахан рассказывал перипетии боя и сообщил о скором приезде в Сади-Кянт.

Плечо ноет. Усталое тело жаждет покоя и сна, а опустошенное сердце неустанно напоминает мне несчастную Мадинэ.

— Брат мой... отдохни, успокойся. Помни, что твоя жизнь нам дороже всего, — ласково уговаривает меня Амир.

Я благодарю и вялой больной походкой спускаюсь вниз, в каюту. Я слишком устал и разбит событиями ночи, а эта ужасная смерть окончательно добила меня.

* * *

Когда я очнулся, я почувствовал у себя на плечах чьи-то руки. Я оглянулся. Сзади сидела княгиня. Обняв меня, она тихо плакала и, вся дрожа, бессвязно повторяла:

— Я люблю... я люблю тебя, Борис.

Я молчал... Апатия и мертвая тоска охватили меня. Передо мною встала мертвая Мадинэ с чуть удивленными неживыми глазами. Я опустил голову и тихо отвел в сторону руки княгини. Крупные слезы упали на меня, и быстрая бессвязная речь, похожая на бред сумасшедшей, полилась из ее губ:

— Не гони... я люблю тебя... пусть я скверная... продажная, но я люблю тебя... люблю в первый раз так, как никогда не умела любить. Борис, пожалей меня... ведь я так несчастна. Ниже, чем пала я, не падает никто, и все же я люблю... Те, что были, — это мишура, это болотные огни, пустые и холодные, блеск без огня, чужой и ненужный... а ты... ты сильный, ты могучий, такой, каких создает только мечта, ты сломал меня, как тонкий прут, и бросил обломки в разные углы... Борис, уже никогда я не буду той, которой была. Пожалей меня.

Я резко встал и, не оборачиваясь, пошел к двери.

Сзади, чуть слышно, почти беззвучно рыдала женщина.

* * *

В четыре часа приехал Мардахан. Его встретили Бен-Кадыр, Амир-Афшар и военачальники. После коротенького обеда было назначено военное совещание, на котором присутствовал и я.

Бен-Кадыр с удивительной силой подавил в себе скорбь о Мадинэ. Глаза его сухи, голос спокоен, а речь умна и осторожна. Обменявшись мнениями, мы пришли к решению не увлекаться выигранными победами, продолжать движение на Багдад и немедленно же обменять захваченную на мониторе экспедицию на арестованный Национальный Комитет. Через полчаса радиотелеграфист монитора связывался с радиостанцией Багдада,

а стоявший около меня взволнованный Вильбуа держал в руках коллективную петицию экспедиции, которая категорически требовала от британского начальства обмена, ссылаясь на свое подневольное положение.

В девять часов из Багдада получили ответ:

«На обмен согласны. Укажите пункт встречи.

Генерал-майор Дункан».

* * *

Утром под конвоем сотни луров экспедиция вместе со слугами и лейтенантом была переведена в оазис Джебель-Сорх, где через день должен был произойти обмен. На секунду я вспомнил о Слепцове и задержался мыслью на нем... но, странное дело, ничто не поднялось во мне, так безразлична была мне судьба всей этой экспедиции, вместе с ее демоническими княгинями, сладкоречивыми консулами и низкопробными провокаторами. Чтобы не встретиться ни с кем из этих господ, я сел на «Касатку» и шагом поехал за село... Когда я возвращался обратно, за поворотом дороги исчезала колонна, уводившая экспедицию в Дизак.

Мне показалось, будто на секунду вдали сверкнула голубая вуаль княгини...

* * *

Пустыня жарко дышала раскаленным зноем, и горячие пески пели свою вековую песнь...

Город Углич.

Г. Санников.

Борису Пильняку.

I.

Горяча заката киноварь,
Но сейчас я не о ней —
Я о лампе керосиновой,
Об уездной старине.

Пожилую, неприветную,
Закоптелую, в пыли,
Мне вчера подругу медную
Из чулана принесли.

За окном — соборов зодчество.
Город в сумрак отступал.
Я над лампой в одиночестве
До рассвета горевал.

И в бреду вставала молодость -
Ночи, зори, петухи,
Фитиля крутое золото
На мои лилось стихи.

В керосиновом сиянии,
Молод, прыток и упрям,
Я навек бросался в плаванья
По развернутым морям.

Я по странам неисхоженным,
Я по тропикам гулял,
Над стихами невозможными
И смеялся, и рыдал.

Помнишь, лампа, время зимнее,
Ночь, беспамятство снегов,

Девушке с глазами синими
Я нашептывал любовь.

При огне, огне прикрученном,
От избытка чувств и сил,
Я ее, в потемках мучая,
Упоительно любил.

Ты всему была свидетелем.
Но однажды, медный друг,
Догорела, не заметила, —
Я уехал поутру...

Годы шли крутые, быстрые,
В грозах, в битвах, в маяте.
Вся страна легла под выстрелы,
Мылась кровью, а затем...

Но об этом долго сказывать.
Жизнь — эпический роман.
Без меня в собранье хлама разного
Отнесли тебя в чулан.

Под портретом государевым,
Возле сваленных икон,
Отсияло твое зарево,
Схоронился медный звон...

Я не ждал, не чаял встретиться,
Много прожито, — и вот
В сентябре, осеннем месяце,
Мне пошел тридцатый год.

Остывает моя молодость.
Ну, и что же, — в добрый час!
Скоро я о днях размолотых
Напишу большой рассказ.

Воспою страну рассветную,
Оседлаю времена.
Керосиновая медная,
Никому ты не нужна.

Нынче всюду электричество.
О, бессонный друг ночей!
Я на память в Исторический
Передам тебя в музей.

Под таким-то черным номером,
Керосиновая медь,
Обо всем, былом, что померло,
Обо мне ты будешь петь.

Может, кто задетый заживо
Вспомнит дым далеких лет,
Как себя в ночах выхаживал
При твоем огне поэт.

Горяча заката киноварь.
Бредит город стариной
И во славе керосиновой
Потухает предо мной.

Углич. 1928 г.

Из цикла «Парижских стихов».

Павел Антокольский.

1. Вступление

Это цирк! Специально для храбрых туристов!
Бьется маска героя и чучело тьмы.
Здесь — когда-то. История! вышла!! на приступ!!!
Зажигала! Сердца!! затопляла! умы!!

Не жилище. А в дождь запряженный фургон.
Омнибус, нагруженный старьем гарпагонов.
Битой бронзой и мордами дохлых горгон.
Красноречьем Конвента и треском жаргонов.

Под дождем, как эбен, полирован и выжат
Для бесценных эссенций. В жилых этажах
Запах адских жаровен. Там — биржами движут.
А вот там — жалюзи, где когда-то Жан-Жак
Из Женевы...

И вот уже трубный! мажор!!
Марсельезы!!! И флаги и щеки обжор
Голубее чем небо, красней помидоров
И белее причастниц — в трехцветном поту.
И жара. И ползет омнибус в пустоту
Разгружать годовщины своих термидоров.

И не знаешь уже: это тексты Тацита
Или треск ситроеновых желтых цикад.
Все черно. И горят, как куски антрацита,
Тучи, женские платья и груды цитат.

2. Бульвар Сен-Мишель

— Здесь в тесных уличках Латинского квартала...
Так я хотел начать. Но старость этих стен
Учена, как схоласт. Она отбормотала
Давно все, что могла, по части всех систем

Здесь висельник Вийон шептал за кружкой пенной
Распутные рондо сорбоннским школярам,
Здесь, может быть, Бальзак, мрачнея постепенно,
Распутывал ходы житейских дрязг и драм.

Здесь было — почему не спать ночей! И время
В часы бессонницы для воспаленных глаз
Декартом сжатое в точнейшей теореме
Легло, достойное и бронз, и громких фраз.

Здесь... Но постой! Вернись к дыханью этой скуки,
В междуязычный гам, в международный шлак.
Под ветром треплется, как юбка потаскухи,
Когда-то молодой, республиканский флаг.

И вот. Едят и пьют. Ползут в музеи. Лезут.
На вышку Эйфеля. Болеют и блюют.
Вдыхают пудру, пыль и пепел Марсельезы,
Блуд мировых ревю, размер валют и блюд.

А может быть — затем и шла раскачка истин,
Стук ставок и костей, швыряемых в ничто,
Чтоб мир обугленный был юным ненавистен
И спешно отступал пред всяческой мечтой.

Но столько вышины и воздуха, вспенных
Смертями стольких слав... и тут, и там, и — над!
Так может для того и вешали Вийонов,
Чтоб **этот** висельник сосал свой ситронад!

Об итогах VI конгресса Коминтерна.

А. Лозовский.

Введение.

В ряду конгрессов Коммунистического интернационала VI конгресс занимает особое место. Это об'ясняется, с одной стороны, составом конгресса и с другой — характером и об'емом его работ. По количеству представленных на нем стран и партий VI конгресс превзошел все предыдущие конгрессы Коммунистического интернационала. В его работах принимали активное участие коммунистические партии не одной только Европы, но — что особенно важно — и колониальных стран, а также целого ряда стран Латинской Америки. С другой стороны, обращают на себя внимание широкий размах дебатов и огромное количество вопросов, занимавших внимание VI конгресса.

Но особенно большое значение приобретает VI конгресс Коминтерна потому, что им подвергнута подробному обсуждению и принята окончательно программа международного коммунизма, и что он собрался после четырехлетнего промежутка времени, отмеченного целым рядом событий мирового значения, которым пришлось подвести итоги. Достаточно указать, что от V до VI конгресса, т. е. от середины 1924 г. до середины 1928 г. произошло грандиозное развертывание великой китайской революции, с ее сменяющимися отливами и приливами; выступление, в качестве активной революционной силы китайского пролетариата. За эти же годы определился и оформился хозяйственный и экономический рост Советского Союза; произошла всеобщая стачка в Англии. В течение тех же лет была проведена в некоторых странах до конца, в других частично, капиталистическая рационализация и в значительной степени выполнена реконструкция производственно-капиталистического аппарата. Я не стану перечислять других событий, которые произошли на протяжении этих четырех лет, но достаточно и отмеченных, чтобы отдать себе отчет в том, насколько VI конгрессу важно было заняться подведением итогов всему тому, что произошло, учетом нового соотношения сил, создавшегося в новой обстановке. Конгресс не только подвел итоги, но он наметил также и пути дальнейшей борьбы для мировой коммунистической партии. Вот почему VI конгресс займет особое место в истории Коммунистического интернационала, в истории международного коммунистического движения.

Программа Коминтерна.

Важнейшим событием VI конгресса было принятие программы международного коммунизма. Может возникнуть вопрос: почему Коммунистический интернационал так поздно занялся выработкой своей программы? Коммунистический интернационал, как известно, был основан в марте 1919 г. Прошло 9½ лет, и вот только теперь, к десятилетию Коминтерна, принята программа. Почему же это не было сделано раньше?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо отдать себе отчет в том, что представляет собой программа Коммунистического интернационала, из каких частей она состоит, из какого материала программа Коминтерна должна строиться. Прежде всего программа представляет собой документ, предназначенный для всего мирового коммунистического движения. Программа должна дать ответ не только на основные проблемы, стоящие перед рабочими старых капиталистических стран или перед рабочими, свергнувшими власть капитала, но и на те вопросы, которые возникают у рабочих новых колониальных и полуколониальных стран, недавно вовлеченных в мировое рабочее движение. Вся совокупность проблем, стоящих перед мировым рабочим движением, в высшей степени сложна. Мы имеем перед собой рабочее движение разных возрастов, разных ступеней развития, развивающееся в различной обстановке и на основе разных социально-экономических укладов. С одной стороны, революционный, коммунистический, победоносный пролетариат СССР; с другой — пролетариат старых капиталистических стран со столетними навыками рабочих организаций и с значительным влиянием реформизма, и с третьей стороны — рабочее движение новых стран, оформившееся и возникшее только в послевоенный период. Таково рабочее движение Китая, Японии, Индии; рабочее движение Латинской Америки; рабочее движение черного континента; рядом с белым и желтым — и негритянский пролетариат, втягиваемый в процесс производства зубчатыми колесами империалистической системы. Программа должна представлять собой синтез нашей теории с нашей практикой. И только на основе синтеза марксистски-ленинской теории и практики мирового коммунистического движения всех стран может быть построена настоящая программа боевого Интернационала, каким является Коминтерн.

Элементы программы, отдельные куски, кирпичи программы создавались на протяжении этого десятилетия решениями конгрессов Коминтерна и практикой революционной борьбы. Но для выработки программы требовался известный окристаллизовавшийся опыт, ибо программа Коммунистического интернационала отличается от всех старых программ. В истории рабочего движения нам известен ряд программ — Эрфуртская программа германской социал-демократии, программа РСДРП, принятая на втором с'езде нашей партии в 1903 г., программа ВКП(б), принятая в 1918 г., программы отдельных партий: французской, австрийской и т. д. Все эти программы занимались по-преимуществу проблемами национального порядка, даже в том случае, если в общей части они давали и оценку капитализма, или, как в программе ВКП(б), оценку нового этапа капитализма, т. е. империализма.

Эти программы имели перед собой более узкие, территориально и национально ограниченные задачи и поэтому составлять их было легче. Наиболее интересной и приближающейся к программе Коммунистического интернационала является программа ВКП(б), которая была написана уже после Октябрьской революции, учла ее опыт и сделала из него ряд выводов. Но и эта наилучшая программа, которая в своей общей части ставит основные проблемы развития и краха империалистической системы, по необходимости замыкалась в определенные территориальные границы. Другое дело — программа международной коммунистической партии. Надо было накопить международный опыт, надо было на основе работ всех конгрессов Коммунистического интернационала, на основе практической борьбы в целом ряде стран, на основе опыта нашей Октябрьской революции, отдельных восстаний, гигантских социальных конфликтов и боев в капиталистических странах, колониальных восстаний и колониальных революций — надо было на основе этого богатейшего мирового опыта составить программу, которая дала бы ответ на основные вопросы международного коммунистического движения.

Первоначальный набросок программы, как известно, относится к IV конгрессу Коммунистического интернационала, к 1922 г. На V конгрессе в 1924 г. этот вопрос опять обсуждался. Но потребовался довольно длительный срок для того, чтобы можно было в математически сжатой форме изложить все основные проблемы и учесть мировой опыт коммунистического и революционного рабочего движения.

Создание программы для всего мирового рабочего движения представляло собой колоссальные трудности. Вот почему выработка программы, обсуждение ее, работа программной комиссии отняли не меньше половины рабочего времени VI конгресса. Прежде всего возник вопрос: программа или манифест? Мы имеем манифест коммунистической партии, написанный Марксом и Энгельсом, и многие товарищи в программной комиссии предлагали вместо программы манифест. Если бы дело шло только о форме, тогда можно было бы быстро притти к соглашению. Но товарищи, ставившие вопрос о манифесте, говорили о том, что программа Коминтерна не должна быть всеоб'емлющей; она не должна заниматься всеми основными вопросами мирового рабочего движения, она должна быть краткой; некоторые даже определяли количество страниц. Она должна быть краткой, в высшей степени сжатой, должна только схематически наметить некоторые основные принципы, а потом уже дело коментаторов — все раз'яснить, написать необходимые брошюры и книги для всеобщего употребления. Но когда мы приступили к обсуждению вопроса о содержании программы, то оказалось, что даже те, кто предлагал вместо программы принять манифест, и даже короткий манифест, стремились в тот самый манифест вставить примерно те же самые вопросы, которые намечались в программе. А раз об'ем вопросов остается, приблизительно, один и тот же, то уже название не играет особенно большой роли. Если под манифестом понимать воззвание, тогда, конечно, есть разница. Но поскольку сторонники манифеста ставили перед собой в качестве образца манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса, т. е. тот документ, на

котором воспитывались целые поколения, документ, который является исходным идеологическим моментом для всего мирового революционного и коммунистического рабочего движения, — то совершенно естественно, что грань между манифестом и программой стирается.

Программа должна была учесть весь опыт мирового коммунистического движения. Это одно. Кроме того программа должна в очень сжатой, как я уже говорил, математически сжатой, форме дать ответ на все основные вопросы мировой политики, мировой экономики, стратегии и тактики мирового рабочего движения. Известно, что чем короче документ, тем больше времени требуется на его составление; программа же является как раз такого рода документом, который надо писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. И в этом, несомненно, очень большая трудность. В программе словам должно быть тесно, а мыслям просторно, т. е. на минимальном количестве страниц надо дать максимальное количество идей, дать максимальное количество учтенного опыта под углом зрения революционного марксизма.

Я не собираюсь излагать здесь программу. Она напечатана целиком в окончательном виде в «Правде» от 4 сентября. Каждый ее должен прочитать и не только прочитать, но и перечитать, не только перечитать, но и изучать и прорабатывать. Поэтому излагать ее не имеет никакого смысла. Да вообще программу излагать своими словами нельзя. Надо взять текст и изучать программу, абзац за абзацем, главу за главой. Я хочу здесь остановиться лишь на тех вопросах, которые затронуты в программе Коммунистического интернационала.

Программа Коммунистического интернационала не только учитывает опыт последних десяти лет, но и воплощает в себе опыт мирового рабочего движения, начиная с I Интернационала. В этом отношении, как и во всех других, III или просто Коммунистический интернационал является прямым продолжателем I Интернационала. Кроме того, III Интернационал впитал в себя все то лучшее, что было также и в довоенном II Интернационале. Таким образом программа Коммунистического интернационала, построенная на основе революционного марксизма, впитавшая в себя теорию и практику мирового рабочего движения долгих десятилетий, дает ответ на все вопросы мировой политики, мировой экономики и, в связи с этим, на вопросы стратегии и тактики мировой коммунистической партии и отдельных коммунистических партий. При построении программы возникает вопрос о том, должна ли программа Коминтерна содержать только программу-максимум или она должна также ставить перед мировым рабочим движением и очередные проблемы. Ограничиться ли только программой, лишь анализом мировой политики, мировой экономики, анализом тенденций развития империализма, его неизбежным крахом и указанием на цели борьбы, или нужно также указать и на пути борьбы, на очередные задачи, которые стоят перед рабочим классом разных стран? Иначе говоря — должна ли программа включать также и переходные и очередные требования и т. д.? На IV конгрессе Коммунистического интернационала по этому вопросу были разно-

гласия, сейчас на эту тему разногласий не было. Для всех было совершенно очевидно, что нельзя из программы выделить пути и способы борьбы — они неотделимы от нашей конечной цели. Соединение борьбы за диктатуру пролетариата, борьбы за коммунизм с повседневной борьбой рабочего класса является абсолютной необходимостью. Такого рода синтез не вызывал никаких сомнений. Но нельзя смешивать переходных лозунгов с очередными требованиями. На этот счет существует значительная путаница, особенно в германской партии, и поэтому особо выделены и разработаны задачи переходного периода, т. е. периода после установления диктатуры пролетариата (пролетарская национализация земли, промышленности и проч.), и очередные требования, которые рабочий класс выставляет и за которые он борется еще до завоевания им власти (7-часовой рабочий день, всеоб'емлющее социальное законодательство и проч.). Такое построение программы означает, что компартии не могут и не должны до завоевания власти пролетариатом выставлять такие лозунги, как, например, национализация промышленности, национализация банков и проч.

Насколько широк круг вопросов, охватываемых программой, видно из простого перечня затрагиваемых ею проблем. Вот важнейшие из них: общие законы движения капитализма и эпоха промышленного капитала, эпоха финансового капитала, силы империализма и силы мировой революции, империализм и крушение капитализма, мировая война и ход революционного кризиса, революционный кризис и контрреволюционная социал-демократия, кризис капитализма и фашизма, противоречия капиталистической стабилизации, конечная цель Коммунистического интернационала, переходный период и завоевание власти пролетариатом, диктатура пролетариата советская ее форма, основы экономической политики пролетарской диктатуры, борьба за мировую диктатуру пролетариата и колониальные революции, строительство социализма в СССР, основные задачи коммунистической стратегии и тактики и ряд других.

При таком построении программы в нее можно было включить все основные проблемы и дать марксистско-ленинский ответ рабочим всех стран, коммунистическим партиям разного уровня развития на основные вопросы, которые интересуют и не могут не интересовать их. Этот об'ем программы вытекает, как я говорил, из проделанного нами опыта. Программа — это итог развития революционного марксизма, применение революционного марксизма на практике; программа содержит квинт-эссенцию теории и практики Ленина и нашей партии. Эта же программа учитывает как отрицательный, так и положительный опыт революционного движения капиталистических стран и колониальных восстаний и революций.

Если сравнить идеологическую работу, которую проделал Коминтерн за время своего существования, с тем, что имеется в лагере II Интернационала, то мы увидим гигантскую разницу между этими двумя Интернационалами. II Интернационал живет со дня на день: он занимается крохоборством не только политическим, но и идейным. Для II Интернационала вопрос о международной программе даже не стоит. Те программы, которые разработаны

отдельными партиями, наиболее крупными партиями II Интернационала, как программа германской социал-демократии, принятая на последнем ее с'езде, программа австрийской социал-демократии, т. е. программы тех двух партий, которые еще носят формальное наименование марксистских, показывают, что партии II Интернационала и сам II Интернационал растеряли не только свой политический багаж, но и всю социалистическую идеологию. Программа II Интернационала, если бы такая мировая программа была создана, должна была бы быть построена не на классовой борьбе, а на классовом сотрудничестве. Как мы в нашей программе учли опыт революционного движения всех стран, опыт колониальных восстаний, опыт нашей революции, так и II Интернационал должен учесть свой опыт: пребывание у власти германских социал-демократов, пребывание у власти английской Рабочей партии, подавление революционных восстаний, сотрудничество в Лиге наций, поддержку Версальского мира, плана Дауэса, поддержку капиталистической рационализации, срыв забастовок, саботаж колониальных революций и поддержку империалистической политики восхвалений хозяйственной демократии и обязательного арбитража и открытой пропаганды классового мира. Опыт II Интернационала при честной формулировке того, что есть, должен привести не только к формальному отказу от классовой борьбы, что сделано уже отдельными партиями, но и к отрицанию классового строения общества, к замене классовой борьбы промышленным миром, диктатуры пролетариата — буржуазной демократией, и поэтому программа II Интернационала не может не быть программой буржуазного радикализма. Можно сказать, не рискуя ошибиться, что II Интернационал боится довести до конца, или, если хотите, отлить в теоретическую форму свою убогую практику, боится тех рабочих, которые еще идут за ним.

Международная социал-демократия сейчас переживает особо острый период классового сотрудничества, который носит в разных странах разные наименования: промышленный мир — в Англии, хозяйственная демократия — в Германии и т. д. Характерно, что за последнее время немецкие реформистские зубры сочли необходимым внести корректив в свой лозунг — хозяйственная демократия. Хозяйственная демократия, по их мнению, есть равноправие труда и капитала в условиях капиталистической системы. Но хозяйственная демократия, пусть куцая, но все же система. Германские зубры сейчас заменили эту мало почтенную, не социалистическую, чисто буржуазную теорию еще более каучуковой, более эластичной формулировкой — демократизация хозяйства. Демократизация хозяйства осуществляется постепенно, по кусочкам, в рассрочку, через представительство профсоюзов, в контрольных органах над трестами, через участие в правлениях акционерных компаний, в арбитражных органах буржуазного государства и т. д. Реформисты уверяют, что в конечном счете из всего этого получится социализм. Но на такой теории и практике национальную программу трудно построить, а международную еще труднее. Я не стану опровергать эту теорию, она опровергается всем ходом развития классовой борьбы во всех капиталистических странах. Программа II Интернационала, если она будет напи-

сана, ничем не будет отличаться от программы любой радикально-буржуазной партии, а между тем II Интернационалу нужно соблюдение словесности, традиций в области революционной фразеологии — нужно, чтобы сохранить свое влияние на часть рабочего класса. Отсюда и очевидная двусмысленность в формулировках национальных программ и отказ от создания международной программы, ибо II Интернационал не является международной организацией в настоящем смысле этого слова. В международной организации интересы отдельных национальных частей подчиняются интересам целого, т. е. интересам международного пролетариата, а во II Интернационале мы наблюдаем как раз обратное: на первое место выступают интересы своего отечества, своего государства, своей промышленности и проч.

На конгрессе ставился вопрос: можно ли сейчас создать такую программу, которая имела бы длительное значение. Некоторые товарищи спрашивали: «а если возникнут еще две-три революции в Европе и возникнет целый ряд новых пактов, которые заставят изменить некоторые разделы или пункты программы — тогда что?». Конечно, если еще возникнут две-три революции и если революционная жизнь, если пакты покажут, что некоторые отдельные части программы нужно менять, ну что же — переменим. Жизнь, конечно, сильнее. Но на основе того опыта, который имеется в настоящее время, на основе опыта революционных событий, на основе нашей теории мы можем и имеем право сказать, что это — документ длительного значения.

Конечно, рядовому читателю не легко овладеть программой. Ведь приходилось выработать документ очень сжатый и максимально уплотненный. Хотя этот документ должен быть доступен как члену партии в СССР, так и рядовому коммунисту Китая, Японии, Филиппинских островов, Соединенных штатов, англо-саксонских и балканских стран, он, тем не менее, не отличается одинаковой для всех доступностью. На широкую общедоступность программа и не может рассчитывать: некоторое напряжение потребуется от каждого рядового члена Коммунистического интернационала, в том числе и нашей партии, чтобы программу понять и ее продумать. Дело специальных книг и брошюр изложить программу проще и популярнее, сделать отдельные ее части и главы общедоступными для каждой страны. Во всяком случае мы имеем полное право утверждать, что документ, выработанный и принятый VI конгрессом Коминтерна, является не только этапом развития коммунистического движения нашей международной боевой партии, но и крупнейшей вехой на пути развития международного рабочего движения, которое на протяжении десятков лет не знало еще такого законченного и всеоб'емлющего документа. Это — документ всемирно-исторического значения, документ, который на протяжении ближайших десятилетий будет служить путеводной звездой для эксплоатируемых классов и угнетенных народов всего мира, документ, который станет достоянием десятков миллионов пролетариев всех наций, всех рас и всех континентов.

Текущие проблемы мирового коммунизма.

Программа рассчитана на долгий срок, ее задачи — установить вехи развития и дать общую линию поведения. Но конгресс не мог ограничиться только программой; он должен был дать ответ на все те вопросы, которые сейчас стоят перед мировым рабочим движением. Для того, чтобы определить политическую ориентировку международного коммунистического движения, в основной резолюции по 1-му пункту порядка дня о «международном положении и задачах Коммунистического интернационала» дается прежде всего оценка тех изменений, кои произошли в народном хозяйстве капиталистических стран и СССР. Конгресс подвел итоги капиталистической рационализации, развитию техники, развитию новых форм и новых методов эксплоатации путем реконструкции производственного аппарата. Необходимо было также дать ответ на вопрос о стабилизации, которую мы на прошлых конгрессах характеризовали «непрочной», «неустойчивой» и т. д. Ибо, несмотря на эту оценку, приходится констатировать, что капитализм за последние несколько лет упрочился. Изучая то, что произошло за это время в главных капиталистических странах, мы должны признать, что в первую голову в Германии, где капитализм был наиболее расшатан, сделан целый ряд успехов по линиям реконструкции всего производственного аппарата, применения новых форм и методов рационализации производства, завоевания новых рынков, укрепления предпринимательских организаций, усиления эксплоатации и изыскания новых форм и методов воздействия на рабочий класс, использования социал-демократических партий и реформистских союзов для дезорганизации и ослабления боеспособности рабочего класса и т. д. Не видеть всего этого только потому, что мы жаждем скорейшего развала капитализма, было бы не большевистским подходом к разрешению стоящих перед нами задач. Вот почему основные тезисы VI конгресса начинают с анализа положения, в котором сейчас находится мировое хозяйство, и констатируют целый ряд успехов, достигнутых капиталистами за счет рабочих в области рационализации, применения новых форм и методов производственных процессов и т. д. Учитывая ряд новых явлений, новые факты капиталистической рационализации, которая проводится в одной стране в большей, а в другой — в меньшей степени, конгресс Коминтерна исследовал эти новые явления со стороны их влияния, во-первых, на взаимоотношения между государствами, во-вторых — на взаимоотношения между классами и, наконец, — на соотношение сил внутри самого рабочего класса. Налицо известное укрепление капитализма, но укрепление, добытое ценою усиленной эксплоатации и нажима на рабочий класс и вызвавшее ряд новых процессов, которые привели к новым неразрешимым внешним и внутренним противоречиям, толкающим весь капиталистический мир, всю капиталистическую систему к неизбежному краху.

В области международных отношений обновление производственного механизма и рационализация производства привели к обострению конкуренции на мировом рынке. Борьба за рынки, борьба за зоны и сферы влияния

с каждым днем все обостряется и ставит целый ряд новых проблем; она толкает империалистических гигантов к военному конфликту со всеми вытекающими из него социальными последствиями. Достаточно указать на новую перегруппировку сил в Европе, на последнее соглашение между Францией и Англией, которое представляет собой открытый оборонительный и наступательный союз. Это англо-французское соглашение обусловлено возрастающей экономической и политической ролью Германии в международных отношениях, а также усиливающейся экономической и политической агрессивностью Соединенных штатов. Получается новая перегруппировка сил, и на основе ее создаются еще более острые, еще более глубокие противоречия, выход из которых — только в новом столкновении, в новой мировой бойне. На это и обратил особое внимание VI конгресс, подчеркивая быстрое нарастание новых международных противоречий, возникших на почве тех новых явлений, о которых я говорю.

Как я уже сказал, эти новые явления отражаются не только во в н е, но и в н у т р и отдельных государств, — отражаются по двум линиям: прежде всего по линии обострения классовой борьбы и перегруппировки сил в недрах рабочего класса. Что означает капиталистическая рационализация производства? Это означает прежде всего выталкивание миллионов рабочих из процесса производства. Это означает установление п е р м а н е н т н о й безработицы, как, например, в Англии. Английская безработица означает, что о п р е д е л е н н ы й п р о ц е н т р а б о ч и х, сверх обычной нормальной капиталистической безработицы, с т а н о в и т с я просто и з л и ш н и м, выбрасывается из производства. Одновременно с этим совершается новый процесс и по линии и з м е н е н и я с о с т а в а рабочего класса. Новейший конвейер, вся сумма производственно-технических усовершенствований втягивает в производство новые слои необученных и полуобученных рабочих, громадные слои женщин и подростков. Капиталистическая рационализация меняет таким образом структуру рабочего класса, и так как всякая капиталистическая рационализация проводится за счет рабочих, то в них и начинает развиваться тот процесс, который мы характеризуем, как процесс п о л е в е н и я.

На наших глазах происходит любопытная эволюция всех буржуазных государственных форм. Эта эволюция неизменно уклоняется вправо и приводит к созданию таких государственных форм, при которых буржуазия легко переходит от подавления рабочего движения старыми методами буржуазной демократии к открытому насильственному подавлению пролетариата. Класс стоит против класса. С другой стороны происходит открытое сближение и сращение между предпринимательскими организациями и государством. Государство открыто становится орудием крупнейших трестов, финансовых комбинатов и крупнейших концернов. Оно действует по их непосредственным и прямым указаниям. В некоторых странах, как Италия, Польша, эта эволюция государственных форм принимает специфический характер, известный под именем фашизма. Что представляет собой фашизм, и чем он отличается от обычной реакции? Мы можем сказать, что всякий фашизм — это

реакция, но не всякая реакция — фашизм. Фашизм представляет собой такую разновидность реакции, при которой подавление рабочего движения производится не только насилием, но еще и особыми методами коррупции, развращения отдельных слоев крестьян, с одной стороны, попытками создать свои рабочие организации, через которые возможно было бы лучше ослабить, разложить, дезорганизовать рабочий класс, с другой. Таковы фашистские профсоюзы в Италии, фашистские союзы в Польше и т. д. Но фашизм, начавшийся в Италии с демагогии, с обращения к крестьянам и даже рабочим со всякого рода очень радикальными обещаниями, сейчас представляет собой совершенно открытую диктатуру крупного промышленно-финансового капитала и аграриев, диктатуру, которая пытается опереться еще на некоторые организации, вовлекая отдельных, наиболее отсталых рабочих в деревнях и бывших реформистских лидеров для того, чтобы через них ослабить сопротивление рабочего класса. Страны фашизма открыто громят рабочие организации, буржуазные демократы разлагают рабочий класс, превращая социал-демократические и реформистские профсоюзы в свою агентуру, в аппарат буржуазного государства, действующий внутри рабочего класса. Вспомним «мир в промышленности», «хозяйственную демократию», «принудительный арбитраж» и прочие прелести буржуазно-реформистской кухни.

На этой почве и происходит в рабочих массах то, что мы называем **полевением**. Но почему нет революции, если есть полевение? — спросят нас. Дело в том, что когда мы говорим о полевении рабочего класса, то это не значит, что движение влево идет, ни на иоту не уклоняясь от раз принятого направления. Возьмем Германию. Там, несомненно, происходит полевение рабочих масс, а между тем на последних выборах социал-демократия получила 9 миллионов голосов, а коммунисты только 3 200 000. То же самое видим в Англии. Итак, идет полевение рабочего класса, а между тем старые, исторически сложившиеся, рабочие организации (реформистские профсоюзы, социал-демократические партии) еще охватывают значительные слои рабочих, удерживая их под своим идеологическим и политическим влиянием. Тогда в чем же выражается полевение? Полевение заключается в том, что рабочие внутри своих организаций, внутри этих социал-демократических партий и реформистских союзов бунтуют против теории и практики реформизма. Это одна форма полевения. С другой стороны, мы замечаем такое любопытное явление: значительные слои рабочих, которые на протяжении довольно длительного времени голосовали за либералов или за консерваторов в Англии, за католиков и либералов в Германии, или за радикалов во Франции, отходят от этих партий и несколько сдвигаются влево, т. е. от католиков к социал-демократам, от консерваторов к лейбор-партии в Англии и т. д. Конечно, тут полевение незначительное, потому что Рабочая партия в Англии очень мало отличается от либеральной партии. Но тут надо считаться с тем, что когда рабочий начинает двигаться справа налево, то на станции «социал-демократия» он не может долго задержаться. Самое трудное — это начало сдвига, а дальше в общем этот сдвиг продолжается в том же направлении уже автоматически. Наконец, сдвиг влево

находит свое выражение в росте политического и организационного влияния компартии и революционных союзов, в росте симпатий со стороны широких рабочих масс к идее единого фронта налево. В Германии, например, этот процесс очень своеобразен: с одной стороны, растет коммунистическая партия, а с другой — растет на выборах социал-демократия за счет католиков. Можно ли говорить при таких условиях о полевении рабочего класса? Несомненно. Но процесс этот длительный, медленный и болезненный, потому что в старых капиталистических странах имеются гигантские политические и профессиональные организации, которые задерживают этот процесс полевения, идеологически разлагают его. Особенно большими мастерами по этой части являются так называемые левые социал-демократы. Впрочем, в последнее время возмущение рабочей массы буржуазной политикой социал-демократии переливается уже через край, и таково уже настроение масс, что для выявления внутренних противоречий, накопляющихся в социал-демократических партиях и реформистских союзах и прикрываемых оболочкой реформистского благополучия, достаточно одного какого-нибудь факта. Таким фактом является недавнее голосование социал-демократических министров в Германии за постройку нового броненосца. Казалось бы, что по сравнению с тем, что в свое время делала германская социал-демократия, это пустяки. Разве германские социал-демократические министры (Носке и К°) не убивали десятки тысяч революционных пролетариев? Разве социал-демократические министры не занимались удушением революционного рабочего движения в Германии? Припомните 1919—1920 гг., когда под руководством социал-демократа Носке в Германии было перебито больше 20 000 рабочих. А между тем мы имеем сейчас буквально в о с с т а н и е рабочих внутри германской социал-демократии как раз по этому вопросу. Очевидно, голосование за броненосец представляет собой ту каплю, которая переполнила чашу терпения десятков и сотен тысяч рабочих, идущих еще за социал-демократией и голосовавших за нее на последних выборах. О чем свидетельствует это? О случайном, скоропреходящем переживании определенной группы социал-демократических рабочих? Нет, это свидетельствует о глубочайшем недовольстве масс; а это и есть то, что мы называем полевением. Полевение масс свидетельствует о том, что произошла серьезная передвижка сил внутри самого рабочего класса. Изменилось отношение сил в нашу пользу, в пользу революции.

Но не следует переоценивать ни размеров, ни темпа этого сдвига. Мы имеем несомненно полевение, мы имеем несомненно рост коммунистического влияния коммунистических партий. Но, с другой стороны, в ряде стран произошло укрепление буржуазии, которая нанесла не мало очень серьезных поражений рабочему классу. Наконец, налицо ряд поражений также в колониальных странах (Китай), где первые атаки наступающей революции отбиты.

Конгресс прошел под флагом самокритики и совершенно откровенно вскрыл существующие во всех странах слабости, недостатки и недочеты. Это было указано в прениях, в общей части резолюции, и при определении задач по отдельным странам. Основная, наиболее характерная слабость международного коммунистического движения заключается в д и с п р о п о р-

ции между политическим влиянием и организационным закреплением этого влияния. Надо, конечно, принять во внимание совершенно исключительные трудности, в которых коммунистическим партиям приходится вести борьбу. Из 50 партий, представленных на VI конгрессе, больше половины партий — нелегальных. В тех странах, где партии еще легальны, как Германия, Англия, Франция, Чехо-Словакия, Соединенные штаты Северной Америки, партийные ячейки на предприятиях также нелегальны. Ибо достаточно предпринимателю узнать через провокатора, через шпика состав ячейки, как ячейку целиком выметают из предприятия. Такие факты десятками известны во Франции, в Германии и других странах. Мы наблюдаем крайне своеобразное положение, когда партия существует легально, имеет представителей в парламенте, имеет свою легальную прессу, свои местные легальные партийные организации, а ее низовые органы, фабрично-заводские ячейки, все нелегальны. Надо дальше принять во внимание жестокий террор и преследования коммунистических партий, представляющих единственную подлинную силу, противостоящую растущей реакции, об'единенному фронту буржуазного государства, предпринимателей и социал-демократии. Многим нелегальным партиям часто бывает об'ективно трудно реализовать свое политическое влияние, отлить его в организационные формы, закрепить его. Но кроме об'ективных трудностей имеется еще ряд серьезных суб'ективных промахов, ошибок, недостаток опыта и проч. Все это сказывается на состоянии коммунистических партий, все это было учтено на VI конгрессе Коммунистического интернационала. Вот на основе учета соотношений между государствами, соотношений между классами, соотношения сил внутри рабочего класса и оценки удельного веса компартий и революционных союзов, VI конгресс и разработал тактическую установку и наметил основные задачи Коммунистического интернационала.

Международный коммунизм и война.

Из оценки современного положения и связанного с ним нарастания и обострения международных конфликтов VI конгресс пришел к выводу, что в центре внимания всего международного рабочего движения следует поставить военную опасность. Известно, что II Интернационал, являющийся тенью господствующих классов, отрицает близкую опасность войны. Известно, что выступления на нашем конгрессе по поводу военной опасности были встречены очень враждебно не только капиталистической, но и реформистской печатью. Но эта позиция наших врагов лишь сильнее убеждает нас в правильности нашего прогноза. Мы однако не хотим сказать, что война будет завтра, послезавтра, мы только говорим, что должны готовить рабочий класс к надвигающейся войне, чтобы Коммунистический интернационал и его партии не были застигнуты врасплох. Но как раз по антимилитаристской линии у нас и наблюдается наибольшая слабость. Я припоминаю, что когда я в числе других делегатов ехал в 1922 году на Гаагский конгресс мира, который был созван Амстердамским интернационалом, Владимир Ильич дал нам на дорогу

письменную инструкцию. В этой инструкции Владимир Ильич писал, что надо бороться с предрассудком, будто борьба против войны — вещь очень легкая. А такие предрассудки в наших рядах еще существуют. В некоторых наших партиях есть члены, которые думают, что можно приступить к борьбе против войны, когда она разразится; что достаточно пригрозить стачкой, чтобы избежать войны и т. п. Вообще по этой части у нас не все благополучно. Почему? Потому, что в широких массах европейско-американского пролетариата нет ощущения надвигающейся войны. Рабочие недавно пережили мировую войну, в них еще живы подогреваемые социал-демократией иллюзии, что после пережитой бойни другая война уже невозможна. Это отсутствие в массах ощущения близости войны является в значительной степени результатом проповеди социал-демократии, которая вообще отрицает надвигающуюся войну. Пацифистские иллюзии в массах в известной мере поддерживают пассивность даже в некоторой части наших собственных товарищей. Но международная обстановка насыщена запахом пороха. Фактическая война на Дальнем Востоке, глухая, но все обостряющаяся борьба между Англией и Соединенными штатами, пороховой погреб на Балканах, попытки Англии создать «пояс безопасности» против СССР, т. е. об'единение сил смежных с нами государств — Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Чехо-Словакии, — растущая ненависть капиталистического мира к республике Советов, — все это ставит перед нами вопрос о надвигающейся войне, о необходимости готовиться к этому новому побоищу, каждодневно готовиться.

Конгресс подчеркнул с особой силой, что необходимо мобилизовать широчайшие массы международного пролетариата под лозунгом «надо уже сейчас начать готовиться к войне». Тезисы, принятые по этому вопросу, и прения, имевшие место на конгрессе, свидетельствуют о том, что Коммунистический интернационал очень серьезно подходит к военной опасности и ставит перед всеми партиями вопрос о борьбе против нее, как одну из очередных задач нашей политики. Конгресс не ограничился только принятием тезисов. Перед конгрессом встал вопрос о том, как об'единить все силы Коммунистического интернационала в борьбе против войны. В связи с этим возникла идея организации международного дня борьбы против войны. Этот международный день борьбы против войны, который будет впоследствии назначен Исполкомом Коминтерна, должен быть днем одновременных выступлений во всех странах. Все партии должны уже сейчас начать борьбу против войны, уже сейчас готовить широчайшие массы, организовывать рабочих военной промышленности (металлургия, авиация, химические заводы и т. д.). Надо уже сейчас готовить рабочий класс к тому, чтобы в определенный день, когда Коммунистический интернационал даст лозунг борьбы против войны, можно было во всех странах вывести на улицы широчайшие массы. Организация такого дня решена. Дата не назначена. Это сделает Исполком Коммунистического интернационала. Важно, что в принятой резолюции сказано о том, что необходимо уже сейчас начать подготовку масс к этому дню. Нужно уже сейчас приступить к упорной систематической борьбе против войны, чтобы не быть застигнутым врасплох в случае возникновения военных

действий. Бороться против войны — это значит бороться прежде всего против буржуазии и социал-демократии своей страны. Бороться против войны можно только лишь на основе жесточайшей классовой борьбы, готовя массы к превращению империалистической войны в войну гражданскую; бороться против войны надо не пустыми пацифистскими или революционными угрозами, а повседневной, кропотливой работой по организации масс до войны и в период военных действий, — вот что сказал VI конресс Коминтерна. Эти указания в высшей степени важны для компартий всех капиталистических стран.

Колониальный вопрос на VI конгрессе.

В программе и в тезисах по первому пункту порядка дня колониальный вопрос занимает большое место. Тем не менее этот вопрос стоял отдельным пунктом в порядке дня, ибо колониальный вопрос из области теории перешел в область практики. Коммунистический интернационал всегда занимался положением колониальных и полуколониальных стран. На II конгрессе докладчиком по колониальному вопросу был Ленин. Но между II конгрессом и VI есть большая разница. В 1920 г. Ленин ставил целый ряд проблем в предвидении колониальных восстаний и революций. Нам на VI конгрессе приходилось учитывать опыт восстаний и гигантской китайской революции. Вторая разница заключается в том, что когда на II конгрессе Коммунистического интернационала ставился вопрос относительно нашей линии в области колониальных проблем — в колониях пролетариат еще не выступал, как решающая революционная сила, компартий там еще не было. Между тем сейчас мы имеем перед собой уже опыт китайской революции, где пролетариат играет очень важную роль; имеем опыт серьезных боев в Индонезии; имеем опыт гигантской стачечной массовой борьбы в Индии. Мы имеем перед собой серьезные выступления пролетариата колониальных стран в качестве основной революционной силы, руководящей силы в борьбе против иностранной и национальной буржуазии.

Вот эти особенности нынешнего положения и послужили основанием для того, чтобы поставить колониальный вопрос отдельным пунктом в порядке дня и отдельно его обсудить. Из всей совокупности вопросов, которые возникают перед нами в связи с революционным движением в колониях, я затрону только два вопроса: вопрос о деколонизации, который вызвал на конгрессе большие прения, и вопрос о взаимоотношениях между пролетариатом и буржуазией в колониях.

Прежде чем перейти к этим вопросам, я хотел бы отметить следующее: когда мы говорим о колониях и полуколониях, мы иногда слишком суммарно подходим к этому. Колонии — это две трети человечества. Колонии отличаются между собою и по уровню своего индустриального развития, по степени классовой диференциации, по системе общественных отношений, социально-экономическим укладам и т. д. Если мы об'единяем эти две трети человечества в общую рубрику колониальных стран, то только в том смысле, что над этими внутренне разнообразными странами тяготеет сила империализма,

которая их эксплоатирует в разных формах, разными методами, но эксплоатирует в интересах господствующих классов империалистических держав.

Вопрос относительно нашей тактики в колониях тесно связан с вопросом о том, что представляют собой сейчас колонии. Колонии на протяжении сотен лет были и остаются по сей день об'ектом иностранной эксплоатации, они служили, главным образом, аграрным тылом, причем политика империализма заключалась в том, чтобы не давать развиваться промышленности в колониях и увековечить этим их зависимость от метрополии. В этом заключалась политика империализма на протяжении всего времени существования колониальных стран. И если в колониальных и полуколониальных странах начала развиваться промышленность, то не потому, что империализм считал это для себя выгодным, а потому, что он не мог воспрепятствовать этому. В Индии благодаря войне, в Китае благодаря соперничеству империалистов промышленность стала серьезным фактором в общей экономике страны.

В связи с развитием промышленности в колониях, в социал-демократических кругах возникла теория деколонизации. Эта теория заключается в следующем: по мере развития индустриализации в колониях, по мере роста и развития народного хозяйства колоний, они будут так сказать автоматически становиться политически самостоятельными. Колонии превратятся в доминионы, а это де есть уже независимость. Отсюда отказ от борьбы за независимость, которая и сама придет. Эта теория явно некоммунистическая. Если вопрос этот дебатировался на конгрессе Коминтерна, если некоторые товарищи в пылу полемики обвиняли других, что те отстаивают теорию деколонизации, то потому, что по данному вопросу, с моей точки зрения, выявилось две крайности, которые вместо реального учета того, что есть в колониях, занимались вопросами о том, что будет впоследствии. Если под деколонизацией разуметь медленное постепенное освобождение колоний от метрополии, автоматическое, без революционной борьбы, превращение колоний в независимую страну, то сторонников деколонизации на конгрессе не было, да и не могло быть.

Есть ли развитие промышленности в колониях или нет? По этому вопросу на конгрессе было много споров: одни договорились до того, что есть развитие промышленности, но нет индустриализации. Это спор из-за слов. Развитие промышленности и индустриализация одно и то же. Если взять индустриализацию, как у нас — по определенному плану и системе,— то, конечно, этого в колониях нет и быть не может. Но мы не можем переносить того, что происходит у нас, на отношения, имеющиеся в колониях. Когда мы говорим относительно индустриализации колоний и развития там промышленности, мы имеем в виду проникновение капиталистических отношений в колонии вопреки империализму. Мы имеем за последнее время благодаря выросшему соперничеству между Северо-Американскими Соединенными Штатами и Англией проникновение капиталов в колонии, создание гигантских каучуковых и хлопчато-бумажных плантаций, которые охватывают сотни тысяч гектаров, организацию добычи нефти, руды и т. д., а в некоторых

колониях происходит развитие текстильной промышленности (Индия, Китай). Проникновение капиталов происходит в различных формах, но благодаря этому проникновению на историческую сцену появляется пролетариат, носитель революции, под руководством которого должно произойти преобразование колоний в самостоятельные независимые страны.

Если мы возьмем даже такие колонии, как африканские (не Южную Африку, где уже давно есть промышленность), например, Бельгийское Конго и Либерию, Золотой Берег (Западная Африка), то увидим, что и там происходит проникновение английских, американских и бельгийских капиталов и что уже десятки тысяч негров втянуты в капиталистическое хозяйство, и что оформляется местный негритянский пролетариат. В этом и есть особенность нынешней стадии развития колоний. На этот пролетариат мы и ставим ставку. По отношению к целому ряду колоний мы говорим о диктатуре пролетариата и крестьянства, а для этого — нужен пролетариат, необходимой предпосылкой которого является развитие промышленности. Вот почему споры, имевшие место на конгрессе Коминтерна вокруг деколонизации и индустриализации, получили по-моему неверное направление. Нужно было себе уяснить, что делается в той или иной колонии; определить размеры ее промышленности, численность пролетариата, его удельный вес — и уже в зависимости от полученных результатов намечать программу для данной страны.

Дальнейшие интересующие нас вопросы о колониях — это вопросы о характере революции и взаимоотношении пролетариата и национальной буржуазии. Замечательно, что когда ставился вопрос относительно социально-экономического содержания революции, и мы, исходя из данного соотношения сил, пришли к заключению, что Китаю, Индии и целому ряду других колоний предстоит пережить буржуазно-демократическую революцию и выдвинули лозунг диктатуры пролетариата и крестьянства, то многие коммунисты видели в таком определении колониальных революций как бы попытку сдержать размах революции и умалить роль коммунистических партий. Разве может компартия играть руководящую роль в буржуазно-демократической революции? — спрашивали они. Выходило как будто так, что коммунистическая партия может руководить только социальной революцией. Здесь надо раз'яснять многим товарищам, что коммунистические партии должны руководить и буржуазно-демократической революцией, но не по-меньшевистски, а по-большевистски. Меньшевики в 1905 г. говорили: «Так как в России происходит буржуазно-демократическая революция, то ею должна руководить буржуазия». А большевики в 1905 г. говорили иначе: «Хотя в России происходит буржуазно-демократическая революция, но руководить ею должен пролетариат в союзе с крестьянством». Такова линия большевизма, и вот эту линию для коммунистических партий всех колониальных стран и наметил VI конгресс Коминтерна: буржуазно-демократический характер революций ни в коей мере не умаляет инициативной, ведущей роли коммунистических партий и не только не упрощает стоящих перед ним проблем, а, наоборот, значительно их усложняет. Нельзя, конечно, приравнивать колониальные революции к революции 1905 г. Обстановка другая. Буржуазно-демократическая револю-

ция 1905 г. происходила в обстановке стабильной капиталистической системы, в обстановке капиталистической мощи; нынешние же буржуазно-демократические революции в колониях происходят в условиях кризиса капиталистической системы и — главное — при наличии страны пролетарской диктатуры. Соотношение сил международной революции и международной реакции иное, и потому буржуазно-демократические революции колониальных стран и будут проходить последовательные этапы своего развития более ускоренным темпом, чем революция 1905 г., если бы она оказалась победоносной. Именно новая международная обстановка делает возможной постановку проблемы некапиталистического развития колоний. Вспомним, что писал Ленин на эту тему, где он говорил о старых колониях царизма: Башкирии, Хиве, Бухаре, Туркестане и т. п. Он говорил, что после победоносной революции эти колонии шли по пути некапиталистического развития потому, что они были включены в систему пролетарской диктатуры. Если взять отдельные, изолированные страны такого типа, где пролетариат находится только еще в зачаточном состоянии, то там при революционной борьбе, при революционном восстании масс гегемоном окажется, конечно, не пролетариат, который лишь только народился. Некапиталистическое развитие колоний с зачаточной лишь промышленностью возможно только в том случае, если они будут включены в систему пролетарской диктатуры более развитой страны. И в этом — основная проблема для нынешнего периода пролетарской и буржуазно-демократической революции. Перерастание буржуазно-демократической революции в колониях в социалистическую стоит в тесной зависимости от тех отношений, какие установятся победившей колониальной революцией и страной пролетарской революции — СССР.

Вопрос этот крайне сложен, потому что приходится иметь дело со странами, чрезвычайно разнообразными по своему социально-экономическому укладу и уровню их политического и культурного развития. Но благодаря опыту китайской революции, благодаря опыту, накопившемуся в Индии, благодаря восстанию в Сирии и Марокко и т. д. можно было установить в общем и целом линию поведения для подавляющего большинства компартий колоний, линию на руководство буржуазно-демократической революцией и, при сокращении этапов ее развития, на вовлечение революционных восстаний колоний в общее русло мировой революции, основным базисом которой является Союз советских социалистических республик.

В связи с этим возник вопрос о взаимоотношении пролетариата и буржуазии в колониальных странах. Кто следил за дебатами конгресса, тот заметил, что как раз по этой линии обнаружились довольно большие разногласия

Взаимоотношения пролетариата и буржуазии в колониях — это вопрос наиболее острый, и я бы сказал, наиболее важный для коммунистических партий колониальных и полуколониальных стран. В этом смысле мы имеем богатейший опыт китайской революции. Если взять этот вопрос в той общей установке, какая была дана ему на II конгрессе Коминтерна, то она сводится к тому, что пролетариат и его коммунистические партии могут и должны

поддерживать буржуазно-демократическое движение в колониальных странах и могут вступать в соглашение с национальной буржуазией колониальных стран при определенных условиях. Мало того. Необходимо еще конкретно определить — какова страна, с которой приходится иметь дело, какова ее буржуазия, ее пролетариат, характер ее социального уклада, степень классовой диференциации и т. п.

В чем заключалась ошибка китайской коммунистической партии? Не в том, что она была в Гоминдане и поддерживала некоторое время китайскую национальную буржуазию, а в том, что она свою политику подчинила Гоминдану, что она, под давлением Гоминдана, отказалась руководить стихийным восстанием крестьянских масс. Поддержка национальной буржуазии возможна и допустима, но, во-первых, при сохранении полной организационно-политической самостоятельности, полной независимости рабочих и крестьянских организаций от буржуазии и при руководстве этими организациями, при ничем не стесняемой свободе борьбы этих организаций за непосредственные нужды рабочих и крестьянских масс. Ошибка китайской партии заключалась в том, что она вместе с Гоминданом считала общенациональную проблему важнее непосредственных классовых рабоче-крестьянских требований, что она не понимала, что национальная революция может итти вперед только на основе развертывания классовой борьбы. Гоминдановцы говорили массам: «революция не закончена, подождите с вашими требованиями земли, 8-часового рабочего дня и пр.», и китайская партия имела несчастье поддерживать Гоминдан в этом направлении.

Опыт китайской революции учит не только пролетариат, но и национальную буржуазию колониальных стран. И когда на VI конгрессе некоторые товарищи поставили вопрос так, что в Индии взаимоотношения между пролетариатом и буржуазией могут сложиться так же, как они складывались в Китае в первоначальный период революции, то это была политическая ошибка. В Индии мы имеем другую буржуазию, более классово-организованную и менее организованный пролетариат, и задачи в Индии заключаются не в том, чтобы пролетариат поддерживал буржуазию, а в том, чтобы организовать пролетариат независимо от буржуазии, ибо в Индии во главе рабочих и крестьянских организаций стоят еще выходцы из буржуазии, они втягивают рабочее и крестьянское движение в систему зубчатых колес буржуазного либерализма и направляют это движение в своих целях и интересах. Основная и ударная задача для Индии заключается в том, чтобы там создать массовую компартию, создать и оформить независимое рабочее движение и изгнать из рабочих и крестьянских организаций буржуазные элементы, задерживающие движение. Положение в Индии лишний раз доказывает, что проблему взаимоотношений между буржуазией и пролетариатом в колониальных странах нельзя решать для всех стран по одному шаблону. Здесь нужно учитывать исторически сложившиеся взаимоотношения, данный уровень развития и степень классовой диференциации, и уже на основах этого учета конкретно наметить задачи для каждой страны.

Конгресс об оппозиции.

На конгрессе Коминтерна обсуждался вопрос о положении СССР, о положении в ВКП, а также апелляция троцкистской оппозиции. Специальная комиссия рассматривала заявление, поданное Троцким и другими его единомышленниками из Германии и Франции об обратном приеме их в Коминтерн.

Доклады тт. Варга и Мануильского посвящены этим двум вопросам. Они коснулись всей совокупности проблем, стоящих перед СССР и нашей партией. Здесь и положение нашей промышленности, и положение сельского хозяйства, оценка достигнутых нами успехов и побежденных нам трудностей. Кроме этого, был дан отчет о положении нашей партии, об идеологии бывшей оппозиции и т. д. Нужно отметить, что по этому вопросу на конгрессе было полное единодушие. Не оказалось не только ни одной делегации, но и ни одного делегата, которые выступили бы в защиту оппозиции ВКП. В тех групповых декларациях, которые были сделаны от имени большинства партий, — таких групповых деклараций было 6, — изложены мотивы, по которым все партии Коминтерна считают линию XV с'езда нашей партии правильной, а линию оппозиции антикоммунистической. Излагать эти заявления я не буду, они были напечатаны в нашей прессе. Одновременно с вопросом о нашей оппозиции на конгрессе рассматривался вопрос и о других оппозициях: германской, французской, голландской и пр. Известно, что после того, как развалилась оппозиция ВКП(б), оппозиции в других партиях сразу же смыло; от них почти ничего не осталось, кроме лишь отдельных оппозиционеров, которые не имеют никакого влияния на массу. В партиях европейских эволюция оппозиции шла бурным темпом, и после развала нашей оппозиции там произошла диференциация: одни перешли к социал-демократам, а другие политически очутились в нетях, порою лишь напоминая о себе полуанархическими и полуоппортунистическими выступлениями в европейских городах и весях. Единственная, более или менее организованная, оппозиционная группа имеется лишь в Бельгии — стране, как известно, не решающей для судеб пролетарской революции, да и группа эта не особенно велика. Характерно, что по поводу всех этих групп, по поводу апелляции Рут Фишер, Маслова, Сюзанны Жиро, Трэна, Вайнкопа также не было никаких не только разногласий, но даже колебаний. Делегатам конгресса было ясно, что все эти бывшие члены Коммунистического интернационала сейчас ничего общего не имеют с международным коммунизмом. Особенно интересовало конгресс и все компартии положение в нашей стране, положение нашей оппозиции, тем более, что Троцкий лично прислал несколько документов на имя конгресса. Целый ряд других бывших членов нашей партии также прислали заявления на имя конгресса. И вот после изучения всех этих новых заявлений комиссия конгресса пришла к единодушному решению, что нет никаких оснований для пересмотра уже принятого постановления, конгресс же мнение комиссии единогласно подтвердил. Единодушное решение в этом вопросе имеет очень большое принципиальное значение, очень большой политический смысл. То, что VI конгресс Коммунистического интернационала, собравший

делегатов со всех концов мира, единогласно вынес решение по такому серьезному вопросу, свидетельствует о том, что оппозиция целиком разоблачила себя уже перед всем Коммунистическим интернационалом. В глазах коммунистов даже самой отдаленной страны — величайшим преступлением является попытка поколебать нашу партию и вместе с нею диктатуру пролетариата. Именно потому, что представители всех партий усмотрели — и совершенно правильно — в нашей оппозиции элементы ослабления нашей партии, элементы ослабления диктатуры пролетариата, именно поэтому они так сурово отнеслись к русской и иностранной оппозиции, именно поэтому они единодушно отвергли их апелляцию, их просьбу восстановить их в правах членов соответствующей коммунистической партии.

Выводы.

Какие выводы можно сделать из обзора работ VI конгресса Коммунистического интернационала? Прежде всего обращает на себя внимание несомненный политический рост наших братских партий. Это сказалось в дискуссии, в постановке проблем. Это не значит, что все речи и все, что говорилось на конгрессе, на 100% верно. Конечно, в некоторых речах было и кое-что неправильное, но если взять всю дискуссию в целом, активность участников конгресса, то можно констатировать несомненный политический рост всех наших партий.

Второе, что необходимо отметить — это принятие программы Коммунистического интернационала. Это также свидетельство несомненного идеологического роста наших партий. Коммунистический интернационал, приняв программу, сам поднялся на несколько ступеней, ибо создан серьезнейший теоретический документ, единый документ для всего многогранного мирового коммунистического движения.

Третье важное обстоятельство — это активное участие на конгрессе представителей партий колониальных и полуколониальных стран, чего не было на прошлых конгрессах. Я не говорю о конгрессах II Интернационала, куда вообще цветных, и притом главным образом из буржуазных партий, пускают с большим разбором, да и то лишь на галерку. Ведь характерно, что II Интернационал пригласил Гоминдан не тогда, когда он еще играл революционную роль, а после того, как он расстрелял десятки тысяч рабочих и крестьян. Только после этого Гоминдан и удостоился приглашения на конгресс II Интернационала. В этом ярко отразились политические симпатии II Интернационала и его отношение к колониальным и полуколониальным проблемам. На нашем конгрессе коммунистические партии колониальных стран проявили очень большую активность и, благодаря им, был поднят и освещен целый ряд новых вопросов.

Четвертый вывод: VI конгресс продемонстрировал очень большое идейно-политическое единство наших коммунистических рядов. Если сравнить VI конгресс со II или с III, то надо будет признать, что проделан гигантский путь. На II конгрессе Коминтерна присутствовали разные анархо-

синдикалистские группы, там спорили еще о парламентаризме и пр. На II конгрессе часть английских коммунистов еще открыто и явно стояли на анархо-синдикалистском пути. Много анархо-синдикалистских и антикоммунистически-анархистских элементов потянулось к Октябрьской революции и вместе с тем к Коммунистическому интернационалу. Идейно-политическая диференциация произошла позднее. Поэтому достигнутое на VI конгрессе Коммунистического интернационала значительное идейное и политическое единство всего международного коммунистического движения является огромным приобретением. Это единство наших коммунистических рядов является важной предпосылкой для наших будущих успехов и для завоевания нами большинства рабочего класса капиталистических стран.

Наконец, последнее: этот конгресс отметил усиление влияния коммунистических партий на международное рабочее движение. Несмотря на то, что на этом конгрессе выявлены невероятные трудности, среди которых приходится жить и бороться коммунистическим партиям, и колоссальные жертвы, которые понесло международное коммунистическое движение, конгресс констатировал рост влияния коммунизма среди новых слоев пролетариата. Мы захватили новые страны, новые континенты и, с другой стороны, проникли глубже в массы в старых капиталистических странах.

Вот что выявил VI конгресс и вот почему мы можем сказать, что VI конгресс Коммунистического интернационала, который дал единую программу для всего мирового коммунистического движения, подвел итоги событиям последних четырех лет, дал оценку прошлому, наметил перспективы для ближайшего будущего, учел опыт колониальных революций, китайской революции, колониальных восстаний, дал линию поведения в вопросе о войне, дал оценку попытке построить оппозицию внутри Коммунистического интернационала, поднялся на такой высокий уровень политического единства, — войдет в историю мирового коммунистического движения, как один из важнейших его этапов на пути к завоеванию широчайших масс.

Максим Горький и читатель наших дней.

Л. Клейнборт.

I.

Можно признавать или не признавать «пролетарское» происхождение самого Горького. Можно расценивать степень и качество его «рабочести», как делают это многие и многие [1]). Но вопрос о читателе его без сомнения есть вопрос о размежевании общественных групп и течений, вопрос об открытии и формировании пролетариата в России — факт, начинающий выступать перед нами уже с его «Врагов».

Всмотревшись в природу социальных групп, став из романтика-бунтаря, окрашенного в индивидуалистически-анархические цвета, автором «Матери», изобразителем борьбы, приобретающей классовую оформленность, — Горький отталкивает от себя круги, создавшие ему его ранний успех, читательские круги предреволюционного общества, буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, уже в пору «Врагов» и «Матери». Но «Враги», но «Мать» знаменуют уже грядущего читателя, читателя-массовика, рожденного в огне революции и контрреволюции 1905 г. Писатель становится не писателем лишь эпохи, но костью от кости и плотью от плоти мятежных сил рабочей борьбы, рабочего движения.

Под этим все усиливающимся огнем,— огнем перекрестных интересов,— от былого, от единства оценок не остается и следа: теперь писатель со всей сложностью своего писательского «я» или целиком принят, или целиком отвергнут. Среднего не может быть. И чем ближе к революции, чем больше выявляется художник не как мастер литературы, а как явление социальной силы, социального значения, тем менее места для академических суждений о нем, того эстетического подхода, с каким подходили мы, допустим, к В. Г. Короленко, к А. П. Чехову.

И вот мы перед передвижкой, произведенной революцией, перед группировкой наших дней. Можно ли назвать имя х у д о ж н и к а, вызывающее столько противоречивых оценок, противоречивых чувств, — чувств

---

[1]) См., напр., **И в. Т е о д о р о в и ч а**, К классовой характеристике творчества Горького („Большевик" № 6, 1928 г.), **Р. Г р и г о р ь е в а** („М. Горький", биогр. очерк), **А. Л у н а ч а р с к о г о** (юбилейные номера „Кр. Нивы" и „Прожектора") и т. д.

уважения, преклонения — с одной стороны, непримиримой ненависти — с другой!.. Если читатель дореволюционных верхов утешал себя тем, что Горький «выдохся», «исписался», «кончился» как писатель, на будущее рассчитывать не может, то теперь, напротив, сам читатель, дававший тон, делавший «общественное мнение», сошел со сцены вместе со старой Россией, делаясь все правее и правее в своих симпатиях и антипатиях. Командные же высоты занял читатель, вознесший Горького-большевика, Горького-пораженца. Но тем легче судить о последнем, который собственно нас и занимает в этой статье.

II.

Фабричные казармы, подвалы и чердаки промышленных центров, — то, что пришло на смену мужику, прошедшему народническую школу, — еще до революции сформировали слой этого читателя. Но слой этот был тонок. Теперь он сложнее, гуще замешан. У массовика прежнего не могло быть ни того «пролетарского окружения», ни тех особых черт, которые он приобретает теперь. Все это — продукт лишь наших лет. Десятилетие ведь не малый срок для истории читательства.

Накопившийся опыт требует разработки его в виду новизны вопроса. В связи с повысившимся, углубившимся интересом к писателю легче, конечно, ознакомиться с запросами и вкусами читателя, сделать вывод о целеустремленности его вообще, по отношению к Горькому, — в частности, вывод, подтвержденный разнообразным материалом. И вот мой очерк и есть такая попытка, — попытка разработки анкет, заполненных рабочими фабрик и заводов, — частью предприятий, мелких заметок, отзывов, дневников библиотекарей, наконец личных наблюдений над обликом массовика интересующих нас здесь лет.

Сущность этого читателя, говорю я, тем очевиднее, что не один глаз следит за ней, не одна рука регистрирует данные практического опыта библиотек и читален. Вот, например, Чистяковские рудники в Донецком бассейне. Месяц за месяцем идет наблюдение за психическим обликом читателя-шахтера. В библиотеках, в читальнях на столах лежат тетрадки; на обложках тетрадей надпись: «Мысль читателя. Журнал отзывов о прочитанных книгах библиотеки шахты №... Товарищ! Ты прочел книгу. Расскажи о ней другим читателям. Пусть и они прочтут ее, если она друг им. Если же прочтенная книга вредна, предостереги их от опасного врага». Такими отзывами могут поделиться с нами даже предприятия провинций; в Москве же, Ленинграде, других промышленных центрах подобные опыты возведены в систему. Уже эти записи, вскрывая перед нами читательские интересы и запросы, представляют собой базу для выводов. Но этим дело не ограничивается. Перед нами и попытки подойти к читателю с помощью экспериментально-психологических методов. Такова анкета, проведенная культурно-просветительным отделом Ленинградского областного комитета союза металлистов; таково обследование Московского губернского политпросвета;

таков и учет массовой читаемости красноармейцев, в основу которого положено до 11 900 анкетных листов.

Отзывы о писателях здесь перемешаны с отзывами о политической, научной литературе. Но это лишь помогает вглядеться в лицо читателя, уловить его симпатии и антипатии, нащупать те стороны, на которых построена его психика. Правда, не только степень развития, но и степень грамотности различны в этом массовом материале. С одной стороны перед нами оценки зрелые, — поднимаясь по ним, мы взбираемся на высоты читательских интересов; с другой — «без точек и запятых», лепет людей, только-только нащупавших силу книги, поразившей их чувство, их мысль. Но и это нам на пользу. Перед нами лицо читателя, не фальсифицированное ничьей рукой.

Из этого-то вот материала и извлечено все то, что относится здесь к Горькому. Все это в целом ждет, конечно, еще сводки исследователя. Тем своевременнее сдвинуть его с мертвой точки по отношению к такому писателю, как Горький, писателю, стоящему здесь на первом месте в порядке читаемости. В газетах делаются выдержки этого рода. Но далее сырых цитат дело не идет. Попытаюсь же здесь подойти к существу этих читательских интересов и группировок по отношению к Максиму Горькому.

III.

Начнем с самого читателя, о котором здесь речь. Отличия его от читателя дореволюционных, как и первых революционных лет бросаются в глаза.

Как и в те годы, под одним знаком его рассматривать нельзя. Крестьянин, полурабочий, полупролетарий, красноармеец, фабричный пролетарий — различны в запросах и вкусах к книге, как различны по подготовке, степени грамотности, развития. И тут и здесь, с одной стороны, масса, до революции впервые подходившая к книге, едва ли Горького и знавшая — наиболее широкие, нутряные слои, подчас совсем неграмотные; с другой — верхи, приученные к систематическому чтению. Итог революции, без сомнения, в том, что эта масса получила вкус к книге, переходя от чтения газеты, от популярной лекции, допустим, к Максиму Горькому. Кто стоит лицом к лицу с этой массой, отмечает, что она уже не ищет сказок, приключений, фабульности, а начинает мыслить, различать — что к чему. Уже в силу этого перед нами прежде всего вопрос о допустимости сочинений Горького.

Нельзя сказать, чтобы «Сочинения» Горького, вышедшие за годы революции в двух изданиях, стали дешевле по сравнению с тем, что имело место в изданиях «Знания», «Жизнь и знание» и т. д. Лишь юбилей Горького поставил вопрос об удешевлении книг его в живую очередь. Однако доступность их выросла во много раз, ибо Горького читают массы благодаря библиотекам и читальням, без которых не обходится ни одна фабрика, ни одна деревня.

До революции 60 профессиональных союзов имели в общей сложности 20 тыс. томов в своих библиотеках. Ныне одна библиотека «Красного треугольника» насчитывает 27 тыс. томов в своей библиотеке. Еще в 1923 г. на 842 рабочих клуба, обследованных Центральным советом профессиональных союзов, приходилось 692 читальни; если отсутствовала читальня, все же имелась библиотека. Вот, например, Красно-пресненская трехгорная мануфактура. Из 7 300 рабочих состояло читателями ее библиотеки и читальни: в октябре — 1 703, в ноябре — 1 885, в декабре — 2 532 рабочих. Самый светлый, самый людный уголок обычно читальня. Помещения начинает не хватать, переходят в большую, все большую комнату. Но и тут битком набито. Вот читальня завода «Красный богатырь»... «Сидят на стульях, окнах, столах; стоят, подпирая плечами стену»... Мудрено ли, если доступность Горького во всех этих уголках выросла во много раз?

Однако ядро горьковского читателя все же не в массе, как таковой, а в верхушке — том «передовике», который переполняет библиотеки и читальни, который «грызет» Горького, стараясь запомнить каждую вещь его, поднимая до себя отсталые слои читателей. «Передовик» не противостоит «массовику», в широком смысле этого слова. И промежуточных, переходных читательских типов немало. Однако на всех ступенях народной жизни имеет место слой, связанный с Горьким динамически, — слой, поднимающий эту связь на высоту принципа. Вот к этому-то слою и намерен я присмотреться главным образом, ибо в нем-то и выступают те отличия, о которых мы говорим.

IV.

Присмотреться к читателю, которого связала с Горьким современность, — к тому, в ком писатель наших дней видит главного потребителя своего, — значит взвесить все то, что формировало, кристаллизовало его в эту силу, понять его значение в свете наших дней.

Помните рабочего-интеллигента, очнувшегося от оцепенения 1907—1911 гг.? Встав на ноги, собственными силами налаживая культурную работу, он носит в душе неистребимую жажду знания, исключительный запас духовной энергии. Но где средства их удовлетворения?

После ухода интеллигенции он предоставлен самому себе. Рабочие сами пытаются заполнить пробел в культурных силах. Но мал, очень мал круг теоретически подготовленных рабочих. Уже это ставит предел росту обществ самообразования и саморазвития. А тут еще гонения, суровые гонения на эти кружки, лекции, рабочие библиотеки. Все, что с таким трудом налаживалось, скашивалось всезнающей охранкой. Вот эту-то непрочность отражал и умственный облик горьковского читателя. Другое, совсем другое теперь. За годы революции тысячи этих людей — тружеников сохи или станка — прошли через университеты, техникумы, институты искусств, литературные студии, рабочие клубы.

Революция ударила по головам этих людей, вызвала потребность в образовании. Вот, например, сеть вечерних рабочих университетов. Состав

слушателей показателен. По 28 рабочим университетам подано 8 1 явлений, принято 4 772 чел. Это не молодежь, — преобладающий в от 25 до 35 лет, — это рабочий актив, квалифицированные рабоч нужны знания, чтобы понять теоретически процесс производства. «К из нас чувствует, как вырос за этот год», говорят они. Ясно, что идет не о знаниях узко-технического характера, которые помогли бь разобраться в производстве, как таковом. Нет, на первом плане здес блемы общего характера. Вот они... Только что закончили свой р день, только что отошли от своих станков. Может быть, не успели нуть домой, чтобы переменить костюм... Вот 611 клубов, обследо Советом профессиональных союзов, охватывавших 82 266 рабо 47 420 служащих. В них числилось 741 кружок общественно-п ческих, драматических, научно-литературных. Вот пролеткульты литературными и иными студиями. Из этих кружков, из этих вышли сотни дарований, прежде чем попасть в какой-нибудь тех какой-нибудь институт искусств... Возможности здесь широкие по нению с тем, что могли предоставить им когда-то общество «Про ние» или «Образование» или «Им. Стасюлевича»... Помещение, об ванность, требуемое обеспечение, зал, вмещающий тысячи рабочих наты для кружковой работы, сцена... Разве прежний читатель мог м о чем-либо таком?

Пусть текучесть этих кружков, этих студий общеизвестна. состав их меняется на 30—50%, отчего страдает преемственност и методы работы. Но в итоге перед нами слой, прошедший школу дней, — слой, который и продвигает Горького в гущу народных масс. E дом из них эти 10 лет запечатлелись ярче, чем вся остальная жизнь. И в турном бюджете его расходы на книги, журналы, — особенно у металл где этот процент так значителен, — на первом месте. И хотя Горьк стал бытописателем наших дней, поток современности по-особому этих людей, рассыпавшихся по городам и селам в качестве силы р ционных лет, с Горьким. Вот что характерно.

Это, несомненно, тот психологический слой, о котором говорит Луначарский... «Надо прямо сказать, — писал он в пору колебаний кого, — дальнейшее развитие такого писателя, как Горький, всецело село от того факта — пойдет ли он рука об руку с коммунистическо тией. Вне этой партии он не может жить, и сейчас, вне ее, он может т доживать свои дни. Вместе с ней он, казалось, должен был бы разго ярким пламенем»[1]). Это не значит, что слой, о котором здесь речь партийно-комсомольский в узком смысле этого слова. Но закваска, элел впитанные им из современности, не подлежат сомнению. Пролетар станка, от прилавка, рабфаковец, рабкор или селькор, творцы нового строители современности, — вот легионы его читателей. Этот слой сался **частью** по учреждениям, оброс чуждой ему тканью, потер

---

[1]) А. Луначарский, Литературные силуэты, Максим Горький, стр. 15

что пережито им у верстака, у прилавка, у станка. Однако это приложимо лишь к лицам. Слой, как таковой, не отошел и не может отойти от своего корня.

V

Итак, современность, новый быт — вот чем сцементирован этот читатель, живущий мыслью построить социализм. Он весь в наших днях, формируясь на фоне растущего строительства. Но Горький ни одним образом не вошел в них. В ряде отзывов рабочих о его произведениях отмечается, что писатель и не тронул современности. «Он не изображает пока нашей жизни, приглядывается еще. Даже маленького рассказа о современной жизни или об Октябрьском перевороте он не дал», отмечает рабочий бердоремизной фабрики им. Бухарина.

«Мне хочется написать книгу о новой России», пишет сам художник. Но этой книги, этого охвата новой России еще нет, что не может не чувствоваться читателем, поднявшимся на высоты времени, как отрыв. Горький не может не терять, казалось бы, в свежести, отходить в прошлое, конечно, в лучшем смысле этого слова, но все же прошлое — в глазах читателя.

Недаром своей личной судьбой писатель предопределен был быть переходным звеном от 80-х гг. к революционной эпохе. Недаром и пишет он теперь свою летопись «За сорок лет». И все же — этого нельзя не отметить прежде всего — Горький именно в современности для нашего читателя.

«Разве может устареть то, что написал он!» восклицает рабочий ремонтно-механического цеха завода им. Калинина. «Мы считаем Горького писателем нашим, созвучным нашей эпохе, нашему времени», пишет рабочий Северной судостроительной верфи.

Даже о Некрасове, неумирающем по сей день, здесь пишут: «О созвучности Некрасова нашей эпохе говорить трудно, так как созвучность эта ложная». «Между взглядами революционной интеллигенции того времени, когда писал Некрасов, и взглядами на жизнь нашего поколения легло очень многое»... Но «М. Горький является самым большим, крупным писателем нашего времени» (рабочий завода «Вулкан»). И это не голоса единиц. Не только современники его, как Серафимович, Вересаев, откликнувшиеся на темы наших дней, — нет, ни Гладков, ни Неверов, ни Вс. Иванов, рожденные этими днями, не могут спорить в этом с Горьким. *Это — первый писатель наших дней*, и тот не поймет основного тона этого внимания, кто не вникнет в смысл этого признания.

Понять этот смысл тем легче, что наш читатель не констатирует лишь ту созвучность в своих отзывах, а поднимает ее на высоту аргументов. *Это не вопрос у него лишь о Горьком, как таковом. Это вопрос о старой и новой литературе*, — старой, хотя и передовой, но чужих интересов и понятий, и новой близкой ему органически, отражающей природу тех движущих сил, тех общественных групп, что пришли на смену старым хозяевам жизни. Именно читатель, заинтересованный Горьким, и углубляет эту проблему. Ведь Горький — «авангард проле-

тарской литературы», «переживший все победы и поражения русского пролетариата», — соединительным звеном лег между старой и новой литературой. Вот что делает его центром параллели. Вот что раздвигает перед читателем эту перспективу, которой до революции не было, ибо до революции были новые писатели, но не было новой литературы в ее современном целом.

Подойдем же к этой перспективе, прежде чем подойти к самому Горькому. В чем именно этот узел, из которого Горького не выкинешь, говоря о читателе наших дней? Вот вопрос, на который прежде всего наводит наш материал, ответ на который неотделим от рассуждений о Горьком вообще, отдельных произведений в частности.

VI.

Что случилось? Произошла революция: в литературе, как и в жизни. Командные высоты покинула старая; заняла их новая литература, та, что «победила»... Читатель, о котором у нас речь, — я имею в виду наиболее глубокий слой его, — на этом не ставит точки. Нет, он видит преимущества старой литературы перед новой, опыт предшествующей литературы ценит высоко, чрезвычайно высоко. Одной «идеологии», одного нутра здесь мало: даже писателю от сохи уже говорить нельзя: «разные тонкости не про нас». Но именно здесь все его эмоции, переживания, симпатии. Именно здесь, в литературе и идеологически, и эмоционально своей, в противоположность старой.

«Нам жизненно необходима новая художественная литература. И у нас есть новая литература, — пишет рабочий завода «Красная заря». — Эти писатели из нашей среды выражают наши настроения и интересы. Потому-то нам интересен и дорог их каждый успех в области художественного отражения жизни»... «Правда, в нашей пролетарской литературе еще нет своих Толстых, Гоголей, Гончаровых, Пушкиных, — пишет рабочий металлического завода. — Но ведь не сразу, не в один год Москва строилась! Читая новую литературу, ее лучшую часть, читаешь свое, родное, кровное»... «Для меня, — пишет рабочий металлического завода, — «Цемент» лучше, чем «Война и мир» Толстого, а «Комсомолия» Безыменского лучше, чем «Евгений Онегин».

Они не закрывают глаза ни на формальный, ни на иные дефекты этой литературы. «Старые писатели писали интереснее. Новые книги большей частью грубо написаны» (рабочий завода «Электросила»). «В новой литературе все выражено кратко, резко. Старые авторы отделывали свои вещи, отшлифовывали и тогда уже показывали читателю. Новые же слишком торопятся. Стараются создать особый язык. Как пример, можно привести «Цемент» Гладкова, где некоторые слова перековерканы. Конечно, интересно читать о труде рабочего, но читать, как он кроет матом, совершенно не интересно». «В отношении идей все благополучно, но форма уже не та, что у старых» (рабочий металлического завода).

Журнал «На литературном посту» открыл кампанию против Гладкова. Его повести он называет «героической симфонией мещанина-упадочника»,

рассадником вреднейшей «пильняковщины», с которой нужна решительная борьба. Самая статья называется «О дураках и классовой борьбе в литературе». Наш читатель далек от таких обобщений. Он главным образом напирает на дефекты формы. Именно с этой высоты «читатель, читавший старую литературу, взяв новую книгу, не сразу к ней привыкнет» (рабочий 24 лет). Не нравится и односторонность, конечно. «У новых писателей плохо то, что все пишут об одном: о революции и гражданской войне. Книг, в которых написано о гражданской войне с обязательной победой коммунизма, 99,999%, остальные — на разные темы, но больше о том, как коммунисты побеждают. Должен сказать, что рабочим эта тема приелась. Нужно сменить пластиночку патефона, положить другую. Рабочие требуют чего-то бо̀льшего» (рабочий-фрезеровщик завода им. Казицкого). «У наших классиков вся история и жизни и страны, ее экономика, развитие, общественность групп. Все это витает при чтении не в виде схем и форм, а в виде живых образов, облеченных плотью и кровью, живущих живой жизнью. Читая классиков, мы видим, как изжили себя самодержавие, помещики, крепостная Россия, как на смену дворянству быстро идет буржуазия с ее техникой и новыми приемами выжимания соков из народа» (рабочий завода «Красная заря»). Здесь же тенденциозность. «С тех пор, как произошла революция, прошло уже 10 лет; пора бы и перестать агитировать, — кого можно было, уже сагитировали. Между тем, о быте пишут мало. Отсутствие об'ективности режет глаза. Везде партийный человек идеален, безупречен, а беспартийный — груб, невежа, негодяй» (рабочий 48 лет). В итоге ...«старая литература серьезнее, законченнее отражает жизнь прошлого. Новая же литература, близкая нам, отражает жизнь в ее теперешних проявлениях, но герои обрисованы поверхностно, жизнь дается отрывками» (рабочий завода «Электросила»). «Нужно пересмотреть то, что мы делаем. Нужно пересмотреть самих этих писателей. Ведь иные хотят только подделаться, подкраситься под пролетарский язык» (рабочий завода им. Калинина). Но ведь и вопрос о тенденциозности — вопрос о художественности новых писателей. «Почему современные писатели не пишут так красочно, как старые?» «Неужели наши авторы не понимают, что форма очень важна! Нам нужен свой Чехов, который бы отразил не только период военного коммунизма, гражданской войны, но и новый быт, быт революции, не замазывая отрицательных сторон». Даже такой писатель, как Ляшко, вызывает недовольство критика от станка. «Начались описания восстанавливающейся нашей промышленности, рисуют заводскую жизнь, быт и т. д., — пишет рабочий завода «Красный путиловец». — Насколько я успел заметить, в этих произведениях у нас жизнь завода рисуется в таких красочных образах, в таком идеалистическом духе, чего у нас зачастую нет в реальной жизни. Ведь у нас на заводе и теперь очень и очень много недостатков. Вот это и не отмечается. Наряду с громадным под'емом, который заметен в массах, есть еще масса отсталых рабочих. Я хочу указать в этом отношении Ляшко «Доменная печь». У него в очень идеалистическом духе написана фигура человека, восстанавливающего завод. Вряд ли такие фигуры есть».

Надо ли больше преимуществ старой, именно старой литературы. Но... «Достаточно ли одних классиков? Все ли найдем у них? — Тотчас встает вопрос. — Конечно, нет. Мы не найдем у них самого главного. Классики дали нам превосходную картину лишь того, что изжито» (рабочий завода «Красная заря»). Одно дело мастерство, другое — то, что отражает это мастерство. Как ни высоко ценит читатель Пушкина и Толстого, он видит в них своих философских и политических противников. Конечно, классики неодинаковы в его глазах. Классики эпохи под'ема, общественной зрелости класса, который стоит у власти, вызывают у него одни чувства; классики эпохи упадка, осознавшие неизбежность гибели того класса, который они представляют, но служащие не столько прозорливости, сколько реакционному созерцанию, — другое. Однако ни те, ни другие не дадут ему той «идеологической» ясности, которую они находят в литературе новой. «Я лично думаю: каковы убеждения и социальное происхождение читающего, — пишет рабочий модельного цеха завода «Экономайзер», — ту или другую литературу и предпочитает. На мой взгляд, новая литература больше подходит к трудящимся, потому что рабочий или крестьянин, читая новую литературу, видит в ней самого себя, как он есть на самом деле». Вот что ставит здесь точку над i.

VII.

«Новая литература, — читаем мы (рабочий завода «Электросила»), — уступает старым художникам слова, но выигрывает близостью и жизненностью. Произведения русских классиков имеют воспитательное значение. Но политически они мертвы, тогда как новая литература ценна и тем и другим»... «Если старые писатели богаче красками, то это не значит, что я, интересуясь бытом рабочих и крестьян, стал бы искать это в произведениях Пушкина и Толстого. Этот интерес удовлетворяют лишь современные писатели» (кочегар в тепловом хоз.). ...«Вообще у старых писателей масса отсутствовала, а если она и выводилась в произведении, то в общих чертах. Не то у наших писателей. Новый писатель идет с массой, в его книгах живет, борется, страдает, погибает и побеждает коллектив. За правдивость, за бо́льшой, свободный размах, — вот за что я люблю нового русского писателя больше, чем старых» (рабочий завода «Светлана»). «Читая новую литературу, ее лучшую часть, читаешь свое родное, кровное. Новая литература отражает жизнь, в которой живешь ты сам, она ближе и понятней, чем литература прошлого. Большинство классиков для нас устарело» (рабочий завода «Электросила»).

Каковы бы ни были недостатки новой литературы, они не умаляют ее достоинств. «По силе изобразительных приемов, яркости и гибкости она значительно уступает классическим художественным ценностям. Но такие крупные исторические сдвиги, как революция, коренная ломка быта — все это отразить не так легко. Ведь наши новые писатели-художники в большинстве недавно сами еще на своей шкуре испытали много лишений и тяжкого

труда, какие и испытывают герои их произведений. Их условия жизни и работы не те, что у классиков. Они пишут, не сидя спокойно в своих помещичьих усадьбах, а вращаясь в самом водовороте событий» (рабочий завода «Красная заря»). «Старая литература щеголяет совершенством формы, но мы не забудем и того, что она существовала века; а наша послеоктябрьская существует всего только 10 лет» (рабочий завода «Красный путиловец»). «Ни для кого не секрет, что за 10 лет пролетарская литература все же сделала большой шаг, проделала большую воспитательную работу. Ряд отдельных произведений есть ряд огромных побед в нашей литературе» (рабочий завода «Красный путиловец»).

Словом, «...старая литература хороша. Я согласен. Но она все-таки пропитана буржуазной моралью. В новой литературе широко освещены жизнь и быт рабочего и борьба за освобождение» (рабочий-канатчик завода «Вулкан»). «Как ужасно ошибаются те, кто предпочитает старых. Они говорят: хороший слог, хорошее описание и пр. Во всем согласен. Но только не в правдивости. Действительно, много правды о господствовавшем, но не угнетенном классе, много правды, определенной интересами господствовавшего дворянства, помещичьего класса» (рабочий завода им. Карла Маркса). «Например, читал я Достоевского. Очень хорошо, а к теперешнему не применить» (сторож завода «Светлана»). «Я, как рабочий, предпочитаю классиков тогда, когда под рукой нет книг новой литературы. Возьму, например, таких писателей, как Лев Толстой» (рабочий завода «Экономайзер»). «Возьмем книги, описывающие пролетарскую революцию в России, гражданскую войну. Они близки каждому рабочему, который сам был участник этих происшествий» (рабочий завода им. Марата). Итак, велики достоинства классиков, но у читателя не поворотится язык сказать, что литература прошлая лучше настоящей. Ему нужно художественное изображение современности, которую он сам создает. Пусть превосходят старые писатели новых,— «к нашей литературе мы должны относиться более снисходительно, чем к литературе буржуазной. Раньше мы имели писателей, которые в своем творчестве отражали быт помещиков, дворян. Возьмем Толстого, Тургенева. Писали об отвлеченных вещах, а не о массе, которая представляет почти все население Советского Союза. Теперь же видим другое». Вот чем дорога им новая литература.

Но вот вопрос, срывающийся здесь с уст: при чем ж тут Горький? Горький? В-первых, он — родоначальник этой литературы. «Горький — основоположник пролетарской литературы, — пишет рабочий. — Он вел писателей за собой». «М. Горький, лучший пролетарский писатель — одиночка старой эпохи» (рабочий зав. «Электросила»), говорят они. М. Горький вел за собой других — вот в чем сила. И этим самым он стал не только родоначальником, но и вдохновителем этой литературы в их глазах. Из самых приемов письма ряда новых писателей — таких, как Вольный, Новиков-Прибой, Гладков, Всев. Иванов, Чапыгин и др., — они с ясностью убеждаются: не будь Горького, не было бы их, несущих горьковское нутро в литературу. И вне Горького читатель не мыслит новую литературу.

VIII.

Перейдем же к самому Горькому. Начнем со статистики.

Искусство не арифметика, конечно. Количественный успех, конечно, условен, приобретая всю свою значимость лишь тогда, когда переходит в качественный. Заглянем, однако, и в цифровой материал.

Обследование деревенских библиотек, произведенное в 1927 г. московским губполитпросветом, констатировало и бо́льшую популярность Горького в деревне, чем та, что имела место до революции.

Дореволюционный читатель, относившийся со смирением и покорностью и к книге, отошел в область прошлого и в деревне. На смену пришел читатель, прошедший опыт наших дней, тот же требовательный читатель, что и в городе. Однако процесс чтения здесь другой. Все же деревенский читатель — прежний практик, утилитарист. И без спроса лежат здесь многие и многие авторы. Чтобы писатель привлек к себе здесь симпатии, нужно, чтобы он в самом деле был нужен деревне. Ведь деревня скупа на время и теперь, как и прежде. Прежде чем взять того же Горького, крестьянин долго будет осматривать, перелистывать его. Не раз положит на место назад. Ведь Горький — писатель не крестьянский. Струн, созвучных с «землей» — тех хотя бы, какие есть у Толстого — у него нет. Вот почему центры читаемости Горького — это все же промышленные центры, те самые, что формировали массового читателя со времен «Матери» и «Детства», о которых я писал еще в 1913 г. [1]).

Библиотеки профессиональных союзов говорят, что на 100 выданных книг из художественной литературы 50 падает на Горького. Согласно опыту фабрично-заводских, вообще народных библиотек, массовым читательским спросом пользуются лишь авторы, близкие читательской массе, каковых не очень много. Не десятки, а сотни авторов стоят вне внимания, неразрезанные, запыленные, хотя бы и в нескольких экземплярах. Зато десятки берутся бойко. И вот среди них-то Горький занимает первое место. Достаточно сопоставить цифры библиотеки общегородской и библиотеки городского предместья, чтобы увидеть разницу в этом спросе. Вот, например, центральная городская библиотека в Ленинграде, из 2 700 авторов которой читаются лишь 700, а из этих 700 — ежедневно лишь 38 авторов. Наибольший успех и здесь у Горького. В течение 1927 г. библиотека выдала своим посетителям 1 500 томов Горького в то время, как книг Толстого было выдано 772, Достоевского — 556 и т. д. Популярность и здесь не подлежит сомнению. Однако из 1 500 выданных томов на долю рабочих здесь падает всего 104. Спрос рабочих окраин, конечно, значительно выше.

Вот выборочное обследование читательских формуляров по 46 союзным библиотекам Москвы за время от ноября 1926 по февраль 1927 г. За этот период, обследованный Московским городским советом профессиональных союзов, 3 748 рабочими прочитано 33 649 книг по художественной ли-

[1]) Л. Клейнборт, Максим Горький и читатель низов, „Вестник Европы" 1913 г., № 12.

тературе, а в среднем — 2,2 книги на одного читателя. Кто же стоит на первом месте в порядке читаемости? «Из классиков наиболее читаемым является М. Горький, за ним идут: Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Гончаров, Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Лермонтов, Островский. Из вещей Горького больше всего читают «Дело Артамоновых». Вот анкета, проведенная Ленинградским областным комитетом союза металлистов. Проведена она была на шести ленинградских заводах. Что же засвидетельствовали данные анкеты? Из писателей дореволюционных лишь Гоголь обогнал Горького по числу требований (76%). За Горьким идет Лев Толстой.

Из 1 094 рабочих, ответивших на анкету, учтенных на шести металлических заводах, читали произведения Горького, считая его любимым писателем:

«Мать» — 534 чел. (48%).
«Детство» — 437 чел. (40%).
«Рассказы» — 387 чел. (35%).
«Дело Артамановых» — 343 чел. (31%).
«В людях» — 311 чел. (29%).
«Фома Гордеев» — 301 чел. (27%).
«Городок Окуров» — 222 чел. (20%).

Вот еще обследование. Охвачены 4 тыс. читателей в их отношении к художественной литературе за 4 месяца. И здесь наибольшая читаемость падает на Горького. Из числа 120 русских авторов с количеством выдач около 20 тыс. книг за этот срок 6,7% всех выдач пришлось на Горького. Детали еще более убедительны. Из небольшого числа авторов-классиков на Горького пало 34% всех выдач. Наиболее читаемыми из его произведений оказались «Дело Артамоновых» (14% к общему числу читаемости), «Мать» (10), «Рассказы» (10), «В людях» (6,5), «Детство» (6,2), «Фома Гордеев» (3), «По Руси» (2), «Исповедь» (2), «Трое» (1,8), «Мои университеты» (1,6). В библиотеке фабрики «Рабочий», по проведенному учету мнений, на первом месте стоит Горький; из произведений — «Мои университеты», «В людях», «Мать», «Матвей Кожемякин».

То же — в других местах. Центральная библиотека деревообделочников лишь за две недели выдала из русских авторов Горького 139 книг, Толстого — 82. Наибольшим успехом в рабочих клубах пользуются «Мать», «Дело Артамоновых», «Детство». Спрос растет в такой степени, что приходится увеличивать и увеличивать запас произведений писателя, наиболее читаемых, так что в одной из библиотек сороковая часть всех книг (около 500 экз. из 2 тыс.) падают на сочинения Горького.

Вот Красно-пресненская трехгорная мануфактура. «Мы едва ли ошибемся, если скажем, что такого обширного количества читателей, какое имеет наша библиотека, не имеет ни одна библиотека на московских фабриках и заводах», читаем мы. Из 7 300 рабочих составился прочный контингент читателей, выросших за годы революции, научившихся различать авторов. Кто же здесь идет впереди всех? «Горький — любимый писатель мужской молодежи». В библиотеке при клубе «Красный путиловец» около 100 то-

мов произведений Горького, и все всегда на руках. На «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» установлена очередь. Из библиотеки книги доставляются через трех книгонош и 14 передвижек прямо в цехи, и «всюду больше всего требований на произведения Горького». После постановки в Доме культуры его пьесы «На дне» поднялся особый спрос на эту пьесу. Ежедневно спрашивают. И в крупнейшей библиотеке при центральном клубе строителей Горький по читаемости «занимает первое место». «Сочинения М. Горького разбираются так, что ни одного из них никогда не бывает на полках. Библиотека ежедневно вынуждена отказывать требующим произведения Горького».

И то же среди матросов, красноармейцев. Е. Хлебцевич, подводя итоги анкетному материалу этого рода, приходит к выводу в своем исследовании: «В отношении художественной литературы читательские интересы военморов почти совпадают с интересами красноармейцев, — любимые писатели одни и те же: Толстой и Горький» [1]).

Таков спрос не только столиц, но и провинции. Те же цифры дают библиотеки Чистяковских рудников в Донбассе о прочитанных здесь книгах. В Ульяновске (Симбирск), воспетом Горьким в столь многочисленных произведениях, цифры читаемости Горького дают такую картину. В 1909 г. в Карамзинской и Гончаровской библиотеках первое место занимал Л. Толстой, третье место — Вербицкая, Горький же был только на восемнадцатом месте. В 1926—1927 гг. это изменилось. Во Дворце книги, в состав коего вошли и Карамзинская и Гончаровская библиотеки, М. Горький занимает уже первое место.

Опыт постановки произведений Горького на суд рабочего-читателя, впрочем, не разработан со стороны цифр не только в провинции, но и в Москве и Ленинграде. Язык цифр здесь случаен. Однако уже из наличных цифр ясно: ни один из русских писателей не сравнится по читаемости с Горьким не только в рабочих, но и в красноармейских, а сплошь и рядом и в крестьянских библиотеках. Если до революции его читали, по преимуществу, верхи демократии, то ныне он продвинулся в самую гущу масс.

IX.

И вот — нить от прежнего к теперешнему читателю.

В продолжение многих лет я слежу за ним и вместе с тем за действенной силой книг Горького. Так ли уже действует образ Горького, как самоучки, литературная судьба его, выбившегося из мальчика на побегушках, мусорщика, булочника, наконец социального отщепенца — на такие высоты? Такова ли увлекательность самых книг, задевающих сердце, но автор является ступенью, через которую читатель поднимается со ступени на ступень. Напитав ум и сердце соками писателя, читатель и сам начинает тянуться к перу. И вчерашний его читатель сегодня и сам уже блестит на страницах печати.

---

[1]) Е. И. Хлебцевич, Изучение читательских интересов, Из опыта библиотечной работы в Красной армии. Изд. „Красная новь“.

В своей статье «Максим Горький и читатель низов» («Вестник Европы» 1913 г.) мной использована заметка Есенина о Горьком. Тогда Есенин был лишь рабочим типографии Сытина, не печатавшим еще стихов. Теперь — после революции — сам Горький пишет о нем, как о замечательном поэте нашего времени. Там же использованы мной заметки Ширяевца, отдельных «правдистов», еще нигде не писавших, деятеля рукописного рабочего журнала «Заря». Последний был, например, рабочим-кожевником богом забытого белорусского местечка. Ныне это белорусский поэт и критик Тишка Гартный, редактор белорусского журнала «Полымя», председатель первого белорусского Совнаркома. Вот как в те дни — предшествовавшие мировой войне — Всеволод Иванов начал чтение Горького. «В те дни печатали много брехни о Горьком, о пьесе «На дне», о том, что Горький — пьяница, развратник и богач, — вспоминает он. — Шесть домов имеет четырехэтажных. Больше всего мужиков поражало то, что от книги можно завести дома. В селе шла ярмарка. Сияли голубой лазурью горшки среди соломы. Визжали глиняные петушки. За балаганами стояли сугробы. Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. На пятак я мог купить книжку в 96 и 112 страниц «Как львица воспитала царского сына». В одном лотке на самом низу я встретил (изд. «Донской речи») книжки, под названием которых стояло «М. Горький». Они были по 32 страницы и меньше и стоили по 3 коп. штука. За 6 коп. я мог купить только 64 стр. Я купил «Как львица...», но купив раскаялся: всякому в Волхичеве будет лестно прочесть, что пишет человек, имеющий несметное богатство». Но тут попался ему приятель его Микешка: «Пойдем вместе, мы вместе выбирать будем». И вот украли они у лотошника все книги Горького. Спускали они книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку, будто почесаться, книжка и проскальзывала. Побежали к Микешке, залезли на печь. Печь была раскалена, было душно. Но они читали всю ночь. Рассказы им не понравились. Многое было непонятно. Но на сердце лежало томление удалой тоски. «Я шел домой, — пишет Иванов. — Книжки лежали у меня за пазухой. Мне очень хотелось к морю, и было очень хорошо. Когда я раздевался дома, книжки выпали на пол. Отец увидел их и бросил книжки в печь»... Но это не спасло Иванова от Горького. Раз пронизанный светом его книг, он тянется к этому автору. А ныне о нем же пишут статьи под заглавием «Второй Горький».

Так эти Ивановы, Есенины, Тишки Гартные и вышли из читательских недр, о которых у нас речь.

X.

Повторяю, читатель крестьянский наименее затронут моим материалом. Это, по-преимуществу, материал фабр.-заводский в широком смысле этого слова, что не надо упускать из виду в интересах самих критериев. Ведь ежели читатель имеет и индивидуальные черты, — черты, отражающиеся на читательских потребностях, то положение читателя — именно социальное положение — играет первенствующую роль в природе этих вкусов и мнений,

Каков же общий подход к Горькому? Я приводил протесты против предвзятости, агитационных трафаретов, рассыпанные в отзывах и металлистов, и текстильщиков, и строительных рабочих. Но тот бы ошибся, кто бы подумал, что у них два мерила — одно для политической, другое — для художественной литературы. Нет, отзывы о Горьком начинаются с социального момента. Это — социальный подход к каждому произведению Горького. К каждой вещи его они подходят с вопросом: а что она даст ему, как пролетарию?

Ткань рассказа не должна итти вразрез с интересами мастерства, — особенностям рабочей психики импонируют лишь образы, лишь движения, исполненные истины. Не надо подгонять их под идеологию, не надо ломать, коверкать действительность в угоду ей. Подобные приемы, очевидно, чужды рабочему восприятию. Однако классовый, социальный подход к писателю есть случай проявления общей черты рабочей психики. Естественно, и в подходе к Горькому бросается в глаза это проникающее все существо рабочего революционное единство его личности. Он подходит к Горькому как революционер, революционер-строитель, для которого все интересы в исторической линии нашего сегодня. Тот не получит представления об этом подходе, кто не примет во внимание этой основной черты всех оценок.

Этот подход, значит, не равносилен требованию «современного» содержания. Читатель не считает «современным» лишь то, что отображает лишь текущий момент, лишь послеоктябрьскую действительность. Нет, внимание их к прошлому, к «прежней русской действительности», жизни «старого буржуазного мещанства», как пишут донецкие шахтеры, актуально. Оттого-то они прежде всего подходят к Горькому, как «классику», писателю, неотделимому от старой литературы. «Мы считаем Максима Горького классиком»... «крупнейшим писателем старого времени»... «у Горького мы должны учиться, как у классика», — вот выражения, характерные для отзывов. «Не будь в заглавии автора, все равно чувствуешь по слогу, по художественной обработке, что писал классик» (рабочий Балтийского завода). Но одно дело — классики, другое дело — Горький. Вся классическая литература ныне превратилась в иллюстрацию к прошлому. Недаром такой спрос и пред'являют рабочие на Толстого. Пушкина, Гоголя, Достоевского, Гончарова, Чехова. «Вы говорите, что классиков никто из рабочих не читает, — пишет рабфаковец, рабочий завода им. Ильича из Ташкента. — Да, из идеальных рабочих, которых описывают современные беллетристы, никто не читает, но живая рабоче-крестьянская масса читает и наизусть знает и басни Крылова, и стихи Пушкина, и Некрасова, и отдельные произведения Толстого». Согласно данным рабочих библиотек, читатель классиков из года в год растет; Пушкин — один из популярнейших писателей нашего времени. Но нашему читателю даже по отношению к прошлому нужны иные идеалы, иная героика, иное разрешение вопроса, иной прогноз будущего, чем у классиков. Вот это-то и выделяет из них Горького в его глазах.

Горький подготовляет психологию его к восприятию ритмов нашей эпохи, дает то идейное, волевое начало, которое сложилось у них ныне: «Я люблю Горького больше всех классиков, — пишет рабочий Коротков. — Мне давно хотелось написать Горькому длинное-длинное письмо и рассказать, за что мы, рабочие, так любим его, так выделяем его из классиков». За что же, в самом деле? Повторяться нет нужды. Приемы затушевывания классовых противоречий, господствующего положения дворянства, буржуазии — налицо у всех. Оттого-то они с таким упорством и останавливаются на проблемах «вечного», «общечеловеческого». Правда, были исключения и в глазах наших пролетариев. Они называют Некрасова, Гл. Успенского. Но Некрасову, Успенскому и не снились еще интересы пролетариата. «Горькую долю русского мужика, неоправданные мечты о радости освобождения, — многое восприняло ухо поэта, — пишут они, например, о Некрасове. — Видеть это тогда было дано немногим. Уже тогда, когда так трудно было различать строение и дальнейшее развитие России, он понимал, за кем будущее» (рабочий завода им. Марти). Но все же это был хоть идеалист, соратник Чернышевского и Добролюбова, открестившийся от людей 40-х гг., но все же всем прошлым связанный с старой Россией. Другое — Горький. «Только исключительная личность, как Горький, отражал быт рабочих, — пишет рабочий металлического завода, — выявлял его соотношение с окружающей социальной средой... Только у Горького видим, как появляется и неуклонно идет на смену буржуазии ее исторически необходимый могильщик» (рабочий завода «Красная заря»). «Сравнивают тут Толстого с Горьким, — разве их сравнишь! — пишет рабочий фабрики «Ява». — Горький отражал душу трудящегося человека, вызывал мужество в борьбе. Толстой в низы не опускался. Он только вскользь задевал тех, у кого навоз сквозь пальцы просачивался. Может быть Толстой, как художник, и сильнее, зато Горький ближе»... «Толстой слезу вышибал, а Горький перерождал, укрепляя чувство собственного достоинства» (рабочий печатник 5-й типографии Транспечати).

Вот что и сближает и отделяет Горького от классиков в глазах пролетария наших дней. Литература была делом так называемой интеллигенции. И Горький еще более нарушал традицию, чем Решетников, Левитов, Кольцов. «О творчестве Горького нужно сказать лишь одно, что он близкий и родной нам р а б о ч и й к л а с с и к» (рабочий завода им. Калинина). «Как реально, как художественно описан в его рассказах быт рабочих! Глубокой ненавистью к царской России пропитаны произведения Горького» (рабочий завода «Вулкан»). «Он с исключительной яркостью смело и дерзко вскрывал безрадостную жизнь рабочих. Талант, простота, знание рабочего быта создали ему исключительную популярность среди рабочего-читателя, выдвинули его в небольшую группу русских писателей, имена которых в литературе останутся и с т о р и ч е с к и м и» (рабочий мастерской ГЭТа). «И рабочие, читая, понимают его строки, в которых он описывает свои страдания, свои мысли и чувства. М н е в с е г д а к а ж е т с я, ч т о в с в о и х р а с с к а з а х и р о м а н а х Г о р ь к и й п и ш е т п р о м е н я» (рабочий). «Книги Горького говорят о прошлой жизни русского народа: из-за чего все происходило, от-

чего народ был темный, неграмотный и так мало понимал, что на его спине размножилось купечество» (рабочий Балтийского завода). «Даже тогда, когда Горький пишет про купцов, я чувствую, что вместе с купцами он обличает и меня. И после чтения мне хочется стать лучше, вырвать из души то проклятое наследие капитализма, которое получили и мы вместе с купцами и мещанами». «Мне кажется, что ни один старый писатель с такой силой не призывает измениться к лучшему, как Горький. Вот за что я люблю его» (рабочий).

Горький не только «описует правдиво» («торговцев, мироедов, которые высасывали трудовые копейки рабочих», «их проделки над рабочей массой», «наше мучение и терпение»), но много «внушает» каждому рабочему, «дает пример каждому, кто стремится к будущей революции». «Здесь разоблачаются все несправедливости старого строя» и «с болью сердца читается теми, кому хоть немного знакома была жизнь эта, серая, страшная, изломанная» (донецкие шахтеры). Это не значит, что читатель умаляет других классиков. Он отделяет «нужное» ему от «ненужного». Из сравнения прочих их с Горьким он выносит критерий, помогающий ему разлагать все на составные элементы, воспринимать все «как нам надо». Это-то и выделяет Горького как «классика», близкого и родного им, классика пролетарской крови.

XI.

Относя Горького к классикам, наш читатель, таким образом, выделяет его из классиков. Ведь нутром Горький принадлежит не старой, а новой литературе, отцом которой он и выходит в литературу, по признанию читателя. Однако и с новой литературой он не сливает писателя. Но там он базируется на соображениях идеологических, здесь же исходит из соображений формального порядка, ставя Горького на особое место.

Борцом за искусство является пролетарий, повторяю еще. Форма, язык, композиция — все это волнует его, живо отражаясь в читательских отзывах. Для них важно не содержание лишь, но и писательская тайна, лежащая по ту сторону схем. Они против схем, как против протоколизма. И в этой вот плоскости и противополагают Горького молодым.

К Горькому все же ни один из них не приблизился, в глазах читателя. Он на настоящих писателей похож. Что Гоголь, что Толстой, — Горький, одинаково пишет красиво», замечает даже крестьянин глухого Керженцко-ветлужского края, тот, что даже Клюева не мог прочитать ни одной строки. Это не значит, что пролетарий и у Горького видит лишь завершенность приемов письма. «У Горького есть жилка, как и у авторов других покроев, распространяться, слишком раскрашивать ход событий, — пишет рабочий Балтийского завода о больших полотнах писателя. «Книга «Трое» представляет собой среднего качества произведение, т. е. не хуже многих его произведений, но и не лучше. Язык хуже, чем в босяцких рассказах» (рабочий Балтийского завода). «Пьесу «Мещане» автор сделал бледненькой. Нужны пьесы более художественные и, конечно, свежее» (рабочий Балтийского за-

вода). «Пьесу «На дне» желательно несколько сократить» (рабочий Балтийского завода). «Встречаются места, где у Горького из обыкновенного выходит и необыкновенное, и, наоборот, неестественное кажется естественным» (рабочий Балтийского завода). «Не скажу, что обрисовка героев всегда удавалась автору и даже больше: наоборот, большинство из них вышли как-то бледными, нежизненными. Наиболее удачными, правдивыми явились отрицательные типы (как у большинства русских писателей), — пишет 23-летний рабочий о книге «В людях». — Это торговки с их способами околпачивания как в кожевенных магазинах, так и в лавках с продажей икон».

О «Деле Артамоновых» читаем: «В романе нет центрального положительного героя. Положительные персонажи теряются в массах забастовавших рабочих и революционных демонстрациях. Может быть, поэтому роман теряет свою ценность» (рабочий завода «Электроаппарат»). «Дело Артамоновых» уступает в художественном отношении другим, более ранним произведениям автора. Чувствуется некоторая раздвоенность. Неясна основная идея романа, затушевано действие революции. Ярок по своему самодурству старик Артамонов, но в нем много глупости. Ярок Тихон и Никита. Но, в общем, — книга местами скучна».

О «Жизни Клима Самгина»: «Нет целостности, чувствуется сбивчивость. Вся книга написана языком не горьковским. Очень много иностранных слов, чего ни в одном из произведений Горького не встречается» (рабочий завода «Красный путиловец»). «По сравнению с прежними произведениями М. Горького «На дне», «Мать», «1905 г.», «Дело Артамоновых» и др., в которых он ясно и понятно для рабочего описывает своих героев, нельзя сказать этого про последнее его произведение. Многие действующие лица неясно описаны» (рабочий завода им. Марти). «Жизнь Клима Самгина», по сравнению с прежними сильными вещами М. Горького, как, например, «Фома Гордеев», «Трое», «Мать», значительно слабее в художественном отношении. Это, по всей вероятности, потому, что «Жизнь Клима Самгина» не роман и, пожалуй, не повесть, а «летопись» событий за «40 лет», которые переживал Горький. Хороши описания: коронация Николая II и открытие всероссийской выставки в Нижнем-Новгороде. Но автор устами героев философствует на каждом шагу и не всегда удачно» (рабочий электростанции). «Я прочитал «Клима Самгина» и пришел в некоторое замешательство: да Максима Горького ли эта книга? Может быть, недоразумение? Посмотрел на обложку: сомнений нет, Горького! Но почему такая разница? «Мать» — это один Горький, когда читаешь «Клима Самгина» — другой. Книгу читаешь уже не с тем интересом, как «Мать» и другие: много ненужной растянутости, мелочей, веет от нее давно минувшим, а мысль требует нового, живого. Я прочитал ее до конца, правда — с натяжкой» (рабочий Балтийского завода).

Как видите, рабочий отмечает формальные дефекты и Горького. Чем ближе к нашей эпохе, тем более бьют они ему в глаза. Дефекты дореволюционных произведений Горького менее дают себя знать ему. Рассказ 1922—1923 гг. кажутся ему уже более невыдержанными. Наиболее же критически относится он к роману «Жизнь Клима Самгина», вызвавшему ряд упреков.

Однако все это лишь оттеняет то любовное внимание, которое читатели проявляют к тому, что делает в их глазах Горького классиком, по праву носящим это знание в рядах новой литературы.

XII.

Начнем с языка. Для художника ведь имеет он значение, что называется, в первую голову. В сочетании слов и источник образов. Между тем речевой штамп вошел в плоть и кровь новых писателей; мы все, за редким исключением, «плохо знаем свой язык», по мнению читателя. Небрежность, хаотичность речи бросаются ему в глаза. И вот первое, что выделяет Горького уже из писателей наших дней, — это умный, совершенный язык, по его словам.

«Я до сих пор не встречал ни одного русского писателя с таким языком, красочным и сильным языком, как у Горького, — пишет рабочий завода им. Марти. — У Горького мы многому должны учиться в области русского языка». В клубах текстильщиков приходится слышать, что даже такую книгу, как «Цемент» Гладкова, они не принимают из-за языка. «Цемент» Гладкова так себе. Грубость, ругань и героизм... Не то Горький. У Горького мы много должны поучиться в области русского языка» (токарь). «Заслуживает внимания высокая художественная ценность словесного мастерства Горького. Особенно Горький ярко передает музыку — звуки. Особенную ценность для нас должна представлять формальная сторона его творчества, большое мастерство владения русской речью» (рабочий завода им. Марти). Таким языком пишет Горький не только тогда, когда говорит от своего лица, но и тогда, когда говорит от лица действующих персонажей. «Максим Горький пишет разговорным языком, почему приходится сказать: читается его перо легко, становится понятным, о чем он хотел или хочет сказать» (рабочий Балтийского завода). «Такие произведения, как «Коновалов» и др., доставили Горькому славу одного из величайших мастеров слова недавнего времени» (рабочий завода им. Марти).

Но не только язык выделяет Горького в глазах читателя. И стиль и приемы мастерства его выделяют его из писателей наших дней. «У Горького есть художественная правда» (рабочий завода им. Марти). Вот отчего «от книги Горького трудно оторваться, с каждой страницей становится она увлекательнее» (рабочий Северной верфи). В этом смысле «мелкие рассказы Горького всегда будут любимыми, дорогими для рабочих» (рабочий завода им. Калинина). «Правдиво, в простых и ясных словах рисуется жизнь старой России» (рабочий Северной судостроительной верфи). «Как тонко знает Горький психологию человека! Мельчайшие детали отшлифованы превосходно. Это не только в эпопее «Мать», это во всех его произведениях» (рабочий завода «Вулкан»). «Мать, идущая вместе с сыном к борьбе за свободу, дана блестяще. Слабых сторон в книге нет. Рекомендую всем, кто еще не читал гордости литературы — «Мать»» (рабочий Балтийского завода). У новых писателей натурализм,—натурализм в его чистом виде. «Подлинность—хорошая

вещь, но всякая подлинность имеет меру» (комсомолец, рабочий механического ремонтного цеха). «На что мне такая книга! Ругаться я и без нее могу научиться». Читатель против «бытовщины», против застывших штампованных форм народников-разночинцев. Ведь — по отношению к Горькому — речь идет об отображении новых социальных пластов, новых людей низов тех самых, которые художественно не отображались. Художественных произведений из жизни рабочих мало; удельный вес их невелик.

И вот у Горького читатель находит все это. Не мудрствуя, по их словам, над подбором слов, эпитетов и выражений, Горький чужд натурализма. Даже в случаях крайне реалистических он остается романтиком, что бьет в глаза и в его речи, и в его описаниях, и в его образах. И это сочетание реализма и романтизма, когда он не переходит меру, и лежит в основе того интереса к нему, как художнику, с которым не может спорить ни Сейфуллина, ни Гладков, ни Всев. Иванов, вопреки той «современности», к которой они устремлены вместе с читателем. Горький, видите ли, оттого-то и «подмечает те черты, которые обыденным глазам незаметны» (металлист).

Вот, например, женское отделение исправдома; деревенских баб здесь нет, одни городские. Но народ это особый: проститутки, «хипесницы», воровки-рецидивистки... У каждой по 8—10 судимостей. Вытащить на лекцию невозможно. И администрация вперед говорила чтице: «Повольните с неделю и бросите. Ничего не выйдет». И в самом деле, «матом ругаются почище мужчин». Проходя по коридору в бывшую тюремную церковь, где чтения имели место, сквернословили, сипло, по-мужски, хохотали по адресу чтицы, проявляя удивительное, ничем не об'яснимое упрямство в нежелании «грызть гранит науки». Но чтица стояла на своем. Ей казалось, что ежели найти контакт между писателем и аудиторией, то аудитория не может не поддаться при каких бы то ни было условиях. И вот вопрос: как найти контакт? Чем захватить эту разношерстную, истерично-неврастеничную людскую смесь, отравленную кокаином, половыми излишествами и всеми болезнями рода человеческого? Попробовала одного, другого, третьего писателя. Никакого эффекта! Не доходит до слушательниц! На истрепанных испитых лицах — зеленая скука по прежнему. По прежнему искрятся злые огоньки в мутных и грустных глазах. «Очевидно, и в самом деле, придется бросить, — решила наконец Н. Шугаева, — что тут может выйти!» Но тут она вспомнила о Горьком. И на следующий день взялась за «Супругов Орловых». И вот — на глазах Шугаевой совершается чудо. Смолкли шушуканья, раскраснелись блеклые лица, лихорадочно заблестели глаза. Некоторые вытянули шеи, склонили набок головы и раскрытыми ртами как бы ловили каждое слово. И чтица отмечает долгожданное перерождение аудитории. На грубых низколобых лицах со следами порока и вырождения проступает выражение странной детскости. И брешь пробита, контакт найден. Аудитория безвольным, покорным звереньшем свернулась у ее ног. А потом пошло еще легче. Читали «Вывод», «Старуху Изергиль», «Болесь», «Дед Архип и Ленька», «Однажды осенью», «Скуки ради», «Ералаш», «Мальва», «Зазубрина», «Васька Красный», «Двадцать шесть и одна», «На дне» и пр. Интерес к писателю возрастал. Каждый

рассказ захватывал в такой степени, что двух часов стало мало для занятий; отвоевали три, а потом целых четыре. Раньше на занятиях, не стесняясь чтицы и администрации, слушательницы ругались отборной матерщиной, бравировали знанием блатного жаргона. Через три месяца она уже не слыхала ругани и блатного жаргона. Тридцать человек выучились читать и писать.

И что именно интереснее всего — и перед этой аудиторией вставал вопрос о процессе письма этих произведений. «Все это сам видел или из головы выдумал? — спрашивали слушательницы. — Сколько времени он пишет — выдумывает книгу?...»

Еще до содержания Горький действует на них, как художник, с которым не стал рядом ни один из писателей, шедших вслед за ним. Зрительная и слуховая память вбирает в себя краски, звуки, голоса и жесты с особенной силой, и читатель — попадая в мир этих красок, звуков, запахов — сливается с существом писателя. Даже язык его, без подделки под народ, прекрасный русский язык, уже чуждый следов аристократизма Тургенева и Толстого, кажется им таким, каким уже не пишут писатели наших дней. Изживая плакатность мышления, он тянется к сложности, к глубине, тому реализму Горького, которого не смешаешь с статическим, бесперспективным натурализмом — реализму, изображающему жизнь в движении, в ее развитии, в ее деталях, без которых он не представляет себе Горького.

XIII.

Перейдем к содержанию.

Читатель «видит в книгах Горького самого себя», вот в чем смысл этого содержания. У старых писателей отсутствовала масса, у Горького, как и у всех писателей, идущих за ним — Чапыгина, Вольного, Новикова-Прибоя, Неверова, Под'ячева — борется, страдает, побеждает или погибает именно масса. Даже красноармейцы — на вопрос, чем близок им Горький — отвечают: «Описывает нарождение рабочего», «жизнь бедного человека», «защищает права пролетариата», «пишет, как издевались над нами», и т. д. Впрочем однородности отзывов нет, как и должно быть.

Читатель, о котором здесь речь, весь в напряжении, чтобы не отстать от современности. Пройдя через революцию, чувствуя себя на арене истории, он требовательнее, чем дореволюционный пролетарий интеллигент. Есть даже группа, перед которой стоит вопрос о самой «рабочести» Максима Горького, вопрос, возникший в среде рабочих-правдистов в связи с колебательной позицией, занятой писателем по отношению к революции.

Теперь Горький признал свои колебания ошибочными, безоговорочно принял логику Октября. Однако, раз возникнув, вопрос о социальном опыте писателя держится в отзывах читателя этого типа. Одни из них не забывают, что хотя Горький и победил ограниченность своего слоя, этой окуровской среды, все же он скорее разночинец по своему происхождению, социальному положению, чем пролетарий, — такой же самый, как Решетников, Левитов, Н. Успенский, прочие разночинцы эпохи народничества. Конечно, он ближе, гораздо ближе к социальному дну, чем они. Но все же этого недостаточно,

чтобы сделаться писателем рабочего класса, отразить его бытовые особенности, его душевный склад. Для этого нужен другой опыт. Для других Горький-пролетарий — писатель самой ранней эпохи, когда пролетариат делал первые свои шаги в борьбе за свои права. Третьи ставят писателя в связь с галлереей художественных персонажей, к которым Горький так прильнул на пороге литературного бытия своего.

«Идеологически Горький подходит к нам довольно близко, — пишет токарь завода им. Марти. — Мы считаем Максима Горького писателем нашим, пролетарским, созвучным нашему времени». Но «тесная связь с началом рабочего движения, с истоками партии — вот его заслуга. Он и сейчас заглядывает все в прошлое» (рабочий бердоремизной фабрики им. Бухарина). «У Горького мы многому должны научиться, что, однако, не мешает изучать идеологическую сторону его произведений, подходя к нему с нашей пролетарской точки зрения» (токарь завода им. Марти). И чем дальше, тем строже этот читатель в своих критериях. «Жизнь Клима Самгина» рисует интеллигенцию 90-х гг. Книга кажется нам скучной в интеллигентских словопрениях на социальные темы. Наша современная жизнь дает нам не слова, а социалистическую республику, и поэтому нам и кажутся скучны и чужды бесплодные искания обывательщины 90-х гг. Но сущность книги — именно в этих людях, в их психологии, в эпохе, контраст которой с нашими днями кажется трехсотлетним периодом» (рабочий мастерской ГЭТа). Горький для них писатель промежуточных слоев, несмотря на близость к социал-демократии с 1901 г. бытописатель окуровской Руси, по преимуществу. «Что же Россия! — цитирует шахтер Тиунова из городка Окурова. — Государство она, без сомнения, уездное, тут тебе и Россия!»

Отсюда подход и к отдельным вещам. «Скажу прямо: скучно мне было читать... Читал «Дело Артамоновых». Ну, где показана наша революция? В «Деле Артамоновых» Горький изобразил рабочих в виде пьяниц. Ни словечка про нашу борьбу. Ну, кому это нужно! Ни уму, ни сердцу, как говорится. Возьмем Фому Гордеева. Выставил героем какого-то купца-анархиста» (рабочий). «Книга, как художественное произведение, ценна. Но только не рабочему ее читать! Ценная книга занята скучной и растянутой философией» (рабочий завода «Большевик»). «Может быть, Горький хотел показать революционные настроения их, рабочих, — это ему не удалось. «Дело Артамоновых» не рекомендую читателю» (рабочий Балтийского завода). «Люди, как Артамоновы, жили за счет рабочих. На рабочих смотрели, как на пыль. Все это можно было дать яснее, рельефнее. Но Горький показал это жиденько, не украсив эту повесть революционным ревом» (рабочий Балтийского завода). Горький, по мнению этих ригористов, рисует «чистый» рабочий быт, вне «классовых противоречий», замкнутый в кругу рабочих будней.

Еще строже достается его босякам. От этих чистых душ бродячих анархистов читатель открещивается резко. Конечно, люмпен-пролетарий и по сей день жив в рабочей среде. Попадаются такие признания. «Сюжет книги взят из реальной жизни бродяг. Прочитавши книгу, душа рвется к ним, к этим обездоленным, но все-таки вольным и свободным лицам». А то: «Мое

мнение — этого обвинять нельзя, потому что ему другого выхода не было, как только воровать». Но эти взгляды для читателя этого склада не характерны. «Горький показывает их в виде героев. Разнузданные люди! — восклицает он. Иные снисходят к этим грехам юности, памятуя, что писатель не только автор «Челкаша», но и «Дела Артамоновых», что от былого романтизма он перешел к своеобразно-описательному реализму. «Такие произведения Горького, как «Челкаш», «Коновалов» и др., ставят в центр внимания босяка, люмпен-пролетария, и как будто идеализируют его, указывают на него, как на силу, которая может вывести общество из тупика, в котором оно находится. Это обстоятельство может заставить нас отнестись недоброжелательно к идеологической стороне творчества Горького, — читаем мы. — Однако следует заметить, что, несмотря на то, что босяк у Горького показан человеком оригинальным и чистым, вовсе не случайным является то, что все босяки у Горького находят в себе достаточно сил для борьбы со злом современного им общества и кончают жизнь самоубийством — физическим или моральным. В этом сказывается художественная правда Горького. Как бы ни был идеологически настроен он к тому времени, когда писал эти произведения, а художественное чутье великому автору все же подсказывает, что люмпен-пролетарий, несмотря на его хорошие качества, не может быть носителем зародыша нового общества» (рабочий завода им. Марти). В общем они все же подчеркивают, что это не вольный бродяга, сбросивший с себя цепи мещанской морали, что это герои уголовщины, проститутки и воры, хищники, которым возврата к человеческому нет, потерявшие не только паспорт, но и звание человека; что «идеологическая неопределенность» не позволяла оформиться творчеству Горького потому, что пролетарием он был более по темпераменту, чем по бытовому опыту, что он «не дышал воздухом фабрики, завода, не перечувствовал своих образов у станков, в грохоте машин и колес».

XIV.

Сложность эпохи, которой служил и служит Горький, ставит между читателем и писателем некий барьер. Каковы бы ни были плюсы Горького, как писателя, все же пределен «характер» его восприятия для них, вопреки авторитету Ленина, писавшего еще до революции, что «Горький безусловно крупный представитель пролетарского искусства... авторитет в деле пролетарского искусства» («в деле пролетарского искусства Горький есть громадный плюс, несмотря на его сочувствие разным ересям»). Не «потомственный почетный пролетарий», он лишь «в пролетарском окружении», по словам этой группы лиц. Однако группа эта количественно ничтожна.

Взгляд этот характерен и для критиков Горького. Не один из них доказывает, что, в сущности, нет Горького единого, а есть ряд Горьких, что марксизма, как теории, не усвоил ни один из этих Горьких; что даже там, где его внимание приковано к пролетариату, он свой пролетариат растворяет в «народушке», том самом. который он воспевал в «Лете». Все это льет воду

на мельницу этих отзывов. Однако я не погрешу против истины, если скажу: эти мнения тонут в прямо противоположных, утверждающих пролетарскую подлинность Горького, полноту пролетарского опыта его. Вся экономика, переложенная Горьким на язык художественных образов, — от босяков до городка Окурова, от «Врагов» до сормовской фабричной эпопеи, послужившей канвой для его романа, — говорит им о пролетарском художнике в чистом его виде. Может быть, этот слой сам граничит в той или иной степени с ремеслом, мелким трудовым людом, отражает недозрелость нашего индустриального развития, скажет кто-нибудь. Может быть! Все же слой, считающий Горького выразителем психологии и идеологии пролетариата, широк, много шире, чем в ту пору, когда я писал первые статьи о горьковском читателе.

Иной признается, что за всю жизнь ему пришлось прочесть всего три книги. Но в числе их была книга Горького, которая и «подняла его на высоту». Нет уже того тона, правда, нет тех восторженных слов, какие я приводил в 1912—1913 гг., но пролетарские моменты творчества Горького здесь вне споров. Это для них художник «материалист», художник материалистического приятия мира, противоположность символистам, которые когда-то — в годы упадка — вели такую кампанию против быта, против мира, единственно реального, единственно существующего опыта; художник-коллективист, чувствующий дыхание класса, ритм его борьбы, привыкший ценить и уважать труд, пафос созидательного творческого труда. Ведь как-никак, а герой революции нашей — масса. А кто ее доподлинно дает? У кого такой жизненный опыт этого рода! На путь обобщений толкает ведь Горького не «анализ», а художественный инстинкт, социальный запрос души.

«Мы считаем Максима Горького писателем нашим, пролетарским, созвучным нашей эпохе... Самым близким нам из всех писателей. Сможет ли он дать нам, новым, новую картину современной жизни, такой же яркой правдивости, как ему удавалось в прошлом» (рабочий Северной судостроительной верфи), конечно, вопрос. Но в том, что он дал, — он свой, родной, вопреки всему, что пережил рабочий класс. «Когда читаешь рассказ старой цыганки Изергиль о горящем сердце Данко, разве не вспоминаешь пламенных борцов за революцию, которые, ведя рабочих на широкое поле свободы, сгорают в борьбе, или, читая его рассказ «Коновалов», разве не вспоминаешь тысячи заблудившихся одиночек» (рабочий ремонтно-механического цеха завода им. Калинина). «В 1910 г. Ленин назвал его пролетарским писателем, и он действительно был им, основоположник пролетарской литературы» (рабочий бердоремизной фабрики).

Насколько это так, убеждает их, главным образом, «Мать», вплотную подошедшая к рабочему движению, изображению пролетариата и его борьбы в 1905—1906 гг. Художественная неудача «Матери» для нас не подлежит сомнению. Луначарский справедливо говорит, что со всех сторон повести торчала программа РСДРП. Социалистическая мечта неопределенна, революционеры напоминают подвижников, а рабочая среда засахарена. Словом, это не положительный роман, но произведение той же романтической закваски,

что его босяцкие наброски, но без их мастерства. Однако какую роль эта вещь играет в глазах рабочего читателя наших дней! Роль эта не только не сузилась, но выросла во много раз.

«Мать, идущая вместе с сыном в борьбе за свободу, дана блестяще, — пишут они. — Слабых сторон в книге нет. Рекомендуем прочесть всем, кто еще не читал гордости русской литературы — «Мать». Читаешь и переживаешь чувство радости и боли за героев этой повести» (рабочий Балтийского завода). «Мать» Горького считаю одной из лучших его вещей. Реальность сочетается с художественностью. Как тонко знает Горький рабочего человека! Это не только в одной эпопее «Мать», это во всех его произведениях» (рабочий завода «Вулкан»). «Даже невольно хочется читать вслух. Мне удалось читать вслух 1-ю книгу. Я эти страницы читал громко. 1-я книга отмечает ту характерную черту жизни рабочего, что, читая эти страницы, невольно мороз бежит по телу, и другой старый рабочий, читая эту книгу, вспоминает: «да и моя была когда-то такая страшная, кошмарная, темная жизнь, как вот этого несчастного слесаря Михаила Власова». «В общем и целом, две эти книги М. Горького — «Мать» — да, действительно мать. Книга эта, по-моему, напоминает о той жизни, которую люди за правду народа переживали» (рабочий завода им. Марти). «Книга очень интересная, ярко рисующая жизнь рабочих, борьбу и особенно тех, которые не учатся сами и в то же время учили других, не жалея себя» (рабочий завода «Туннель»). «Прочтя произведение «Мать», мы ясно себе представляем, как приходилось социалистам бороться за свободу в то время, когда господствовал буржуазный класс во главе с царем-батюшкой». Эту книгу мы можем считать чисто революционной. Здесь Горький нам показывает, как жилось крестьянам в деревне, рабочим в городе, как социалисты вели подпольную работу. Этой книге, по-моему, можно дать другое, более подходящее название — «Социалисты» (рабочий Путиловского завода). «Читая ее, узнаешь жизнь подпольных работников. Старуха со старыми убеждениями и верой во Христа становится революционеркой. Читая это произведение, можно брать пример со старых борцов. При случайных кризисах в настоящее время надо надеяться на лучшее и не падать духом» (донецкий шахтер). «Предлагаю женщинам в особенности прочесть книгу «Мать», так как автор ее сумел роль матери изобразить так, как это могло быть в действительности». В отзывах отнюдь не сквозит увлечение Горьким, как борцом за революцию вообще. Нет, читателю «Матери» близка именно психика рабочего-писателя, рабочего-революционера. Не революционная романтика даже; нет, торжество идей марксизма, вливающего чувство бодрости в сердца рабочих. Ведь рабочий в искусстве России — явление недавнее.

Но одна ли «Мать» в этом убеждает пролетариев! Вот автобиографические вещи, вроде «Детства» или «В людях». И, читая их, они убеждаются, что Горький — это они сами. «Жизнь Горького была действительно горькой, и мы верим его строкам. Читая, рабочие понимают его строки, в которых он описывает свои страдания, свои мысли и чувства» (рабочий). ««В людях» заставит задуматься о том, что каждый читающий

рабочий может путем проверки сравнить себя, провести параллель между собой и Горьким». «Очень приемлемо рабочему читателю; здесь мы видим, насколько трудна жизнь, т. е. как трудно вступить в условия жизни и обеспечить свое существование рабочему» (рабочий Балтийского завода). «На всю жизнь я запомнил две картинки из повести «В людях». В одной Горький показывает, как на потеху купцам один приказчик с'едает 10 фунтов ветчины, а они забавляются его мучительством, а в другой Горький описывает, как издевались люди на пароходе над забитым и неуклюжим отставным солдатом, доведя его чуть не до самоубийства. Мне всегда кажется, что Горький в своих рассказах пишет про меня» (рабочий Коротков). И то же пролетарское, истинно пролетарское чувствуют они в других вещах. О «Деле Артамоновых» говорят они: «Главное, автор чутко-правильно обрисовал душу рабочего, поэтому книга тебе делается как бы родной» (кузнец). «Такая книга подойдет рабочему читателю» (слесарь). «Освещает весь быт любителя наживы и существование трудящегося и его борьбу. Горький всегда пишет то, что на самом деле есть и было. Эта книга, можно сказать, для рабочего класса» (рабочий Балтийского завода) и т. д. Не только разнообразие, значительность социальных явлений, через которые прошел творческий опыт писателя; не только его любовь «героической поэзии труда» во всех этапах его развития убеждают их в пролетарской подлинности Горького. Прямым подтверждением этого в их глазах является и то, что старая интеллигенция сделала его мишенью всех нападений на революцию и ту роль, которую играл и играет в ней пролетариат. «Главное то, что он наш, свой брат, мы за него и ухватились. Все у него для нас близко и понятно. Когда мы в начале 900-х гг. читали Горького, он толкал нас к революции. Взять хотя бы «Мать» — там прямо напрашивается: возьми, мол, и спихни! Здорово он нас двинул...» — вот основной душевный тон всех этих оценок.

XV.

Есть разница, однако, в отношении к книгам Горького прежде и теперь, разница, которую нельзя не отметить. В чем же состоит эта разница?

Прежний читатель находил в произведениях Горького то, что есть, что ежедневно, ежеминутно его давило и физически, и психически. Нынешний же здесь видит лишь то, что было. Пусть пролетариям — «Приходится сожалеть, что автор где-то далеко, в незнакомой Италии, а не среди нас» (кровельщик Северной судостроительной верфи). «Наша современность богата новыми типами людей, развернулось гигантское строительство. Есть о чем писать. Чтобы описать наш труд и нашу жизнь, нужен талант Горького» (рабочий Егоров). Все же говорят они об этих книгах, как говорят о прошлом. Но мертвое всегда хватает живое. Оно в самих наших критиках от станка более живо, чем это кажется на взгляд. И отличительная черта читателя не только в этом самом факте, но и в том, что он сознает его смысл.

Испытав черную работу, «дно», которое описывал, испытав все обиды и унижения, которые испытывают тысячи и миллионы людей, Горький, кажется, редко что так ненавидел, так рубил и колол в своих произведениях, как старую мещанскую Россию. Это — мир, от которого Горький всегда отталкивается, против которого всегда заострен до крайности. Но социальные пласты мещанства — это социальные пласты капитализма, шествовавшего не только вглубь, но и вширь. Ведь из города Окурова в одну сторону выходила буржуазия, в другую пролетариат. И выше поднимался Горький. Заслуга писателя именно в том, что — идя войной на городок Окуров — он вместе с тем выявлял процесс перерождения Окуровской страны, уездной действительности России в Россию кануна, выявлял предреволюционную роль пролетариата. Вот в чем отдает себе отчет читатель наших дней, быть может и сам метавшийся в этой атмосфере с грузом обид в душе.

Он против рабочего, как исключительного героя произведений, стержневого типа пролетарской литературы, против того, чтобы — в ущерб остальному — замкнуться в чисто рабочем быте. Какими бы узами писатель ни был связан с пролетарием, как бы он ни выявлял в нем самого себя, свои симпатии и антипатии, свой бытовой опыт, — все же полотно, развернутое им, должно охватить общество в целом, всю социологическую структуру эпохи, по его мнению. Это и находит он в горьковском «прошлом».

«В книге «Трое» мещанская среда, — пишет рабочий Балтийского завода, — мещанская среда города изображена, как и всегда, прекрасно. Остается хорошая мысль, что теперь уже нет такой жизни у нас, а где есть, так мы уничтожим ее»... «Трое» понравилось. Да, молодежь не могла свободно пробивать себе дорогу, была в зависимости от купцов, вообще — буржуазного класса, который эксплоатировал ребят, выжимая последние соки» (комсомолка-работница)... «От Фомы Гордеева трудно оторваться. С каждой новой страницей книга становится все увлекательней. Правдиво, в простых и ясных словах, рисуется жизнь старой России. Ярко воспроизведены типы дворян, чиновников, управлявших страной. Превосходно нарисованы типы купцов и промышленников с их упорным и твердым стремлением нажить капитал для себя. И в то же время их бесчеловечное отношение к тем, кто своим трудом создает им ценности. Хорошо передан тип интеллигента того времени, у которого есть кое-какие намерения изжить отвратительный строй, но нет почвы под ногами, нет правильной реальной дороги к этому. И наконец промышленный пролетариат, отдельные единицы которого нащупали реальный путь выхода, и упорно, героически идут со своей массой вперед» (рабочий Северной судостроительной верфи). «В книге говорится о прошлой жизни купечества, на какие шли они преступления, лишь бы увеличить свой капитал и в то же время считать себя честными и религиозными людьми, несмотря на то, что их капитал пропитан кровью и слезами миллионов людей» (рабочий Балтийского завода). «Ярко обрисован герой Фома Гордеев, не мирившийся с жизнью и бытом купцов, но не находивший ответа — как жить дальше» (рабочий завода им. Марти). «Это одна из самых ценных книг, что я про-

читал. Когда она издавалась — не знаю. Думаю, задолго до революции. Ценный подарок Горький дал рабочим в этой книге, ценю его как одного из великих людей» (рабочий завода «Дожада». Украина). «Как в рассказах и повестях, так равно и в «Мещанах» Горького ярко рисуется жизнь старой России с ее положительными и отрицательными сторонами. Автор дает характерные типы жадных до наживы, невежественных, не останавливающихся ни перед чем богатеющих кровососов. Воспроизводит жизнь и быт верхушек старого общества с его взяточничеством, казнокрадством. Дает либеральствующие типы. То забирается вглубь быта обездоленных, бесправных, правдиво описывает их беспросветную жизнь, их борьбу и надежду на лучшее будущее, то пророчески предсказывает назревающие революционные события» (рабочий Северной судостроительной верфи).

То же вычитывают из «Городка Окурова», вопреки тишине, которой он окутан, наши пролетарии. «Как на экране, вы видите одну за другой сцены — жизнь с лицевой и обратной сторон — городского мещанства. Богатые «поедают» бедных, а бедные ненавидят богатых. Японская война и 1905 г. застают жителей городка Окурова в полусонном состоянии. Больше питаются тем, кто что сказал, но чувствуется — если бы дать им полководца, пожалуй бы голытьба окуровцев двинулась на штыки с коронованными особами» (рабочий Балтийского завода). «Рекомендую читателям, интересующимся отношением уездного населения к событиям Японской войны, рабочего революционного движения. Книга описывает внутреннюю жизнь городского мещанства: одних, живущих впроголодь, других, ничего не признающих, кроме кутежей (пьянства, разврата)» (рабочий Балтийского завода). Это рассказы не о кулаках лишь, скопидомах, хищниках, строящих свои капиталы на чужом труде, не о мещанской лишь душе. Это рассказы и о них самих, мечтателях, жертвах этих хищников, будущих строителях человеческой жизни, об их сокровенных желаниях и думах, облеченных в слова; рассказы о повседневных, прозаических страданиях масс, в которых основной корень народа показан так, как ни одним другим писателем не показан; рассказы о заграждениях, через которые приходилось пробиваться таланту из рабочих во времена царизма.

Если в таких произведениях, как «Фома Гордеев», «Трое», «Мещане» и т. д. перед читателем проходит галлерея мещан, интеллигентов, борьба с которыми составляет дело всей жизни писателя, то в таких вещах, как «Детство», «В людях» он видит выходца из низов, самоучку, не знавшего подчас и низшей школы, обязанного всем книге в нашей полудикой стране. Горький заставляет читателя переживать свое прошлое, социальный инстинкт самосохранения, уверенность в жизнеощущении пролетария. «Читателю приходится поражаться, с какой настойчивостью сам Горький-мальчик осуществлял свои желания, например, как ни тяжело ему приходилось от окружающих за его любовь к чтению, но он ни на минуту не изменял своему верному другу — книге» (рабочий 23 лет). «Горький описывает свое житье-бытье. В этом повествовании мы видим его героические усилия про-

ложить себе дорогу на право «жить». Видим начинающуюся борьбу и ненависть рабочих к богачам» (рабочий Балтийского завода).

Не все, порою, отвечает «классовому инстинкту» нашего пролетария. Одного из читателей останавливают «божественные изречения» Горького. «Трое» Горького написаны хорошо, но слишком часто упоминаются изречения из библии. Но «удивляться нечего», по его словам: ведь описывал он «тех людей, кто имел бога». Другим не импонирует отношение к крестьянству со стороны писателя. «Как я лично понял, Горький сладостно смеется над типичным русским мужиком. Неужели Горький думает, что в 1905 г. вся глушь русских деревень состояла из таких, которые совершенно не имели понятия о слове «свобода», «политика» и что она из себя представляет» (рабочий Балтийского завода).

Но как писатель умеет раскрыть им в прошлом настоящее! Горький ищет будущего, лишь будущего, — вот что связывает, в их глазах, даже дореволюционные вещи с тем, что пережито, делая их вещами величайшего напряжения, социального охвата.

Плеханов уверял, что Горький недооценивал положительной миссии капитализма, творческой энергии буржуазии. Наш читатель этого не разделяет. Лишь дворянство, в его глазах, спело свою песню. Лишь в нем Горький видел паразитов в чистом его виде. На строителей же капитала, концентрирующих тысячи рабочих, он смотрел, по их мнению, «не народнически», понимая, что «без них не было бы и того пролетария, который осветит страну заревом пожара, который выведет ее из тисков этого капитала».

XVI.

Горький, таким образом, не проявляет внимания к пролетариату; в таких художественных произведениях, как «Трое», «Фома Гордеев», «Мещане», — совсем не заметно еще «марксистского устремления», — все же для читателя это не только борьба с мещанством, не только преодоление «мерзостей жизни», но и борьба за марксизм, революционный синтез, который он теперь осуществляет. Тем глубже значение для него вещей, вышедших после 1906 г. Все, решительно все в этих «памятниках нашей революционной литературы» об'ясняет ему, «как из того, что было, произошло то, что есть теперь. Конечно, импонирует «верность взгляда», вытекающая из «пролетарской честности его натуры», и в вещах, вышедших в свет уже ныне.

Вот что нравится, например, в «Деле Артамоновых». «Люди, как Артамоновы, валялись в об'ятиях продажных женщин — и только. Революция сбросила Артамоновых, забрав их фабрики и заводы, нажитые потом рабочих» (рабочий Балтийского завода). «Автор разоблачает тупость и дикий разврат буржуазии; невольно накипает чувство ненависти, а главное, — автор чутко-правильно обрисовал душу рабочего» (кузнец). «Книга может быть интересна для рабочего. Хорошо знает русский быт от эксплоататора до эксплоатируемого, их жизнь и цели и стремления. Освещает весь быт лю-

бителя наживы и существования трудящегося и его борьбу» (рабочий Балтийского завода) «В книге, в лице Артамонова и его сыновей, автор показывает новых промышленников, которые увидали, что с освобождением нажить капитал можно, так как рук свободных много, и они строили и расширяли производство, но с развитием производства рос и рабочий класс; росли и потребности, чего не могли не заметить и понять Артамоновы» (рабочий Балтийского завода). «В настоящем романе автор не поучает устами своих героев о том — что хорошо или плохо, а передает читателю целиком образы Артамоновых, с тем чтобы читатель сам определил отрицательные стороны мещанского болота дореволюционного времени» (рабочий завода «Электроаппарат»). «В «Деле Артамоновых — последнем романе Горького — широко и правдиво изображена русская буржуазия, начиная с ее возрождения с отменой крепостного права и кончая крахом после революции. Действующие лица типичны. В них автор воплотил наиболее яркие черты русской буржуазии, показав себя глубоким психологом. В целом книга является прекрасной иллюстрацией указанной выше общественной полосы и должна быть рекомендована как лучший образец русской литературы, главным образом рабочим» (рабочий завода «Электросила»).

Народ не обсахарен, автор ничего не преувеличивает, не преуменьшает, по их мнению. Как мы видели, и здесь не без упреков. «Мало изображена революционная борьба»; «затушевано действие революции». Не всегда, мол, «переваривает» Горький исторически-необходимые предпосылки для «социалистического строительства» наших дней, — промахи, особенно бросающиеся им в глаза в «Жизни Клима Самгина». Однако для вдумчивых читателей и эта вещь прочно связана с движением пролетариата. Отрицательные оценки об'ясняются ими отсталостью самих пищущих.

«Роман кажется и трудным и серьезным для малоподготовленного читателя, — пишет рабочий завода им. Марти. — Только рост нашей культуры даст нам возможность правильно разбираться в творчестве Горького последних лет. Но последний роман Горького «Жизнь Клима Самгина» — это полноводная река мыслящей старой России. Неясные шатания и искания русской интеллигенции, бросание от творческого социализма, от народничества к марксизму, к вечным вопросам пола, — вот пути нового романа. Нет такого типа интеллигенции, который бы так или иначе не был представлен в романе. Бездарнейшее время царствования Александра III мало изображено нашей литературой. Это время кажется тусклым и неблагодарным материалом; нет тех узлов, за которые так легко цепляться. Между тем мысли одной эпохи породили другую эпоху мысли. Тем бо́льшая сила таланта Горького, что первая часть «Клима Самгина», несмотря на скудный материал того времени, оказалась насыщенной, ярко и четко запоминающейся. Сотни действующих и проходящих через роман людей имеют каждый свое лицо» (рабочий завода им. Марти). Даже ворча, такой читатель отдает должное общему значению романа. «Нет той искры, которая будировала бы читателя, отчего книга не производит на читателя такого воздействия, как

другие его произведения. О рабочих, кроме упоминания, нет ничего, как будто такие события, как «Ходынка», обошлись без их участия. Описана «Ходынка в отношении каких-то обывателей-интеллигентов и при упоминании только рабочих. Нет в книге основной массы всех событий, которые затрагивают рабочих и крестьян. Все произведение описывает мещанско-интеллигентную среду с ее шатаниями. И в книге трудно разобраться рабочему-середняку, под силу только более подготовленному. Но, читая книги М. Горького, каждый рабочий легко разбирается и понимает роль каждого действующего лица, взятого из повседневной жизни, их окружающей» (рабочий завода им. Марти). «Все выведенные в романе лица типичны. Клим — лентяй, живущий чужими мыслями; отчим, твердо сколоченный; Лидия, заблудившаяся в трех соснах, дьякон с его песенками. Очень ярко изображены эпизоды «Ходынки», под'ем колокола. Вероятно, во 2-й части автор введет рабочих и нашу современную жизнь. Тогда эта книга приобретет еще большую ценность» (рабочий мастерской ГЭТа).

XVII.

Моральный капитал, приобретенный Горьким в глазах пролетариев наших дней, таким образом, в первую голову, вытекает из того, что он пропел песню старому миру, к которому возврата нет; что он разжег огонь современности, которой они служат. В 1912 г. Горький — буревестник, предрекавший переворот — приветствовал человека, что идет из подвалов и чердаков, человека бодрого духом [1]). Ныне эта бодрость, эта действенность, этот пафос борьбы выступают перед читателем в свете наших дней в самом писателе.

Нужна ли обстановка более мрачная, чем та, которую прошел сам Горький? «Случай с Горьким» — уверяет сам писатель — нельзя рассматривать, как случай. Тот факт, что «некто Алексей Пешков, преодолев свою малограмотность», стал литератором, таким же, как те, что проходят университеты, теперь бытовое явление, по его словам. Сейчас биографий, вероятно, тысячи, по его словам. Но ведь речь идет не о наших днях. Поищите зеленых кусточков, поищите светлых тонов у Никитина, Решетникова, Левитова! У них не было, не могло быть веры, непреоборимой веры в то, что должно быть и будет, той веры, резко расходящейся с тем, что есть, что с стихийной силой была в Горьком. Вот этот-то практический идеализм и гармонирует с жизнечувствием читателя.

Это уже не романтическая бодрость. Это — сознание своей социальной силы, энергии наших лет. Немало произведений Горького мрачны по своим сюжетам. Люди, отравленные водкой, люди дикой тьмы в этих рассказах. Но как ни мрачны факты, свидетелем которых был не только писатель, но и читатель, последний никогда не выносит из его произведений

---

[1]) См. „Писатели-самоучки", 1913 г., изд. „Жизнь и знание".

чувства пессимизма, всегда выносит из них веру, веру в простую, умную, чистую жизнь, веру в то, что жили мы, конечно, гнусно, но зато жить мы будем так, как до сих пор не жили.

Нашему читателю нужна эмоциональная зарядка, чтобы выполнить свою историческую миссию. И здесь он ее находит. Он не «сбрасывает» «с парохода современности» Пушкина, Толстого, других старых писателей. Но не умаляет и писателей «своих». Из всех же их никто в такой степени не поддерживает процесс его борьбы с самим собой, процесс преодоления всего того, что воспитано в них прошлым, как «великий и добрый Максим».

Из воспоминаний.

С. Елпатьевский.

За границей.

Со II Государственной думой я был мало знаком, — мне пришлось уехать за границу.

Два года напряженной работы не прошли даром. Приходилось много писать и в своем издательстве, и в «Русском богатстве», где я начал систематически давать статьи, нечто вроде внутренних обозрений, и в наш народно-социалистический орган, изредка в «Русские ведомости». День был, как и у большинства петербургских людей, наколочен собраниями, заседаниями в Думе, свиданиями с нужными людьми, — приходилось писать по ночам до трех-четырех часов, спать мало и плохо.

И я снова убедился, что петербургский климат не для меня. На третью зиму стала подниматься температура, я пролежал около месяца в постели, очень ослабел, и родные увезли меня за границу на Ривьеру. Мне не хотелось с тогдашним моим настроением устраиваться в шумной, гулящей, ярмарочной Ницце, и я надеялся спокойнее и дешевле устроиться в Нерви, около Генуи, на итальянской Ривьере.

Там я познакомился — потом оказалось только возобновил знакомство — с Г. В. Плехановым. Навещавший меня местный врач, русский, Залмонов как-то сказал мне, что со мной хочет увидаться старый знакомый, Плеханов. Я согласился, но сказал, что с Плехановым не знаком. Вскоре на набережной Нерви ко мне подошел Плеханов. С первых же слов он напомнил мне, что в половине семидесятых годов он, тогда уже нелегальный, два дня скрывался у меня в Москве в моей студенческой квартире. Мы встречались с Плехановым довольно часто в Нерви, и наше знакомство продолжалось и дальше. Встречался с ним в Ментоне, куда он приезжал из Сан-Ремо. Тогда он стоял за единый фронт русских революционеров — с.-д. и с.-р. — в борьбе с правительством, и, кажется, по его инициативе происходили совещания, в которых принимал участие и Савинков. Я был только на одном собрании и не помню реальных результатов.

Бывал у него и в Сан-Ремо, где его жена и дочь устроили санаторию [1]). А потом значительно позже, через несколько лет, незадолго до миро-

[1]) В своих поездках в Сан-Ремо я навещал Прокофьеву, невесту Сазонова, успевшую убежать из Сибири из ссылки на поселение, дочь моего знакомого уфимского

вой войны мы встретились в Риме. Плеханов выглядел значительно хуже, чем в Нерви и Сан-Ремо, и как-то просил меня выслушать его и полечить. У него был давний и длительный, обширный по поверхности, туберкулезный процесс фиброзного характера. Всегда оживленный, остроумный, полемист по натуре, Плеханов выглядел в Риме усталым и более скучным. Оживлялся он, когда говорил о надвигавшейся войне. Мы оба ждали ее, — еще за год, за два до ее начала французские и итальянские газеты были полны статьями о нараставших международных осложнениях и возможности конфликтов.

Сказывалась близость войны не только на страницах газет. Как-то Плеханов пришел ко мне и рассказал мне характерную сцену, разыгравшуюся в его отеле, — он жил по условиям своей болезни в хорошем отеле, с центральным отоплением, что тогда не часто встречалось в Риме. После обеда вечером в зале сидела компания англичан, а за другим столом — группа немцев, пивших шампанское. И вот Плеханов видел, как от стола немцев отделился официант с подносом, на котором были бокалы шампанского по числу англичан и визитные карточки немцев, очевидно, желавших познакомиться с англичанами. Англичане не поинтересовались карточками, не взяли бокалов и, молча, не меняя положения, продолжали курить свои сигары. Официант постоял перед ними некоторое время и вернулся к немцам с нетронутыми бокалами. Немцы встали и сейчас же ушли.

* * *

В Нерви я недолго прожил, хотя оно мне и очень понравилось. В дорогих, благоустроенных отелях я не имел средств устраиваться, а маленькие дешевые отели оказались еще хуже и менее приспособленными для зимнего жилья, чем скромный отельчик, где я жил в первый раз в Ницце. И знакомый, мой пациент, проживавший в Ницце, переманил меня, предложивши условия, которые обеспечивали мне жизнь там.

В Ницце я стал быстро поправляться и уже через две недели начал пробовать мои привычные путешествия по окрестностям. Публика, в которой я вращался в этот раз, была совсем другая, чем в первый мой приезд в Ниццу. Старик Эльсниц умер, умер и Белоголовый, Ковалевский был в Петербурге, — прежних знакомых почти никого не было. В ту зиму на Ривьере жили Вера Николаевна Фигнер с своим другом А. И. Мороз и Екатерина Павловна Пешкова с сыном. Они жили сначала в Аляссио на Итальянской Ривьере. Там я у Екатерины Павловны и познакомился с Верой Николаевной Фигнер.

Когда-то в семидесятых годах я мельком видел ее в Москве, но не был знаком.

купца Прокофьева, помещавшуюся в вилле около Сан-Ремо, где жил и Савинков. Она умирала от туберкулеза. Она лежала неподвижно и чуть слышным голосом расспрашивала меня об Уфе, об Ялте, где я устраивал ее с братом задолго до ее суда и до расстрела брата, о чем я раньше писал. В ту же зиму она и умерла.

Она отдыхала от Шлиссельбурга, от тогдашней России отдыхала, но не отдышалась еще. Общество утомляло ее, она часто уходила в свою комнату искать еще привычного, не ушедшего от нее, одиночества. Громкие звуки еще нервировали ее, от зазвеневшей чайной ложечки она вздрагивала. Раз мы пошли с ней в Аляссию к вдове Мечникова, брата знаменитого бактериолога. Улицы Аляссио были тихи и пустынны, но на одном перекрестке встретившийся извозчик по-итальянски громко щелкнул кнутом, Вера Николаевна громко на всю улицу вскрикнула и схватилась за мой рукав.

Потом и Екатерина Павловна, и Вера Николаевна, и А. И. Мороз переехали в Ниццу, и мы часто встречались. Екатерина Павловна с своим мальчиком устроилась в нашем небольшом отеле, а семья доктора Эльсница предоставила Вере Николаевне свою небольшую виллу в окрестностях Ниццы в Сен-Жак. Там же совсем близко от этой виллы жил тогда Савинков со своей женой Верой Глебовной, дочерью писателя Г. И. Успенского, и мы не раз всей компанией встречались у Савинковых.

К удивлению, шумная жизнь Ниццы не производила угнетающего действия на Веру Николаевну, и, хотя она все еще сторонилась людей, мне показалось, что она стала даже оживленнее, чем я видел ее в Аляссио.

Раз она даже была в театре. А другой раз я устроил прогулку в маленький оригинальный средневековый городок в окрестностях Ниццы, нас было человек 7—8, Вера Николаевна не чувствовала себя утомленной обществом и не вздрагивала уже от шума и крика.

Суд и Петропавловская крепость.

После разгона I Государственной думы власть укрепилась и стала расправляться с нами, писателями; начались суды над нами. Один раз меня оправдали, а за брошюру «Земля и свобода» присудили.

Председательствовал на этот раз бивший наверняка и заранее предрешивший приговор, Крашенинников, — умный и злой, повидимому, не за страх и не из-за одной служебной карьеры, а по внутреннему влечению служивший правительству или вернее тогдашнему государственно-дворянскому строю. В судебной палате он распоряжался, как хозяин. Мой знакомый присяжный поверенный рассказывал мне, как при нем Крашенинников, презрительно относившийся к своим подчиненным, крикнул раз из кабинета:

— Пришлите мне товарища прокурора, только поумнее!..

На мою долю выпал обвинитель товарищ прокурора, только поглупее. Никто из судей, видимо, не слушал его серую скучную, нудную речь. И во всей его речи я помню только одно место, доставившее мне несколько минут веселья. Очевидно, чтобы уязвить меня и окончательно изничтожить, он сказал, что теперь стали писать разные фельдшера, аптекаря, провизоры, которым, очевидно, по его мнению, не пристало писать. На суде у подсудимого, должно быть, скоро складывается предчувствие приговора, обвинения ждал и я. Приговор был сравнительно милостивый — на год в кре-

пость. В те времена осуждали и на два года, а Парамонова осудили на три года.

Прошел месяц, два, три, — никто меня не трогал.

В те времена у Щегловитова, у власти вообще, была, повидимому, в этом отношении система — не приводить быстро в исполнение приговоры над писателями и тем держать их в узде. В. Г. Короленко, присужденного на высидку на две недели, как редактора, за мою статью в «Русском богатстве» «Люди нашего круга», так и не посадили.

А у писателей выработалась своя система — накапливания преступлений. Кончалось одно дело, выносился обвинительный приговор, но в производстве оказывалось второе дело, потом третье. Приговоры накоплялись «по совокупности», но накоплялись и преступления. В те времена образовалась даже своего рода профессия редактора «на высидку». Журналы, газеты и брошюры всяких издательств постоянно конфисковывались и быстро возникали под новыми названиями, и надо было постоянно находить новых редакторов, готовых на высидку. Люди шли охотно и пред'являли скромные требования — помню несколько случаев, где надо было уплачивать только 50 руб. в месяц на содержание семьи садившегося в тюрьму редактора. Вышеупомянутые остроумные люди, не требуя платы, искали подходящих редакторских позиций, чтобы накоплять преступления и затягивать судьбища. Случалось даже, что брали преступления так сказать в аренду. Действительный преступник отдавал другому свое преступление, — выходило, что преступным редактором оказывался не Петров, а Сидоров. Если не ошибаюсь, особое искусство в этом отношении проявлял В. В. Водовозов, долго успешно накапливавший свои преступления, и, кажется, кое-кто из таких хитроумных людей дотянул до Февральской революции и таким образом избегнул кары правосудия.

Я никогда не выносил неопределенных положений. Я не мог ни уехать из Петербурга, ни приняться из-за ожидания каждый день ареста за серьезную длительную работу и, в конце концов, как я уже писал, должен был просить М. М. Ковалевского «похлопотать» перед Щегловитовым, чтобы меня поскорее посадили. Ходатайство имело успех, и что-то через два-три дня меня водрузили в Петропавловскую крепость.

Я выбрал ее потому, что она была в Петербурге, и я мог видеться с родными и получать книги, потому что там была тишина — перестукиваний я не любил и... потому, что это была Петропавловская крепость. Мне, побывавшему во многих тюрьмах, казалось, что под старость — мне было 56 лет — нужно было посидеть и в этом классическом месте.

Сначала я чувствовал себя очень хорошо. Как всегда, когда меня сажали в тюрьму после сутолоки и напряженной работы, я любил наступавшую тишину и полное одиночество. Можно было много и долго думать, можно долго, ничем не отвлекаясь, читать и писать. День был точно распределен. Три часа я занимался английским языком, остальное время читал и писал. И все было бы хорошо, если бы не начались жестокие боли в обеих руках, повидимому, ревматического происхождения, нараставшие до такой

степени, что я не мог уже сам одеваться на прогулку, трудно стало пи
и держать книгу в руках, а по ночам просыпаться через час, через пол
чтобы переменить положение. Первое время меня посадили в очень с
камеру и только месяца через два, когда начались боли, перевели в не с
сырую. Повидимому, все камеры Петропавловской крепости были сыр
холодные.

Реакция тогда уже развернулась во-всю. Твердая власть Столы
постепенно твердела, но, очевидно, во всем государственном механ
что-то треснуло, в чем-то поколебалась прежняя уверенность, прежняя «
стота» отношений. Отразилось это и на Петропавловской крепости. Ч
заходило начальство спрашивать, не нужно ли чего-нибудь. Мне ничег
было нужно. Я удовлетворялся общим арестантским столом, не ду
тогда, а меня спрашивали, не хочу ли я заказывать отдельных блюд. Ч
заходил в камеру и иногда подолгу засиживался помощник коменданта
пости, — я плохо помню фамилию, — и мы разговаривали как добрые
комые. Он мне рассказывал про свою семью, у него было пять или ш
человек детей, с радостью и гордостью рассказывал, что его старший сы
первый ученик, окончивший гимназию, говорил о своей давней мечте до
жить до пенсии и поселиться на кусочке земли, которую он раздобыл гд
под Петербургом. Повидимому, не со мной одним он был мягок и преду
дителен, — после моего освобождения знакомые рассказывали мне, что
ственники сидевших одновременно со мною заключенных после освобо
ния их родных ездили к полковнику благодарить за его отношение к
близким.

Корректен был во время посещений меня и комендант крепости Ста
и единственный злостный и противный человек был какой-то военный ин
нер, замещавший Стааля во время его отпуска. Злостный и глупый, он
казал снять с привинченной к столику электрической лампочки зеле
абажур, потребовал было, но потом отказался, чтобы убрали толстый
лок, которым я защищался от холодного каменного пола, и демонстрати
показывал враждебное отношение ко мне.

Нижние чины, очевидно, поколебались в правильности дела, кото
они делали, и, в общем, оказывали приязнь ко мне. В памяти моей со
нилась только мрачная фигура высокого, худого, с бледным злым лицом ж
дарма, всегда входившего ко мне вместе с надзирателем и солдатами,
вавшими меня на прогулку, всегда пытливо всматривавшегося во все уго
моей камеры. Полковник говорил мне, впрочем, что жандарм особенно м
чен был потому, что у него только что умер любимый сын от дифтер

Помню один случай. Толстый, рябой, неуклюжий солдат с каким
бабьим лицом натягивал на меня валенки, чтобы вести на прогулку, —
я этого сделать не мог, — низко наклонившись ко мне, бабьим жалост
голосом прошептал:

— Рученьки болят...

А солдат, провожавший мою дочь после свидания со мной, гово
ей на крыльце:

— Разве мы не знаем, за что ваш батюшка сидит. За писания, за народ!..

Много значило, конечно, в благосклонном отношении и то, что я был не подследственный арестант, а «на высидке». В конце зимы я заболел воспалением легких, и меня перевезли в больницу «Крестов». Воспаление легких благополучно разрешилось, я стал выходить на прогулку, а главное — получил возможность брать ванны, которые несколько успокаивали мои воистину нестерпимые боли в руках [1]), — продолжительное лечение в крепости не помогало мне.

От нескольких недель жизни в больнице у меня осталось очень хорошее воспоминание. Была сухая, светлая, с большим окном камера, явилась возможность более длительных прогулок. Начиналась весна, и расцветший на тюремном дворе большой каштан — до этого я как-то не замечал цветущих каштанов в Петербурге — так радовал меня, напоминая о моем любимом Крыме. Товарищем по камере оказался очень приятный человек и очень интересный собеседник, депутат Государственной думы Николай Андреевич Жиделев, осужденный на каторгу, но застрявший в больнице из-за предстоящей ему операции.

Мы оказались земляки; он тоже был владимирец, знал те же места. Крепкий неуклонный большевик, он рассказывал мне, и я не уставал слушать — так интересны были его рассказы об огромном рабочем движении в Иваново-вознесенском районе. Один из наших надзирателей, милый человек, доставлял нам газеты и исполнял наши поручения.

Жилось легко, а, тем не менее, я стремился поскорее возвратиться в крепость. Главное преимущество сидения в крепости было то, что девять месяцев заточения там зачитывались за год, и я боялся, чтобы мое, хотя и невольное, пребывание в больнице в «Крестах» не помешало мне, как я рассчитывал, освободиться 15 августа и успеть отогреться на крымском солнышке от моей сырой и холодной камеры.

Опять в крепости. Опять та же камера, те же приятели — легкомысленные воробьи, облюбовавшие мое окно, те же две вороны на рыжей крепостной стене, кусок которой только и виден из моей камеры. Одна — степенная, утомленная жизнью и равнодушно смотревшая в будущее, другая — легкомысленная молоденькая кокетка, все подпрыгивавшая и поправлявшая и без того гладкие перышки. Опять печально, старыми охрипшими голосами поют колокола «Коль славен наш господь в Сионе». Опять глазок... Самое яркое воспоминание от крепости. Даже, когда у меня еще не было болей, я просыпался по ночам, когда смотрел на меня этот бесстрастный, холодный глазок, казавшийся в темноте ночи таким огромным и ярким глазом. А когда начались боли, — я, должно быть, стонал от них во сне, — часто просыпаясь, я неизменно видел устремленный на меня этот белый глаз.

---

[1]) Я избавился от них только через год после освобождения, после солнечных дней в Отузах и лечения электричеством, но навсегда осталось некоторое дрожание рук. Я долго не мог писать.

Странные сны снятся в Петропавловской крепости... Ползет огромный змей. В Москве. Хвост тянется еще по Никитскому бульвару, а голова с огромным злым глазом уже вдоль Тверского бульвара приближается к памятнику Пушкина. Я вижу, как быстро поворачивается голова направо и налево, схватывает и глотает людей с бульвара и с тротуара и время от времени вскидывается на третий, четвертый этаж и вытаскивает оттуда людей [1]). И я знаю, что змей уже ползет по длинным коридорам крепости, и вот страшная голова с огромным злым глазом протискивается в мое дверное окошечко... Я схватываю косарь, которым в мое детство у нас щепали лучину и скребли пол, и начинаю рубить тупым косарем наполовину просунувшуюся голову змея. Кровь брызжет, противно хлюпает косарь в мягком мясе. Я просыпаюсь, на меня смотрит светлый злой глазок.

15 августа я освободился и скоро был в Балаклаве, жарился на солнце, купался в море, но совершать мои любимые путешествия долго не мог — был слаб.

После роспуска I Государственной думы. 1907—1914 гг.

Семь лет, протекшие с роспуска I Государственной думы до мировой войны, были совершенно особой полосой в русской жизни, — временем государственного беззакония или, как я уже сказал, междузакония, по существу — государственной анархии.

Величайший высочайший обман встал голо и неприкрыто перед страной. Манифест был об'явлен, и манифест был не исполнен. Старый закон ушел. Он был упразднен в самом корне высшей тогда в России государственной властью, царем, а новый закон, долженствовавший регулировать всю государственную жизнь, не вошел в жизнь — не было определенного закономерного государственного строя. Правительство разогнало Думу, потом изменило выборный закон, но не имело мужества смело, открыто и откровенно — упразднить Думу, аннулировать манифест.

Думы открывались и закрывались. В Думах говорили речи, иногда гневные, беспощадные, но гнев ушел из Думы — входившие в Думы гневные люди не окрашивали Думы. Вползала в Думу старая психология ожидания и ходатайств, приспособления и обходных движений, и постепенно центр Думы передвигался слева направо, от кадетов — к октябристам и националистам. Призрак революции витал над Думой, и у правительства нашелся общий язык с значительными группами Думы.

Полностью и ускоренным темпом возвращались к прошлому и привычному правительственная психология и практика. Ни един закон — сказано было в манифесте — не может быть издан без Государственной думы, а правительство продолжало издавать законы. Воскресли, не умерли старые слова, в которых сохранялись старые мысли и чувства... И в речах людей

[1]) Как раз в последнюю поездку за границу я наблюдал в первый раз в Ницце, как кишка пылесосов поднималась в окна верхних этажей отелей и высасывала оттуда пыль. Очевидно, это было одним из материалов, из которых складывался сон.

правительства и в циркулярах, во всяких правительственных обращениях откровенно и цинично говорилась старая правительственная фраза: «соответствует или не соответствует то или другое видам правительства»... Не видам Государственной думы, призванной решать коренные вопросы русской жизни, а видам, старым видам старого самодержавного правительства. По старому дремучему говорил в Думе министр Столыпин: «сначала успокоение, а потом реформы»... Даже не р е ф о р м а в смысле проведения в жизнь манифеста 17 октября, а «реформы» по старому методу правительственной инициативы царского усмотрения. И реформы производились. В законопроекте о введении земских учреждений в западных губерниях правительство открыто заявляло намерение оставить за собой контроль за земскими учреждениями не только в смысле закономерности их деятельности, но и ц е л е с о о б р а з н о с т и этой деятельности. Попрежнему, как в былые времена, нам формулировали пред'являемые обвинения, — привлекали людей за намерение «в более или менее отдаленном будущем разрушить существующий строй», без упоминания какой строй — старый или новый.

С внешней стороны правительственный аппарат с царем, министрами, губернаторами, исправниками, жандармами, урядниками продолжал существовать и управлять государством. Он был даже более свиреп, чем когда-либо раньше. Началась месть за то, что люди поверили царскому слову, за то унижение, которое испытала власть.

Шли военные суды, которые выносили только два приговора — оправдание или смерть, — сколько смертных приговоров! — туго завязывался на шее России «столыпинский галстук» [1]), в небывалом раньше количестве шли смертные казни, ставшие по точному определению В. Г. Короленко бытовым явлением, во-всю работали Азефы и Малиновские, целыми толпами, как никогда раньше, арестовывались и ссылались студенты, рабочие и крестьяне.

А настоящей власти уже не было. Образовалась трещина в государственном аппарате сверху донизу. Самодержавие уже, в сущности, перестало существовать. Появились вокруг престола так называемые безответственные люди, люди, не занимавшие официальных постов или действовавшие не по своему официальному посту и, тем не менее, фактически направлявшие ход государственного корабля, назначавшие и сменявшие министров, определявшие — сохранить или распустить Думу. Исчезла фикция, иллюзия царя, представителя государства в целом, царь открыто стал дворянским, помещичьим, и с'езды об'единенного дворянства задавали тон.

И прежде представители интересов дворянства окружали царский престол, но все-таки сохранялся некий пристойный облик самодержавной власти, как я уже говорил, некоторый ч и н. Началось и постепенно нарастало бесчинство, небывалая непристойность государственного облика, докатившегося до Бадмаева, Вырубовой, Распутина, каких-то Андрониковых, мелких

---

[1]) Выражение Родичева в Государственной думе.

мошенников вроде Манасевича-Мануйлова, которые — а не царь, — в сущности, управляли государством.

Начиналась великая разруха. Пошатнулся старый пристойный суд, и пошли по России непристойные судилища. Стали выгонять из судов не только прикосновенных к оппозиционным партиям, но просто людей, упорно стоявших на почве закона и пытавшихся защищать законность вообще. Начались заминки в земском и городском самоуправлении, останавливались нужнейшие вопросы местной жизни, требовавшие санкции центра, так как центру уже некогда было заниматься местными делами. Постепенно началась в торгово-промышленных делах какая-то неуверенность в завтрашнем дне.

В особенности разложение государственного механизма ярко сказывалось в провинции. После освобождения из Петропавловской крепости, я прожил осень в Балаклаве, а потом начались мои долгие скитания по Крыму. Медициной, как профессией, я уже не занимался и только писал. Постоянного угла не было, в Ялту и на южный берег Крыма, пока там царствовал Думбадзе, мне доступу не было, в Петербурге, как я убедился, по зимам жить нельзя было, — и я кочевал по Крыму то в Севастополе, то в Симферополе, в Феодосии, в дешевых местах, как Балаклава, Коктебель, Отузы, где хватало на прожиток тогда немного, что я зарабатывал литературным трудом. Одно время лечился в Кисловодске, одну зиму прожил в Сочи, бывал в Новороссийске, в Киеве, в Полтаве у В. Г. Короленко и был широко осведомлен относительно провинциальной жизни того времени.

Оставались губернаторы, исправники, урядники, полицеймейстеры в городах, но власти, старой крепкой власти, уже не было. Губернаторы издавали обязательные постановления, казалось, управляли губернией, но, в действительности, вся власть на местах была под контролем Союза русского народа — петербургского и местного.

Если Пуришкевич, маленький кишиневский дворянин, посылал из Петербурга выговор московскому губернатору за недостаточно почтительный ответ этого губернатора ему, Пуришкевичу, то столяр в Новороссийске, председатель местного Союза русского народа, в мое время так разговаривал с новороссийским губернатором:

— Что же это вы, господин начальник, тоже жидовский потатчик? Шкапы-то в губернском правлении жиду отдали починять, а не мне?

По существу, это была подлинная государственная анархия, развал всей государственной машины. Полицеймейстеры, пристава в городах были в подчинении у таких же местных столяров, подрядчиков, вообще у того городского люда, который еще недавно почтительно становился на вытяжку перед околоточным надзирателем. И назначение, и увольнение местных чиновных людей происходило не по их годности или негодности к отправляемому ими делу, но по их политической квалификации.

И не одних чиновных людей... Тогда одно время как-то вдруг участились железнодорожные крушения на Владикавказской железной дороге. Навещавший меня знакомый машинист на мои недоуменные вопросы раз'яснил

мне, что стали увольнять машинистов, не принадлежавших к Союзу русского народа, и заменять их союзниками, хотя бы и плохо подготовленными, и привел в пример себя. За то, что он отказался купить значок Союза русского народа, его сняли с курьерского поезда и перевели на товарный, а на его место посадили машиниста с товарного поезда, неопытного, при первой же поездке которого произошло крушение.

И так во всем. Выгонялись со службы земские и городские служащие, учителя, медицинский персонал, смещались или переводились на худшие приходы священники, отказавшиеся вносить в церкви знамена Союза русского народа.

Нарушался примитивный порядок гражданской жизни. Безопасность жизни и имущества, что больше всего волновало обывателя, перестали охраняться даже в той мере, в какой охранялись они раньше. В провинции, во многих местах стало жутко жить. Явились экспроприации, налеты, грабежи, убийства. Кого там не было! И максималисты, и просто бандиты, прикрывавшиеся именем максималистов, и мальчишки от Пинкертона, и безработные, выброшенные на улицу...

В городах, раньше всего в Петербурге, начали прорезывать в наружных дверях окошечки, чтобы видеть, кто звонит, и приспособлять к дверям особые цепочки, при которых можно было только приотворять дверь и нельзя было ворваться, и просто тяжелые засовы, а в нижних этажах устраивать крепкие ставни.

В деревне, в поле, в отдельных усадьбах не могли защищать ни цепочки, ни засовы, ни ставни. Я помню, как неспокойно засыпалось в маленькой усадьбе, где мне пришлось тогда прожить целое лето, когда наслушаешься за день новостей дня, как вот тут, в 15—20 верстах, налетели ночью подводы к такому же именьицу, перебили всех, ограбили и безнаказанно уехали. Тогда в Крыму была легенда. Летал по степи по имениям «черный» автомобиль, — налетал, убивал, грабил и неуловимый безнаказанно улетал.

Безнаказанно... Полиция перестала быть полицией в прежнем смысле. Ей некогда стало оберегать жизнь и безопасность обывателя, из ее обязанностей выпало ловить воров, грабителей, убийц. Она стала политической, только политической полицией, сливалась с жандармами, с Союзом русского народа. Ей нужно было разыскивать тайные типографии, конспиративные квартиры, улавливать «неблагонадежных» людей, которых развелось множество, следить за всякого рода собраниями, производить обыски, для которых приходилось мобилизовать не только все жандармские и полицейские силы, но и привлекать к участию членов Союза русского народа [1]). И черниговский губернатор издавал предписания: «не отговариваться в таких случаях обязанностями службы» — т. е. предписывалось бросать все и бежать на обыски неблагонадежных кварталов.

[1]) Мне рассказывали про случаи, когда во время таких массовых обысков узнавшие о них заблаговременно бандиты хозяйничали открыто на полной свободе в неоцепленных кварталах.

Дело Бейлиса.

Я жил в Севастополе, когда получил от газеты «Киевская мысль» приглашение приехать в Киев и сотрудничать в газете на процессе Бейлиса.

Дело Бейлиса было необыкновенно характерно для переживавшегося тогда Россией времени. Оно было типично для той системы отвлечения русских граждан от внимания к насущным вопросам гражданской жизни в сторону «еврейского засилия», которую правительство давно и упорно практиковало, но особенно это дело было характерно для той государственной анархии, для развала гражданской жизни вообще и суда в частности, о чем я писал выше.

Дело Бейлиса уже раньше интересовало меня. Из газетных сообщений я составил себе некоторое представление о характере этого процесса. В Киеве еще до открытия процесса я успел собрать некоторые достоверные сведения. Бывший уже в отставке член Киевской судебной палаты Жуковский, знавший всех и вся, и мой родственник Н. П. Владимиров, бывший тогда товарищем председателя Киевского окружного суда по гражданскому отделению, широко осведомили меня о подкладке и об особенностях организации этого процесса. И сообщения других киевских компетентных людей и то, что развертывалось на моих глазах на процессе Бейлиса, только подтверждали полученные мною сведения и с поразительной ясностью вскрыли и историю возникновения дела, и ход судебного следствия, и особую организованность суда.

Юноша киевский студент Голубев из маленькой монархической газетки «Двуглавый орел» с такими же двумя юнцами едет в Петербург с обвинением евреев в убийстве христианского мальчика — Ющинского, — ритуальном убийстве с целью получения христианской крови.

Принимает их министр юстиции. Взрослый юрист Щегловитов верит, или делает вид, что верит юнцам, и решает поднять дело. Они привлекают Замысловского из Государственной думы и заинтересовывают широкие монархические круги до об'единенного дворянства включительно [1]).

Дальше уже дело из рук власти, в сущности, переходит в руки не имеющих никакого отношения к суду и власти людей черносотенного лагеря. Они руководят или, по крайней мере, наблюдают над следствием, они удаляют следователей, если те уходят от заданной им темы виновности Бейлиса и подходят вплотную к двери Веры Чебыряк, к которой вели все дороги. Они вызывают к себе официальных людей, как власть имущие, как уполномоченные высшей властью люди. Им дают официальные справки и об'яснения. Некоторые из них — темные люди. Некто Розметальский, седовласый двуглавец, бывший содержатель ссудной кассы и об'явленный несостоятельным должником трактирщик, безусловно частный человек, с апломбом заявляет на суде, как он вызывал к себе для дачи об'яснений офи-

---

[1]) Были известия, что главный эксперт по делу, Пранайтис, на которого обвинение возлагало особые надежды, был подыскан об'единенным дворянством.

циального следователя Красовского, как он имел собеседования с высокопоставленными киевскими людьми по направлению и ведению следствия.

И, символизируя весь характер процесса, председатель суда в антрактах между заседаниями демонстративно ходил по коридору на глазах всей публики с студентом Голубевым, с одной стороны, и Розметальским, с другой, дружески беседуя с тем и другим. Всем было известно, как подобран был состав присяжных заседателей и как обрабатывался он подходящими людьми...

С самого начала дела и все время судебного следствия — два года с половиной — ярко вставала Вера Чебыряк, как организатор или, по крайней мере, участник убийства мальчика Ющинского, и заслоняла собой привлеченного Бейлиса.

Вера Чебыряк... Чебырячка... Чебырячка... Это имя звенело по всему Киеву. У извозчиков, на рынках, в уличной толпе, у прислуги гостиницы, где я жил, в маленьких кухмистерских, куда я забегал пообедать из залы суда. Толстый буфетчик-украинец в одной из таких кухмистерских из-за стойки открыто издевался над судом, который-де не знает, кто убил Ющинского, и позволяет гулять Чебырячке. Об этом говорили жители Лукьяновки, соседи Бейлиса, знавшие Веру Чебыряк.

И на суде... Целыми днями не произносилось имя Бейлиса и целыми днями звенело в суде имя Веры Чебыряк. Следственный материал, показания свидетелей неизменно подходили к двери Веры Чебыряк. Ее интимных сподвижников, темную шайку уголовных людей, свидетельские показания вплотную подводили к трупу Ющинского. Вера Чебыряк и ее сподвижники до такой степени вклинивались в процесс, она так сделалась центром процесса, до такой степени стало очевидно, что она, по крайней мере, все знала об убийстве, что прокурор Виппер открыто говорил об участии Веры Чебыряк в убийстве, тем самым разрушая воздвигнутое обвинительное здание. И нельзя было уже удивляться, что прокуратуре пришлось защищать, оберегать, обелять и сподвижников Веры Чебыряк. Прокурор без краски в лице говорил на суде, что Шнеерсон — один из свидетелей — «больше похож на убийцу, чем прилично одетые, ни в чем не повинные воры», и даже взывал к присяжным заседателям:

— ...Неужели должны пострадать ни в чем не повинные воры?!.

С первых же дней процесса явственно вскрылось, что судят не Бейлиса, а еврейский народ, еврейскую религию... Да, на скамье подсудимых сидел реальный человек — Бейлис, но проходили долгие дни, когда имя Бейлиса не упоминалось и на суде появлялись Эттингеры, Ландау, Шнеерсоны, как-то превращавшиеся из свидетелей в подсудимые, к которым уводила присяжных заседателей прокуратора от сподвижников Веры Чебыряк — Латышева, Сингаевского, Рудзинского. Проходили эксперты, говорившие долго и длинно о хасидах и цадиках, о Каббале и Талмуде, Зогаре и не говорившие ни слова по поводу убийства Ющинского.

Часто в долгие дни и вечера, которые я сидел в зале суда, мне невольно приходила в голову мысль: зачем сидит тут в зале суда этот тихий,

скромный человек в пиджачке, с наружностью обыкновенного конторского служащего, каким он и был? Чувствовалось, что это только бутафорская подробность в трагедии, развертывавшейся в зале суда, скучная подробность, от которой скучно и суду и самой обвинительной власти, редко вспоминавшей, что сидит тут реальный человек, неизвестно зачем просидевший два с половиной года в тюрьме. Думалось, что было бы умнее и декоративнее в бутафорском смысле взять просто с улицы любого еврея постарше с более подходящей наружностью, более «прилично» одетого и более правоверного, который, по крайней мере, соблюдал бы еврейскую субботу, не соблюдавшуюся Бейлисом. И любому такому еврею можно было бы подыскать не менее тяжкие обвинения, чем Бейлису, которому вменялось в вину то, что он развозил мацу родным и знакомым за хозяина, у которого он служил.

И само дело убийства мальчика надолго уходило из залы суда, чтобы посадить на скамью подсудимых еврейский народ, еврейскую религию... Цадики, хасиды... Хасиды, цадики... Шнеерсоны... Талмуд, Каббала...

Все это было глубоко невежественное, люди перекидывались словами, не зная их смысла. Ссылались на еврейские книги люди, не читавшие их, не понимавшие их. Серьезно цитировался Неофит, утверждавший, что четыре раза в год с неба падает кровь на еврейскую пищу. И эксперты под Неофита... Пранайтис, вздыхавший на суде об отсутствии пытки, которая в былые времена так хорошо вскрывала истину, — оказалось на суде — не знал, что содержится в еврейских книгах, на которые он ссылался. Долго на суде цитировалась фраза, не помню из какой старой еврейской книги: «лучшего из гоев убей». Но вызванный эксперт, профессор духовной академии Троицкий, знаток старой еврейской литературы, заявил, что в книге к фразе прибавлено «на войне».

И чувствовалось, что люди обвинения не верили сами в то, что они говорили, в дело, которое они делали. И суд, и прокурор, и эксперты, и самый злобный из обвинителей — Замысловский. Только два человека показались мне искренними. Студент Голубев и старик присяжный поверенный Шмаков. Студент Голубев, видимо, верил в версию убийства Ющинского. На суде он наивно сознавался, что узнал все про хасидов и прочее из географии. Повидимому, он был оглушен антисемитизмом. Киевский человек, хорошо знавший Голубева, в таком смысле говорил мне о нем и приводил в доказательство один случай. Нужно было Голубеву куда-то ехать, но он узнал, что та железнодорожная ветка, по которой ему предстояло ехать, в еврейских руках. Он не поехал и предпочел пойти пешком что-то около 80 верст.

Шмакова мало интересовал Бейлис и самый вопрос об убийстве Ющинского. Он был совсем особый исключительный антисемит. Он ненавидел евреев и все связанное с еврейством — религию, прошлое еврейства. На суде он погружался в историю, в средневековье и, не смущаясь, шел дальше — в библию, в священное писание, к пророкам, к книге Левита, вплоть до жертвоприношения Авраама.

В самый разгар процесса в местной газете «Киевлянин» появилась передовая статья Шульгина с резким суровым протестом против всего дела Бейлиса и всего, что делалось на суде. Это был удар грома для суда, для приезжих обвинителей и для киевских изуверных людей. Газета «Киевлянин» была резко правой, самой крупной из южных правых газет, своего рода южными «Московскими ведомостями», к голосу которой прислушивалась и петербургская власть. И вот, возмущение и протест, резкое осуждение раздались оттуда, откуда меньше всего ждали, если не сочувствия и поддержки, то, по крайней мере, не перехода на сторону защиты в деле Бейлиса.

Трудно передать впечатление, которое произвела в Киеве статья [1]). Газету расхватывали. Предусмотрительные газетчики брали полтинник за чтение статьи, какой-то проезжий в гостинице заплатил пять рублей за этот номер. И, конечно, в враждебном лагере сейчас уже закричали — я сам читал это, — что «Шульгин подкуплен жидами» [2]).

Процесс лопнул, как раздутый мыльный пузырь. Бейлиса оправдали. Нельзя передать то волнение, в котором держали Киев последние дни процесса, всеобщее напряженное ожидание — осудят Бейлиса или оправдают. Бейлиса оправдали.

Поздно вечером — я не дождался в суде об'явления приговора — ко мне в номер, как буря, ворвался коридорный мальчишка с криком: «Оправдали! Оправдали!». А на улице приходилось наблюдать необыкновенные сцены: обнимались и целовались русские с русскими и русские с евреями, и была всеобщая радость, и долго не расходилась радостная толпа.

И пошли люди поздравлять и приветствовать Бейлиса, приходили соседи Бейлиса по Лукьяновке, приходили незнакомые русские люди. Русская торговка с базара принесла ему яблок.

Быть может, с не меньшим волнением, чем Киев, следила за делом Бейлиса и ждала исхода процесса вся читающая Россия. Я не помню процесса, который так захватил бы всех. Целые столбцы газет заполнены были телеграммами из Киева, статьями редакций, заявлениями местных людей. Было достаточно волнующего в тогдашней внутренней жизни России, неспокойно уже было и с международными отношениями, но дело Бейлиса отодвинуло текущие злобы дня и заполнило собой умы и сердца огромного количества читающих русских людей.

Была жалость по поводу великой неправды, творившейся с Бейлисом и еврейским народом, и на эту неправду горячо отозвались люди разных общественных слоев. Я следил тогда из Киева за газетными отзвуками. Появились статьи известных профессоров, людей науки, протестовавших против ненаучной политической экспертизы Труханова, Косоротова и Сикор-

---

[1]) В виду ее значения я почти целиком протелеграфировал ее в „Русские ведомости".

[2]) После процесса я тоже получал письма, обыкновенно без подписи, из разных мест, с обвинением, что я „продался жидам". В некоторых письмах говорилось: „Вы и Короленко". Один человек из Керчи обещал приехать в Симферополь и побить меня, чего, впрочем, не исполнил.

ского. Целые медицинские общества выражали свое негодование против вторжения политики в науку. Отзывались и молодежь, и рабочие кружки. Семь архиереев, много священников в той или иной мере высказывались за невиновность Бейлиса и против легенды о ритуальном употреблении евреями христианской крови. Но дело не в одном этом — не только в жалости к Бейлису и еврейскому народу. Русские люди испугались за самих себя. Думаю, не будет преувеличением сказать, что с введения судебных учреждений в 60-х годах не было такого цинического процесса, как дело Бейлиса.

И из самого возникновения дела, из продолжавшегося два с половиной года следствия, из всего того, что развернулось на самом процессе, люди увидели, что гибнет один из устоев гражданской жизни — суд, что нет больше суда, а есть только полицейская расправа, и даже не полицейская, а своры темных, диких, никем на то не уполномоченных злобных людей.

В деле Бейлиса, как в фокусе, сказался тот развал власти самого государственного аппарата, та государственная анархия, о чем я писал. И на этом деле произошел своего рода смотр, кто за правительство и кто против правительства.

Опять за границей.

На южный берег Крыма доступ мне был закрыт. Царствовавший там генерал Думбадзе был дикий человек, не признававший узды своей дикой воле. Известно, что он приказал сжечь и разрушить дом в Ялте, из которого бросили в него бомбу, и казне пришлось заплатить довольно крупную сумму владельцу за разрушенный дом.

Ко мне он относился особенно яростно. Он зол был за мою статью, где я высмеивал нелепые распоряжения его, Думбадзе, и поведение его офицеров и сказал моей дочери:

— Вот статья вашего отца у меня постоянно на столе.

И помимо того Думбадзе, повидимому, считал меня наиболее опасным человеком в его области и раз выразился моим ялтинским знакомым:

— Я доберусь до этого замка тайн [1]).

А в другой раз также в обществе дал такую реплику:

— Пусть Елпатьевский не думает приезжать сюда, мы его выпроводим отсюда живого или мертвого.

После отбытия наказания в Петропавловской крепости, последние годы перед войной, я стал по зимам ездить за границу. Собственных денег на это

---

[1]) До моего дома. Жильцы перебывали в нем разные. Жили писатели, уже тем самым мало благонадежные люди: Леонид Андреев, С. А. Найденов, Куприн, Гарин-Михайловский. Одно вр мя жила Екатерина Павловна Пешкова, в другой раз жена севастопольского врача Никонова, обе вполне неблагонадежные дамы. Живали и «тайные люди». Когда я, наконец, получил возможность приехать в Ялту, мой кабинет, моя библиотека, мой письменный стол оказались разгромленными обысками, производившимися в мое отсутствие. Пропало много писем и рукописей. Оказалось, что Думбадзе приказывал даже раскапывать мой маленький двор, очевидно, в поисках „тайн".

у меня не было, помог случай. Нашелся человек, И. И. Орановский, который предложил мне ездить с ним за границу в качестве врача на исключительно удобных для меня условиях. По летам он живал в Гурзуфе, где имел постоянную квартиру и где я познакомился с ним. Изредка я лечил его, но, главным образом, мы видались с ним по поводу его постоянного участия в устройстве приезжих нуждающихся больных, на что он давал мне значительные суммы. Он раньше предлагал мне такие поездки, но я не хотел покидать Петербург в бурный период русской жизни, а теперь после болезни, перенесенной мною в крепости, согласился.

Орановский был оригинальный и интересный человек, резко выделявшийся из людей промышленного мира, к которому принадлежал, и у меня сложились с ним близкие отношения.

Он охотно давал мне деньги не только на ялтинских больных.

* * *

Мне давно хотелось повидать Давос, познакомиться с его санаториями, их режимом и результатами лечения в Давосе. Там лечилась моя пациентка из Карасубазара, тяжелая больная, направленная мною в Давос. Она, хорошо поправлявшаяся в Давосе, помещалась в одной из самых дорогих санаторий, я часто бывал у нее и успел близко познакомиться с режимом и порядками жизни хорошо устроенных давосских санаторий, но меня заинтересовало особенно устройство русских в Давосе.

Их тогда там много оказалось. Помимо состоятельных людей, живших в дорогих санаториях, там скопилось много людей с малыми средствами, вроде тех, которых мы устраивали в Ялте. Там также оказались добрые люди, взявшие на себя заботу об устройстве малоденежных людей, но средства, которые они успели добывать сборами, концертами и всякими вечерами, были слабы, и такие больные ютились очень тесно в нанятой небольшой вилле, плохо приспособленной для санаторного лечения.

Состав больных удивил меня. Кроме эмигрантов, рабочих, студентов, оказались даже крестьяне из России, каким-то образом проведавшие о Давосе и с великими жертвами добравшиеся до него. Один из них, крестьянин Киевской губернии, рассказал мне, что он узнал от сельского учителя о Давосе и его чудодейственном влиянии на туберкулез и, как упомянутый мною раньше вологодский крестьянин, перебравшийся из своего Кадниковского уезда в Ялту, продал часть своей земли и приехал в Давос. Он очень поправился, но деньги его подходили к концу, и он тосковал, что ему придется уехать не долечившись. Были и одиночки, не попавшие в этот пансион, плохо питавшиеся и ютившиеся в дешевеньких комнатках Давоса. Наиболее деятельное участие в устройстве русских нуждающихся больных и в заботе о них принимал энергичный и активный добрый доктор Виктор Евсеевич Вайнштейн, сам ушедший от могилы только благодаря Давосу [1]).

---

[1]) Впоследствии к нему присоединился доктор Микушевич, столь же ревностно взявший на себя забогу о нуждающихся русских больных.

Благодаря Виктору Евсеевичу, я более или менее подробно познакомился с нуждами давосской русской колонии.

По возвращении в Ниццу я рассказал Орановскому о русских больных туберкулезных в Давосе, говорил, что и англичане и немцы устроили в Давосе прекрасные санатории для своих соотечественников и только русские, преимущественно эмигрантская публика, не могущие лечиться у себя на родине в Ялте, должны ютиться в плохеньких неприспособленных помещениях. Орановский заволновался, как всегда волновался, когда ему предстояло спешное нужное дело, и захотел сам с'ездить в Давос вместе со мной. В ту же зиму мы поехали в Давос.

Орановский всегда ставил условием никогда не упоминать его имени и просил меня и нашего товарища по путешествиям О. А. Колосовскую вести все переговоры. Я устроил с давосскими людьми совещание, на котором выяснилось, что, кроме текущих прорех в их бюджете, единственное решение вопроса — покупка собственной виллы, где можно было бы устроить настоящую санаторию. Орановский заполнил нужные прорехи, между прочим уплатил вперед за долечивание упомянутого киевского крестьянина, и обещал дать некоторую помощь для покупки дома и снабжать в будущем средствами для содержания особенно нуждающихся.

Как деловой человек, он поставил одно условие, чтобы образовался комитет, в который вошли бы не только давосские люди, временно проживающие там, но и авторитетные люди, живущие постоянно за границей. Я с'ездил в Цюрих и легко сговорился с жившим там бывшим московским профессором Эрисманом об его участии в комитете; согласился войти в него и доктор Членов, давно поселившийся в Швейцарии. Через меня Орановский передал на давосские нужды, помнится, около семидесяти тысяч франков, большая часть которых пошла на покупку дома для русской санатории. Мне еще раз пришлось с'ездить в Давос и участвовать в выборе дома, кажется, он назывался вилла Мария.

Я не знаю дальнейшей судьбы русского дома. Нахлынувшая на Россию и Европу война спутала все планы и предположения. Не знаю, кто за от'ездом в Россию доктора Вайнштейна и работавшего вместе с ним доктора Микушевича остался в Давосе из деятельных русских людей, успевали ли они и могли ли они вносить срочные платежи за купленный дом, но знаю, что Орановский и после, когда жил за границей без меня, продолжал интересоваться Давосом и оказывать ему помощь.

У него были обширные планы построить в Крыму показательную санаторию для татар и вообще для мусульман. Он собирался купить большое имение «Ласпи» с тем, чтобы там общественные учреждения могли строить санатории для своих больных. Но война спутала все планы.

Озеров.

Последние две зимы, проведенные мною в Ницце, я прожил в семье старого, можно сказать древнего, эмигранта, характерного во многих отно-

шениях для старой эмиграции. Мы очень подружились, и он мне рассказал свою историю.

Его отец был жандармский генерал в Крыму, типичный службист времен Николая I, суровый, даже, судя по некоторым рассказам Озерова, жестокий. У них было большое имение, свыше двух тысяч десятин под Карасубазаром, которое брат Озерова промотал, ничем не поделившись с эмигрантом-братом.

Как полагалось, Озеров получил образование в военном училище и выпущен был офицером в кавалерийский, кажется в драгунский, полк, но, как не полагалось, но нередко случалось в русских семьях, мать была не николаевского уклада, прогрессивных взглядов, любившая литературу, не угнетательница. Озеров с нежностью вспоминал о ней. И сын, как тоже не полагалось, но нередко случалось, не пошел по стопам отца. Он мне рассказывал, — то было время конца 50-х годов, разгрома России под Севастополем, пробуждения общества, веяния нового вольного духа. Сказалось это и в молодом офицерстве. Образовались кружки для обучения солдат, изменилось отношение к нижним чинам, зачитывались новыми журналами и газетами, входило в молодые души и жадно впитывалось то новое и светлое, что, казалось, начиналось для России, и прежде всего великое дело освобождения крестьян от крепостной зависимости.

И кончилось тем, что кавалерийский ротмистр Озеров, сын своего отца, в 1863 году уже командовавший эскадроном во время подавления польского восстания, вместо ловли и расстрела стал спасать несчастных поляков и всячески помогать им. Дело было грозное, Озерову предстоял военный суд с вероятным решением расстрела, и выручил его только великий князь Константин Николаевич, лично знавший Озерова, как-то устроивший ему отставку и спасший от военного суда.

Озерову все-таки пришлось эмигрировать. Начались долгие скитания по Европе, между Швейцарией, Италией и Францией, поиски работы, бродячая жизнь. Одно время он устроил вместе с русскими и польскими эмигрантами в Париже сапожную мастерскую, пользовавшуюся в Париже известностью. Заказчиками были Гамбетта, Жюль Фавр и другие политические оппозиционные деятели Франции.

Озеров был знаком со всеми тогдашними крупными эмигрантами. Был близок с Герценом и одно время учил его детей, был знаком с Бакуниным, дружил со швейцарскими и особенно с итальянскими революционерами. С Бакуниным за несколько месяцев до Парижской Коммуны он делал революцию в Лионе, провозглашал Коммуну и захватил вместе с лионскими революционерами лионский Hotel de ville... И еще долго скитался. Долго был учителем в богатой русской семье.

А потом стареть стал, перестал бунтовать, поселился на постоянное житье в Ницце и жил уроками, которые давал детям богатых русских людей, проживавших в Ницце.

Когда я жил у Озерова, он был уже старый, больной тяжелым артритом и далеко продвинувшимся склерозом артерии. Уроками заниматься не

мог, так как не выходил из квартиры и дома целыми месяцами лежал в кровати, не вставая. Семья жила на маленькое жалованье, которое получал сын, служивший в банке, и на то небольшое, что умела жена, умная энергичная француженка, извлекать из сдачи трех комнат своей небольшой квартиры приезжавшим на зимний сезон преимущественно русским людям.

И старика Озерова угнетала мысль, что он лежит тяжелым бременем на руках сына, бросившего мечты о высшем образовании из-за необходимости не покидать отца и матери, уже тоже старой женщины, мысль, что он умирая не оставит им ничего кроме долгов, которые делала семья. И он создавал проекты, непрестанно проекты. Когда я входил к нему в спальню полечить его, я заставал его лежащим на кровати и пишущим. Он писал в Крым и на Кавказ, писал французским, английским предпринимателям. Проекты были самые разнообразные: вывезти татарские туфли из Бахчисарая, шелковичные коконы из Кавказа. Один проект совсем было удался. Он образовал компанию по доставке с Кавказа морем овец во Францию, и овцы уже были погружены, но судно с овцами затонуло во время бури в Адриатическом море.

Он был высокий, худой, с длинным носом. Тела было мало, а костей много, и кости выпирали острыми лопатками и ключицами и длинными узловатыми руками из натянутой кожи высохшего тела. И когда изредка сползал он с своей кровати, он ступал большими шагами своих длинных негнувшихся ног, как кавалерист, только что сошедший с седла и расправляющий ноги.

Я не встречал другого человека, с которого так просто и легко можно было бы рисовать Дон-Кихота. И не только по внешности. Он так же начитался и наслушался русских рыцарских слов и с ними пошел в мир.

И так же непрактичен и беспомощен был в личной жизни, и нужно было, чтобы кто-нибудь думал, заботился о нем. Он и жена его рассказывали мне, как они поженились. Умирала от туберкулеза первая жена Озерова и перед смертью позвала к себе француженку, гувернантку в той русской семье, где был учителем Озеров, и умоляла исполнить ее предсмертную просьбу — выйти замуж после ее смерти за Озерова. Говорила, молила, что Озеров не умеет заботиться о себе, что нужна хорошая женская душа около него. И француженка исполнила ее просьбу.

Он скоро умер, этот хороший русский человек.

* * *

Резко изменились количество и состав русской эмиграции. Бежали из России интеллигенция, рабочие, матросы с «Потемкина» и других кораблей. Бежали после московского восстания, после разгона «Второй думы», после всяких бунтов, бежали от столыпинского «успокоения», появлялись успевшие убежать из сибирской ссылки. В одной Франции тогда насчитывали около двухсот тысяч эмигрантов.

Большинство размещалось в Париже, в крупных промышленных центрах, где легче было найти какую-нибудь работу, но появились нового типа

русские жители в Ницце. В большинстве больные, они ютились в дальних улицах, в сырых и холодных комнатах — некоторых мне приходилось лечить. Изредка удавалось достать работу медицинскому персоналу — уход за состоятельными больными. Старый доктор Эльсниц умер, поддержку русским оказывал русский доктор Вальтер, из-за семейных дел принужденный переселиться из Харькова в Ниццу. Появилась в Ницце даже русская аптека, устроенная эмигрантом грузином Тумановым, организовалась русская читальня и библиотека, руководимая шлиссельбуржцем В. Ч. Ивановым. Как-то я встретил в Ницце даже двух ялтинцев, бежавших из Ялты после манифеста.

И было совсем особое отношение иностранцев к русским эмигрантам. Западная Европа с лихорадочным вниманием следила за развертывавшимися после царского манифеста событиями в России, за непрекращавшейся революционной борьбой. Русский царь, единственный бесконтрольный самодержавный монарх в Европе, который всякую минуту по мановению руки мог поднять и двинуть на кого угодно громадную Россию, стоял перед Европой, как вечная угроза. И к людям, которые стремились свергнуть этого колосса, Западная Европа относилась с огромным любопытством и с значительной симпатией.

Наиболее ярко сказывались эти симпатии среди западно-европейских рабочих. В Париже и других центрах французские рабочие охотно устраивали на заводе русских рабочих. В особенности горячо принимались русские беженцы в Италии. Эмигранты рассказывали мне, что в Милане, в центральном доме рабочих организаций, русским эмигрантам рабочим предоставлялись временно бесплатно квартиры и стол. Беглых матросов с «Потемкина» и других кораблей сердечно встречали в Генуе, и генуэзские моряки легко устраивали беженцев матросов на океанские пароходы.

И не одни рабочие. В Риме я снял меблированную комнату в семье римского архитектора, и, так как мне скоро пришлось лечить дочь архитектора, у меня образовались дружественные отношения с семьей. Меня стали приглашать на поздние обеды-ужины, и я познакомился с четырьмя молодыми социалистами, столовавшимися в этой трудно перебивавшейся семье. Все время они засыпали меня вопросами о том, что делается в России. Старший из них, только что окончивший юридический факультет в Риме, хорошо для итальянца знавший сочинения Толстого и Достоевского, говорил, что он высоко ценит великого Льва Толстого, но что тайна его сердца был Достоевский, неподражаемый, беспримерный, по его мнению, в мировой литературе всех веков. Молодые социалисты говорили, что они давно напряженно следят за революционным движением в России, упоминали, что они читали Плеханова, и почтительно произносили его имя.

Большой интерес вызывал к себе проживавший тогда на Капри Максим Горький. Я был у него там два раза. Второй раз мы поехали втроем — с Фроленко и женой его. На Капри оказалась целая русская колония, полна народу была вилла, где жил Горький, и бывали у него не только русские, но

и иностранцы. Между прочим, я застал у него француза композитора, сочинявшего оперу, не помню на какое из его произведений.

Совершенно исключительным вниманием и уважением окружена была в Париже Вера Николаевна Фигнер. На многолюдном собрании в честь ее приветственную речь говорил Анатоль Франс. Я был на другом собрании, где председательствовала Вера Николаевна и Пресансе говорил речь о русских тюрьмах. Огромный зал был полон русскими и французами, были американцы и англичане, хотевшие видеть ставшую мировой известностью русскую женщину. Места не хватило для всех, толпа оставалась на улице, и я с трудом проник в зал.

Поднимался огромный интерес к России, ее литературе, ее искусству. Тогда еще не начинался вспыхнувший потом в Европе культ Достоевского, но не только Толстой, покрывавший своей огромностью писателей всех стран, переводились Короленко, Максим Горький, Чехов и др. Особенный интерес возбуждала русская музыка и русский балет. Я помню восторженные статьи французских газет, когда в первый раз поставлена была в Лионе опера «Борис Годунов». В то время, про которое я рассказываю, за ближайшие годы перед мировой войной, кроме Чайковского, давно уже облюбованного Западной Европой, особенным успехом пользовался Мусоргский и начинал привлекать к себе большое внимание Скрябин.

И русский балет и Шаляпин имели беспримерный успех во Франции.

Перед войной.

Война давно носилась в воздухе. В особенности в последние два-три года слухи о возможности, о близости войны нарастали все более и более.

К этому шла вся жизнь Европы. Лихорадочно расхватывали по кускам африканскую землю и африканских людей западно-европейские страны. В Африке, в Китае, в Южной Америке, во всем мире столкнувшись плечом к плечу, шел раздел мира, и мир становился тесен для Европы.

И были старые счеты, незабытые обиды, незажившие раны. Поражало меня, я бы сказал, общеевропейское враждебное отношение к Германии и к немцам вообще. Германия страшно росла и опережала другие страны своею промышленностью, она била своими товарами другие страны, но и чувствовалась нота, так сказать, личной, национальной неприязни. Отношение французов, никогда не мирившихся с потерей Эльзаса и Лотарингии, было ясно, просто и понятно. Труднее было понять какое-то насмешливо враждебное отношение итальянцев к немцам. Слово «тедеско» звучало неприязненно в Риме. Мне приходилось слышать это в толпе по поводу проходивших немцев, не раз я с удивлением слушал, как приказчики в магазинах провожали именно этим насмешливо-неприязненным словом «тедеско» ушедшего из магазина покупателя-немца. Быть может, здесь сказывались именно старые обиды, незаглохшая память об австрийских тюрьмах, в которых долго томились итальянцы, боровшиеся за свою свободу. Но наиболее обостренное отношение было у англичан к немцам. Дело доходило до того, что в

Ницце англичане отказывались останавливаться в отеле, где жили немцы, и ниццские французы жаловались мне, что именно из-за усиливавшегося, за последние годы, наплыва немцев на Французскую Ривьеру англичане стали обходить Ниццу и обосновываться на Итальянской Ривьере, уезжать в Египет. То же было и в Египте. В швейцарско-немецком отеле, где я жил в Каире, были только немцы и русские, — наоборот, были дорогие чисто-английские отели, где под благовидными предлогами не пускали немцев. И на пароходе, на котором мы ехали по Нилу в Луксор, немцы очень скоро должны были выделиться в особую группу, англичане сгруппировались в другой части парохода и не разговаривали с немцами. Я уже рассказывал об инциденте, происшедшем в том римском отеле, где жил Плеханов.

Над правительствами стояла высшая власть капитала, но были два носителя власти, к которым с тревогой присматривалась Европа, — Вильгельм II и Николай II. Один, начавший свое царствование изречением: «Sic volo, sic jubeo» [1]), с некрепко поставленной головой, без задерживающих центров, экспансивный дилетант, фельетонист на престоле, долго импонировавший Европе своими императорскими жестами, мечтавший о лаврах Наполеона и Александра Македонского и оказавшийся, в конце концов, по воспоминаниям близких людей и его собственного сына, маленьким, серым и плоским человечком; другой — тростник, колеблемый ветром, всеми ветрами, что крутились вокруг него, и в то же время самодержавный царь грандиознейшей в мире империи и тоже не в меру своего роста мечтавший о победах и завоеваниях. И оба они были страшны другим странам теми силами, во главе которых они стояли, и теми возможностями и неожиданностями, которых всегда приходилось ждать от них.

В последний раз я поехал за границу с моими постоянными спутниками перед самой войной. Мы отправились через Финляндию в Стокгольм, побывали в Христиании, в Норвегии и застряли на неделю в Копенгагене.

Случайно я встретился здесь с сибирскими кооператорами, с крестьянами с Алтая и из Томской губернии, с маслоделами, отправившимися, кажется, делегированными сельскохозяйственными союзами для изучения крестьянского хозяйства в Дании и Англии. Это были очень интересные люди, я проводил с ними бо́льшую часть моего времени. Мне было любопытно слушать их впечатления от датского мужика, не только от хозяйства его, но и от него самого, датского мужика, его домашней обстановки, его семьи, где дочки становились учительницами, а сыновья — инженерами и докторами, что, кажется, больше всего заинтересовало сибиряков.

Я обещал проводить их на пароход, на котором они должны были ехать в Англию, и как раз утром прочитал известие об убийстве австрийского кронпринца и жены его. И когда сообщил это известие от'езжавшим сибирякам, на их вопрос я уверенно ответил: будет война.

---

[1]) Так хочу, так приказываю.

Мы, тем не менее, поехали дальше, пожили в Голландии и приехали в Остенде, где я прочитал ультиматум, пред'явленный Австрией Сербии. Для меня было несомненно, что это начало войны. Мои спутники были другого мнения и уговаривали меня ехать с ними на лето в Грац, но я через несколько дней уехал из Остенде.

Газеты были полны тревогой, но в населении, на внешней жизни — это ни в чем не сказывалось. Все было тихо и мирно. Остенде, как всегда в купальный сезон, было битком набито и бельгийцами и французами, немцами, англичанами и русскими; и все это жило привычно-курортной жизнью, — люди купались, нагуливали на набережной аппетит к завтраку, ходили в концерт, вели крупную игру.

И в Берлине, где я остановился на два дня, было, как всегда, шумно и людно и — мне показалось — весело. Русские студенты, с которыми я случайно познакомился в меблированных комнатах, где я остановился, пригласили меня участвовать в поездке в окрестности Берлина. Был праздник, по реке бегали такие же маленькие пароходики, как и тот, который мы наняли, и, встречаясь, мы и немцы обменивались приветствиями. В загородном кабачке мы кутили по-немецки, на весь двугривенный, а когда люди развеселились и стали танцовать, в наше отделение набились немцы, очень одобряли русскую пляску и мило и любезно беседовали с нами.

На обратном пути те же взаимные приветствия с встречавшимися пароходиками... И одно время мне невольно подумалось, что я преувеличиваю опасность, что, может быть, и на этот раз дело окончится бумажной войной, взаимными угрозами, и во всяком случае было невозможно думать, что через какие-нибудь две недели начнется война.

А через десять дней после возвращения моего в Крым в Отузы война вспыхнула.

* * *

Было чудное крымское утро, тихое, безоблачное утро 18 июля, когда на улице Феодосии, куда я приехал по какому-то делу, я встретил бледного, испуганного, почти бежавшего председателя земской управы, бросившего на ходу не сразу показавшиеся мне страшными слова:

— Всеобщая мобилизация...

И сразу все замерло. Остановилась вся жизнь. Не ездили извозчики в городе, без покупателей стояли магазины, остановилась служба в гостиницах, прекратилась работа на виноградниках в имениях, на хуторах оборвались песни. Наступила странная тишина, жуткая и напряженная. Молчали люди. Плакали женщины и дети, мужчины молчали и с суровыми лицами молча шли на сборный пункт. Пьяный садовник в Отузах, оставлявший большую семью, кажется, участвовавший в японской кампании, собрал толпу и ругал скверными словами царя и все начальство. Его не тронули, но толпа молчала, и неизвестно было, что она думала. Дворник из соседней дачи сначала говорил было, что народ не пойдет воевать, а когда народ пошел, стал говорить:

— Ну, теперь пойдем, а только воротимся — земля наша будет.

Других протестов в наших местах не было. Я читал тогда много газет, повидимому, везде — помню известия с Волги — было приблизительно то же. Водка была запрещена, не слышалось разухабистых песен, пьяного бахвальства. Плакали женщины, плакали дети, молчали мужчины и молча шли, потому что ничего не поделаешь — надо итти.

Через месяц я видел в Балаклаве этих призванных по всеобщей мобилизации. За месяц с них спал садовнический, извозчичий, деревенский облик. Хорошо одетые, с ранцами, ружьями и баклагами, стройно шагавшие в ногу с горластыми песнями, — они были уже солдатами.

То был обыкновенный армейский пехотный полк. И было в нем, в солдатских лицах, в манерах, в поступи нечто новое для меня, чего я не видел в солдатской толпе за тридцать пять лет перед тем в турецкую кампанию, когда мне приходилось студентом-медиком работать в кавказской армии. Тогдашняя толпа была более серая, тогда было общее слитное нераздельное солдатское лицо в толпе. Теперь обращали на себя внимание более смелые глаза, новая манера держать голову, новые, не семидесятых годов, солдатские лица.

Армейское офицерство давно перестало быть дворянским. Разночинцами были, насколько мне удалось узнать, и офицеры этого полка.

Думаю, не у одного меня было определенное представление об исходе начинавшейся войны. Свежа была память об японской войне, и то новое, что успевало проникать в газеты и что приходилось слышать в Петербурге, говорило за то, что правительство все забыло и ничему не научилось и что общая русская разруха была и в военном деле, в интендантстве, в назначениях на ответственные посты. И, тем не менее, когда я видел этих хорошо одетых, сытых, горластых солдат с смелыми глазами, великолепно проходивших с песнями мимо моих окон, иногда я невольно думал, что я слишком пессимистично смотрю в будущее и недооцениваю силу русской армии.

Как-то я передал свои впечатления знакомому капитану этого полка, скромному молчаливому человеку средних лет, — он был любитель русской литературы, и мы часто встречались с ним в библиотеке и читальне.

— Да, народ хороший. Солдат правильный, а что будет — бог весть. Пока одеты, обуты, а что там будет на фронте — дело мудреное...

И, когда мы гуляли с ним на набережной, он обстоятельно рассказал мне о сравнительных технических условиях русской и германской армий, сколько пулеметов на роту полагается у немцев и сколько имеется у нас, рассказывал, какой замечательный унтер-офицерский кадр немецкой армии.

Я не помню цифр и отдельных подробностей из разговоров с капитаном, но потом, когда развернулась во всей наготе неподготовленность и техническое убожество нашей армии в сравнении с немецкой, я часто вспоминал моего балаклавского знакомого и поневоле думал, что этот скромный армейский капитан гораздо лучше был осведомлен о том, с чем шли мы на

войну, и вернее расценивал положение вещей, чем царь и военное министерство.

А Россия шла суровая, молчаливая. Несла с собой думы крестьянские, рабочие думы, которые передумала за долгую жизнь и в особенности за последние годы. И были в ней люди, которые еще недавно устраивали «иллюминации» по деревням и выгоняли помещиков из имений, и были рабочие, что устраивали забастовки, организовывали тайные типографии с революционной литературой, и были городские люди, что кричали: «долой самодержавие!»...

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Как прутья растут.

Н. Силин.

1. То, что было.

Действительно: необыкновенная история!

В июне месяце в трех деревнях Ижевского уезда Советской волости было выпорото около 300 крестьян.

Эти деревни — Непременная Лудзя, Лудорвай и с. Юськи.

Деревня Коровай-Корья только случайно не присоединилась к ним: тех, у кого руки чесались, осадил своим энергичным вмешательством Тихон Михайлович Пушин, учитель д. Коровай-Норья. Он — единственный, осмелившийся протестовать...

Пороли по постановлению общественных сходов. Орудие порки — деревянные прутья толщиной не больше полутора сантиметров (постановление юськовского общества). Удары распределялись неравномерно: кому тело изрубцовали, а кого по спинке погладили.

Дер. Лудорвай совсем под боком Ижевска, быстро растущего промышленного города — в восьми верстах. Село Юськи — наиболее отдаленный пункт, на двадцатой версте. Деревня Непременная Лудзя ближе Юсек к городу на четыре версты. От волостного же центра эти деревни отстоят дальше: Юська — в двадцати шести, а Лудорвай — в тридцати двух верстах.

Инициаторами порки явились лудзинцы. И в этом нет ничего удивительного. Все окрестные деревни лудзинцев признают верховодами: боятся, слушают их и подражают им.

Они прежде всего «проучили» своих «лодырей». Это было еще в начале июня. «Проучили» так, что никто и пикнуть не смел.

И об этом никто не узнал — ни в Ижевске, ни в волостном центре в Большой Норье (вик). Отдавая дань справедливости, надо сказать: мудрено было узнать, когда все круговой порукой обязаны молчать! Сем Француcов, уполномоченный райсельсовета по Непременной Лудзе, при первом допросе его следователем категорически утверждал:

— Никто никого не порол! И не слыхал об этом!

Через два-три дня он раскаялся: сам заявил, что на допросе врал. Порка была, стало быть. Однако узнать от гр. Французова, главы лудзинских «дере-

вянных тигров», как все это произошло, не удалось. Он плел какую-то неразбериху и чушь...

9 июня общественный сход Юсек постановил и приговор подписал. Составители приговора, повидимому, довольно недурно знают орудия пытки и общественную психологию «... дать однодневный срок загородить. В случае невыполнения настоящего постановления дать наказание следующее: стегать каждого вицками не толще полутора сантиметра по пять раз при народе, т. е. при собранном сходе для того, чтобы каждый постыдился».

Этот приговор был принят после того, как лудзинцы, вызвав юськинцев к порубежной меже, т. е. к изгороди, взяли с них расписку, что они накажут «своих» за неисправные изгороди, а сами, в свою очередь, дали такую же расписку юськинцам, что будут пороть «своих лентяев».

Стало быть сыр-бор загорелся из-за неисправных изгородей? Но лучше с ответом не спешить.

Прошло два-три дня, и юськинцы, собравшись на сходе, учинили порку, хотя толком никто не мог сказать, в неисправности ли изгороди и у кого они неисправны. Стегали без разбору...

И опять-таки ни в Ижевске, ни в вике об этом не узнали!

26 июня лудзинцы зовут к изгороди лудорвайцев. Те не идут. Тогда лудзинцы отрядили в Лудорвай около десятка своих храбрецов и силачей. Они пригнали на сход человек пятьдесят, в том числе и члена райсельсовета Иванова, Григория Михайловича, выпороли «ответственных» и затем заставили самих лудорвайцев себя пороть.

Лудорвайцы на другой день, т. е. 27-го, созвали свой общественный сход и постановили:

«... Приговорили о том, что действительно мы граждане села обществом давать накази розги как за неисполнение по своим обязанностям о изгороди полевых изгородов, как то озимочных в плохом виде, а также за травеж хлебов повторить розги на нижеследующих граждан своего общества и Лудзи, согласно нашего постановления от 27 июня. Приговор без всякого препятствия такового постановления согласно единогласно исполнит своего наказы следствие согласны д а б ы н е ж а л о в а т ь с я» (цитирую дословно).

Под этим текстом — перечень ста одиннадцати неграмотных и подписи шестидесяти пяти грамотных.

Приговор немедленно был приведен в исполнение. Отстегали сто семьдесят шесть человек, хотя справедливость требовала наложить наказание только на троих, ибо изгородь была в неисправности только в трех местах!..

Об этом избиении слухи до Ижевска доползли только на четвертый день...

2. Создали комиссию... „Срочно расследовали"!

Массовая порка крестьян в Ижевске произвела ошеломляющее впечатление. Не знали, — что делать. Только по инициативе «Ижевской правды» вопрос был поставлен на обсуждение бюро обкома ВКП(б).

Постановили: срочно создать комиссию для срочного расследования. В комиссию вошел ряд ответственных товарищей: секретарь ижевского укома, представители прокуратуры и ГПУ, зам. редактора «Ижевской правды» и др.

Эта комиссия выехала на место «происшествия» — в Лудорвай, пробыла там сутки и уехала в вик. Ей некогда было посетить все места порки! Надеялась, что вик положит ей в портфель расследование...

Оказалось же, что ни вик, ни волком ничего о порке не знали! Делать нечего было. Поинтересовались — как кто работает в волостном масштабе.

Из доклада комиссии «Об избиении бедноты в д. Лудорвай» мы узнаем, что она как-то сразу докопалась до причины этого избиения. Как это произошло — нам точно не удалось установить. Было, приблизительно, так:

«Для исполнения директив центра нами была развита большая работа по проведению хлебозаготовительной кампании и самообложения. Всколыхнулась вся беднота и активно нам помогала! И вот кулаки теперь ее наказали...» — сказали, не без скрытого удовлетворения и самовосхваления (вот, мол, как работали!) в вике и волкоме.

Счастливая мысль! Она сразу дает точку опоры для надлежащего понимания массовой мести. И комиссия обкома «срочно расследовала» — воспользовалась мыслью похваставшегося чиновника!

На самом же деле было как раз наоборот. Например, в Непременной Лудзе, задающей тон всему району, уполномоченный вика по заготовке хлеба собрал бедняков.

— Помогите взять хлеб у богатеев! И вам самим лучше будет, часть вам останется.

Все молчали, дышать боялись. Смельчак только под самый конец единоличной беседы нашелся. И он сказал:

— Чтоб мы помогли?! И думать перестань! Жисти нам тогда не будет!

Хлеба при помощи бедноты взять не удалось.

Та же верховодящая Непременная Лудзя от самообложения совершенно отказалась. Мы задали председателю вика Акулову вопрос:

— Что же вы сделали, чтобы самообложение ваше прошло?

— Ну, что же я мог сделать? Ничего не делал.

Несмотря на то, что комиссия поверила этой для всех удобной сказке об активности бедноты, из ее доклада можно почерпнуть некоторые полезные сведения.

Она установила, что сам предвика — Акулов — имеет связь с кулацкими элементами деревни. И в таком случае неудивительно, что тут же, в Большой Норье, у него под носом, из ЕПО выгнали бедняков «за неуплату членских взносов»! С.-х. кооперация и ПО во время хлебозаготовок бездействовали, но уполномоченный Акулов и пальцем не пошевелил!

Точно так же волком ВКП (б). Например, 21 января он отмечает, что скидки по с.-х. налогу предоставляются зажиточным, но мер не принял никаких. Он сквозь пальцы смотрел на то, что член партии гр. Кочуров (с 1920 г.), предселькресткома и другой член партии Петр Климов (с 1926 г.),

зажиточный, выступая против самообложения, сорвали его проведение. И что же? Сошло. Грехи по-товарищески были отпущены...

Наконец комиссия, заглянув в раскладку самообложения и списки по с.-х. налогу, обнаружила, что не тот платит, кто побогаче, а наоборот: все с бедняка норовят содрать...

Собственно говоря, все эти факты с ясностью, не вызывающей никаких сомнений, разоблачают сказку о совместной активной работе советского аппарата с беднотой против кулака. Должен был возникнуть вопрос: не наоборот ли?

Но обком ВКП(б), заслушав доклад комиссии, пришел к выводу, что следствие по делу об избиении бедноты должен вести соответствующий орган — ГПУ, а до окончания следствия — надо молчать!

И «Ижевская правда» молчала больше двух месяцев!

Два месяца прошли, а предвика, имеющий связь с кулацким элементом, сидит на своем месте! На нашу просьбу дать нам для ознакомления списки по с.-х. налогу за 1927/28 г., он упорно преподносил раскладку 1928/29 г.

— За 1927/28 г. не можем найти!

И не нашли...

И так все: будто бы не было порки, будто бы комиссия не выезжала в Лудорвай и вик и будто бы обком ничего не знает!

Такое странное, на наш взгляд, положение вещей, оказывается, ничего особенного не представляет в глазах местных работников. Один из членов юськинского кресткома, Дьяков, Иван Никандрович, на основании, повидимому, местного опыта, рассуждает:

— Вик тут не при чем. Это — дело ГПУ.

Произошло необычайное событие. В общей сложности выпороли около трехсот крестьян. И — ни одного собрания, ни одного заседания райсельсоветов!

Да, мы забыли: предложено молчать...

3. Так в чем же дело?

Узнать, в чем дело, чрезвычайно трудно. Никто ничего не говорит. Лудорвайцы, будучи предусмотрительны, даже в приговоре записали: «дабы не жаловаться». Круговая порука молчания!

Вот Аболтусов, заместитель председателя юськинского селькресткома. Он битых два часа рассказывает всякие россказни о том, как он организовал потребительское общество, как работает завод кресткома и т. п. Аболтусов великолепно знает, сколько у кого гусей и поросят. И знает, кто чем сегодня захворал. Словом, деревенская энциклопедия, бюро справочное, «патэ-журнал». Но спросите его о порке крестьян в Юськах, — он ответит:

— Нет, ничего не знаю! Слыхал, что за изгороди... Больше ничего не знаю!

Такой же тактики придерживается Липин, Александр Ефремович, который будто бы является председателем лудорвайского райсельсовета. Будто бы... Ибо никаких документов о том, что он избран, утвержден или назначен, нет. Сам он сказал:

— Назначил меня предвика т. Акулов, Александр Никитич. Я ничего не знаю...

— Как случилось, что у вас выпороли чуть ли не двести граждан?

— Ничего, ничего не знаю! Я из Пирогова.

— Ну, хорошо! Вы же, как председатель райсельсовета, поинтересовались, почему стегали?

— Что же тут интересного? Не интересовался...

— А приговор вы утвердили?

— Нет, не утверждал. Но, если бы заставили, подписал бы... Теперь воля народа... — с ехидством отгрызается этот испеченный Акуловым предрайсельсовета.

Как вел себя у следователя Французов, уполномоченный юськинского райсельсовета по Непременной Лудзе, мы уже знаем: врал, а потом «каялся»...

Но, в конце-то концов, мы узнали, что Петр Терентьевич, самый что ни на есть бедняк, общественник, получивший по спине своей ударов тридцать, немало может рассказать: присутствовал на сходе, был выгнан к изгороди лудзинцами.

Пригласили его к себе в школу. Петр Терентьевич действительно много интересного вспомнил. Например, что говорилось по адресу того или другого гражданина, когда прутья отскакивали от его спины.

— Вот тебе еще за товарищество!

— Поправишься хлебцем за 12 рубликов! Еще сыпь!

— Делиться приснилось! Ну, так его, так его!

— Ну, обложи, обложи его! Хорошенько обложи, процентов в семьдесят.

Так приговаривали, когда отпускали ударов по двадцать-тридцать и больше. Это «лодырей» и «бузотеров» били, тех, кто выселяться хочет, в товарищество лезет и т. д.

Но некоторых прутьями погладили, только раза два легонько по спине провели:

— Ну, иди уж! Знаем...

И вправду же: такого смельчака земля не родила, кто бы осмелился больно ударить Трофима Мелятова или Петра Тычкина, этих лудорвайских воротил!

Петр Терентьевич ушел от нас часов в двенадцать.

Вечером, когда стемнело, ползет тень по двору к воротам... Окрикнули.

Петр Терентьевич весь день прятался, чтобы никто не видел, что он был у нас!

— Прикончат, да и баста! На все они способны...

Не ожидали, но факт, и еще такой упрямый: ищешь, где бы присесть,— так волнуешься! Не сразу находится точка опоры...

Как тут, при таких условиях, узнать — в чем дело. На каждом шагу мы убеждались, что «свидетельские показания», расспросы — ничего не дают. Молчат, замалчивают — и все!

Те, кто должны были говорить и кричать, так терроризованы, так прижаты, что слова проронить не смеют.

Ясно, что на расспросах далеко не уедешь. Нужны другие данные, другие свидетели, которые не поддаются запугиванию. И мы к ним и обратимся.

4. Вокруг земли...

Перед нами протокол общего собрания граждан «Ново-крестьянского поселка», собственно говоря — машинного товарищества, т. е. протокол собрания тех граждан, которые, в целях перехода к многополью, хотят выделиться из Лудорвая.

Протокол датирован 10-м числом сентября 1926 г. (№ 5). «Повестка: О невлиянии зажиточных граждан. — Слушали: Тов. Калинин о невлиянии зажиточных граждан. Тов. Калинин говорит, что зажиточные влияют на нас, на товарищество, и потому выходят из нашего товарищества. — Постановили: Не попадать под влияние зажиточных граждан, а твердо держаться за товарищество. Не слушать агитацию других граждан, которые идут против товарищества».

Тов. Калинин, Петр Лаврентьевич, еще в 1923 г. начал борьбу. И пять лет под-ряд он околачивает пороги всяких других учреждений, да толку пока еще не добился. Только на-днях в ОБЗУ должен быть решен вопрос о наделе землей «Ново-крестьянского поселкового товарищества».

В 1923 г. Калинину удалось уговорить нескольких своих односельчан организовать товарищество. Но оно распалось: членов товарищества всячески запугивали, даже грозили расправой... И УЗУ устав не утверждало — без об'яснения причины!

Видя, что выхода к лучшему при трехпольи быть не может, убедив в этом группу граждан, Калинин в 1926 г. дело начинает снова. Повторилась та же история. Посыпались опять угрозы. И к этому-то моменту относится постановление от 10 сентября 1926 г.: «не попадать под влияние зажиточных граждан, а твердо держаться за товарищества»...

Заглянем еще в один протокол, написанный десятью днями раньше 1 сентября 1926 г. (№ 3):

«Слушали: доклад т. Трефилова (он был избачом. *Н. С.)* об оживлении работы среди товарищества. Работа должна быть для усиленного влияния против зажиточного населения, чтобы оно не подорвало нашего товарищества, а то видно, что некоторые частично члены товарищества уже оказываются под влиянием зажиточных. По докладу выступает тов. Калинин, который подтверждает слова тов. Трефилова и добавляет, что нам необхо-

димо вести работу среди бедняков, чтобы защищали наши интересы, а не зажиточников, как мы находились до сего времени, а это влияние является над нами, так что они забрали больше земли, а беднякам давали по своему усмотрению.

Постановили: вести усиленную работу среди своих членов и бедняков данного общества».

Итак, борьба идет из-за земли, — и борьба отчаянная. К воротам Калинина приклеивается плакат: «Выкопай себе могилу, а потом в товарищество иди! На улицу не выходи!»

И угрожали не в шутку. Накинулся раз на Калинина Еремей Богашев, богатей из банды Мелятова Трофима, которая всех и вся терроризует. Начал душить... И только подбежавшему Сидорову сыну удалось разжать клешни Богашева...

Все же в 1926 г. удалось в УЗУ утвердить устав «Ново-крестьянского машинного товарищества». Все его члены — девятнадцать домохозяев — бедняки, за исключением Калинина, культурника-середняка. Тяжело устав продвигался в УЗУ. Два раза устав пропадал. Раз в мусорном ящике случайно обнаружили. В УЗУ старательно работал иждивенец банды Мелятова. Его-то т. Муратканов, член товарищества, при всех чистил, как явного взяточника. Оказался не из робкого десятка—проглотил...

Весной текущего года приступил к работе землеустроитель. Прикинул, где земель товариществу нарезать, и созвал сход. А дальше пускай говорят документы.

12 мая землемер Первов докладывает ижевскому УЗУ:

«Во время производства земельных работ в дер. Лудорвай у меня сорвали работу... Общество на этот выдел на общем собрании в присутствии представителя вика и агронома дало свое принципиальное согласие, но в конце собрания, благодаря агитации кулацкого элемента, а именно следующих лиц: И. И. Петрова, Еремея Богашева, Алексея Михайлова, Максима Васильева, Трофима Мелятова, Якова Тычкина — председатель собрания и секретарь от подписи протокола отказались, за что представитель вика последних арестовал»...

Вставим от себя: но «предвика Акулов немедленно дал им свободу»...

«Упомянутым лицам, благодаря их агитации против общественного передела, очень и очень хорошо живется, так как имеют по два-три в запасе кабака хлеба, а бедняк в настоящее время питается суррогатом!».

Это официальная докладная записка «старшего руководителя работ по землеустройству А. И. Первова. В письме своему приятелю в УЗУ он пишет более сочным языком и, пожалуй, более жизненным. Приведем выдержки из него:

«Я, на основании решения XV партс'езда, хочу, чтобы именно было «все для бедняков», но этот лозунг провести в жизнь невозможно потому, что на пути стоят упомянутые «пиявки», которые, имея по 2-3 кабака хлеба, — совершенно равнодушны к соседям, которые едят суррогаты. И на самом деле, если взглянуть на это, то можно сказать, что они на несчастьи

других нашли себе два-три кабака, а именно они, благодаря тс что почти пятьдесят лет не было передела, им самые лучшие полосы и много земли, а у бедняков хоть «шаром покати», если и есть земля, то у чо на куличках... Для примера я тебе скажу, что в дер. Лудорвай будто бы был передел, но какой это был передел! Это было только выра ние земли, и упомянутые господа бедняку, как голодной собачке, бро кость, т. е. самые дальние полосы. И вот эти господа и стараю во что бы то ни стало сорвать землеустройст так как это может вызвать передел, и передел настоящий, если земорı возьмутся серьезно за это дело. Я хочу, чтобы была «диктатура прол риата», а не «диктатура кулаков», как это наблюдается в Лудорвае... Я с ми справился бы один, если бы был комбед или ячейка. Вся беда в том, нельзя организовать бедноту. Спрашивал в сельсовете списки бедня но нам ответили, что списков нет. Если бы возможно было органи вать бедноту, то кулакам я бы тогда сказал так, что они волком взвыли»...

Такой доклад и такое письмо, после получения сразу же ставшие г личными, кого-то кое-к-чему обязывали... Но ничего никем не было пр принято!

То, что наблюдается в д. Лудорвай, типично для всех тех, по кр ней мере, деревень, которые нам довелось в течение двух недель обследова Непременная Лудзя, с. Юськи и д. Коровай-Норья.

Первое впечатление от них вылилось, при в'езде в Лудорвай, у мо спутника в восклицание:

— О, богато! Богато тут живут!

Хорошие постройки, и все еще строятся. Одеты прилично: редко ле мотья увидишь. В Непременной Лудзе — сапог лапоть вытесняет. А скольк кумышки (самогон) выпивают? По д. Лудорвай учитель (через ученико подсчитал, что за прошлый год на кумышку выгнали 177 тонн ржи, а пропитание ушло только 139 тонн!

Словом, хорошо живут! Но, конечно, не все...

5. На ижевских харчах...

Хорошо живется, особенно тем, у кого в семье крепкие лишние рук а в хозяйстве — крепкие лошади.

Лудорвайцы, лудзинцы и юськинцы — не одной землей кормятся. Ес бы земля была их главным источником дохода, то, вероятно, проявили б хоть малейшие признаки желания перейти к культурному полеводству скотоводству. Этого-то не видно. Отсталость невероятная!

Все дело в том, что они сидят на ижевских харчах. Лишние руки — заводе, крепкая лошадь — на подрядах, в извозе. И это — главная стат дохода. К земле отношение хищническое. Больше бы содрать, — а больш первобытным образом можно содрать только тогда, когда ее много. Дума

же о культурном ведении хозяйства некогда. Это удел «лодырей», бедняков, у кого и руки слабы, и лошадь за двадцать верст не погонишь.

Загляните в Ильинский починок — в версте от Лудорвая. Он — наиболее яркий пример хозяйственного положения окрестных деревень. У ильинцев земли с избытком, но сдают в аренду. Сами же на заработках в Ижевске. Чтобы все-таки хозяйство держалось покрепче, заведено многоженство. Ведь, если бы не так, то пришлось бы за наемную силу платить!..

Ильинский починок являет в чистом виде то, что в других деревнях замаскировано всякими остатками старины (родственные связи, трудпомощь и т. п.).

А теперь посмотрите налоговые списки! Учтен ли у кого-нибудь «побочный заработок», т. е. по существу главный заработок? Нет, не учтен. И так по всем трем деревням: Лудорваю, Юськам и Лудзе.

Правда, были сделаны намеки, что надо его принять в расчет.

— Петр Ефимыч! Как же так! Земли у тебя — бог жаловал! Работников — человек пять! А платишь — 7 рублей!

— Да! едоков много!

— А их же завод кормит?!

После этого целую неделю этот «нахал» ходил с перевязанной щекой. Банда Мелятова и Богашева дала ему урок благонравия...

Чтобы другим повадно не было!..

В этом году как будто повеял другой ветер. В дополнение к распоряжению 19 июля с. г. предвика Акулов написал «весьма срочно» всем сельсоветам бумагу, в которой, между прочим, говорится:

«По выявлению об'ектов обложения на 1928/29 г. для обложения с.-х налогом по вашему сельсовету проведено крайне неудовлетворительно, т. е. не учтя ни в какой ответственности со стороны сельсоветов по выявлению об'ектов обложения и выявлению источников дохода, несмотря на то, что сельсоветы были инструктированы для проведения настоящей работы практически на местах. На ряду с недовыявлением большого количества посева по вашему району в селениях имеется значительное недовыявление мелкого, крупного и рабочего скота, неземледельческих заработков и пчеловодства, еще раз говорит за то, что сельсоветы невнимательно отнеслись к настоящей работе, а лишь ограничились, чтобы составить список как-нибудь и свалить с себя работу, не давая никакого отчета о проделанной работе».

Правда, 4 августа эта бумага не была еще разослана. Но не в этом дело. Она дает нам представление о том, как работает налоговый аппарат в руководимой Акуловым волости...

Стало быть по сельхозналогу зажиточные пользуются неимоверно высокой скидкой. Мы уже видели, что бедняки этой привилегией не пользовались,

С самообложением дело обстоит не лучше. Раскладка была произведена из рук вон несправедливо. Но в этом винить только низовой аппарат не приходится. Вот «доклад уфинотдела о ходе кампании по самообложению в Ижуезде по состоянию на 15 июня»:

«Руководство со стороны обфинотдела было не вполне достаточное. Некоторые вопросы, как то: применение повышенных норм самообложения для отдельных зажиточных хозяйств со стороны обфинотдела не освещено до настоящего времени. Более того, в процессе работы были моменты, когда руководители обфинотдела отрицали возможность этого повышенного самообложения».

Были факты прямо курьезные. По Лудорвайскому району первоначально раскладка по самообложению была произведена, видимо, прилично: некоторые бедняки получили послабление. Это не понравилось кулачью. Поплакали у помпрокурора. И последний выступил в защиту законности: процент сельхозналога — и больше никаких! После вмешательства прокуратуры Иван Николаевич Калинин, круглый бедняк, вместо 35 копеек уплатил 3 рубля 50 коп.

Вывод отсюда следующий: кулачье сидит на ижевских харчах — не только заводских, но вообще ижевских. Ведь все ему благоволят, не исключая прокуратуры!

6. Сами собой управляют.

Выпороли около трехсот крестьян. Многие пострадали ни за что, ни про что: их изгороди были в образцовом порядке. Вот как бушевали! Даже некогда было разобраться!

Повидимому, прицел был другой. Мы уже видели, что в подсчете ударов классовый принцип получил неограниченное торжество: беднякам досталось столько, сколько было угодно Мелятовым, Французовым и Пушиным.

Спросили мы одного лудзинского:

— Почему же вы не обратились в сельсовет? Могли же обойтись без порки!

Он резко ответил:

— Зачем совет? Что совет может им поделать? Сами можем управиться!..

Вот именно: сами управляются. Они не чувствуют советской власти над собой. Она где-то в стороне, сбоку-припека. А хозяева — «мы сами»!

В лудорвайском райсельсовете лежат около пятидесяти не приведенных в исполнение судебных приговоров.

— Скажите, гражданин Липин, почему вы не приведете их в исполнение?

— Не могу! Драться же не могу!

Беглый просмотр торговых листов показывает, что все ответчики в состоянии уплатить то, что с них требуется. Но не платят, и с них не взыскивают. Само собой понятно, что о власти трудно говорить, когда судебный приговор повисает в воздухе.

Отсюда рассуждения:

«Что нам совет? Сами можем...»

Это лето для всего района является решающим: если Ново-крестьянское товарищество прорвет фронт, т. е. если ему удастся выселиться, то прощай золотые денечки!

Стало быть надо показать, что сила в нас, на нашей стороне, что мы можем и что будет по-нашему!

Прорвут фронт в д. Лудорвай, все последуют за ними: Юськи, Лудзя и т. д. Это ведь так естественно!

Теперь вспомним «приговаривания» при порке бедняков:

— За товарищество!

— За передел!

— За хлеб дешевый!

Не ясно ли, что две-три неисправных изгороди явились только удобным поводом для того, чтобы показать силу свою, фактическую силу — посредством прутьев? Устраивая порку, не надеялись ли, что она попугает членов товарищества, а оно само «ликвиднется» так же как в 1923 г.?

Когда к нам в школу пришел Калинин, Петр Лаврентьевич, председатель пять лет сряду организуемого товарищества, кой-кто у лавки чертыхался:

— Опять дьявол полез к начальству! А! Не будет ли все же по-евному? Мало ли прутьев сломали!.. И самого дьявола не искромсали!

На самом же деле, есть из-за чего досадовать: порка только отчасти достигла цели. Все молчат, боятся, прячутся, но... товарищество не распадается!

Досадно и по другой причине: на сей раз кое-кто из главарей сидит за решеткой, в том числе всесильные Трофим Мелятов и Французов! Все это походит на то, будто дни кулачьего самоуправления сочтены.

Литературные заметки.

Д. Тальников.

«Пушторг» И. Сельвинского. Кролевщина, как гримаса времени, и разоблачение ее. — «Щедрость» тов. Мэка. — Трагедия Полуярова. — Проблема интеллигенции в революции. — «Не суйся!» — Цена пессимизма.

I.

Антисоциальному человеку, уже знакомому нашему читателю по роману Федина «Братья» и по «Запискам поэта» Сельвинского, противостоит интеллигент совсем другого типа — «социальный человек» в полном смысле этого слова, герой другого романа того же Сельвинского — романа социально значительного, полного тревожных вопросов современности. Его я и хочу взять предметом настоящих заметок.

Когда-то в самом начале зарождения конструктивисты устами храброй и решительной женщины Ольги Чичаговой заявляли («Корабль» 1923 г., № 1—2), что «по существу своему конструктивизм отрицает искусство, как продукт буржуазной культуры» — вот как! Искусство и «нецелесообразно» (как «достояние немногих»), и «пассивно», только отражая действительность. Нынешние конструктивисты держатся другого взгляда на искусство: они очень хотят быть поэтами, и среди них есть действительно поэты, но задорная Чичагова была права в том смысле, что конструктивизм не столько «течение в искусстве», сколько определенная «идеология», мировоззрение. Конструктивизм, действительно, об'единяет поэтов самого разнообразного по стилю толка: Сельвинского, Веру Инбер, Багрицкого, Арго, — самой разнообразной поэтической установки, но базирующихся на единой, как будто творческой цели — «организации» жизни, преобразования жизни, а не «украшения» ее. Задачи тоже, что и говорить, гордые, придающие искусству исключительную роль производственного элемента, некоей машины, «вещи», предмета общественного быта.

Если оставим в покое манифесты конструктивизма и разные детски-наивные и громогласные «клятвенные конструкции», то увидим, что в действительности и творчество В. Инбер служит к «украшению жизни», и ничего иного, кроме известных художественных, может быть, и спорных по

своему поэтическому значению, эмоций не призвано, видимо, организовать, что просто интересен в какой-то своей «фламандской» физиологической полнокровности и насыщенности Э. Багрицкий; что остер и смел Сельвинский в своем захвате социальных тем современности.

... Отношение к миру — вещь, без которой поэт
Не смеет коснуться ни одной лирической темы...

Это совершенно верно сказано у Сельвинского, но это применимо вообще ко всякой школе подлинного искусства. «Отношение к миру», конечно, может быть двоякое — положительное («приятие» его) и отрицательное. Но это вовсе не значит, что тот, кто волнует в своем творчестве социальными проблемами, кто в своем «отношении к миру» современен, «приемлет» этот мир — есть непременно «конструктивист». Всякий подлинно-волнующий художник и писатель — современен, дышит своей эпохой и подымает ее вопросы. Так что привилегия на «современность», которую в своей идеологии отмечает конструктивизм, — не может быть закреплена литературным патентом.

Справедливость требует, однако, отметить, что установка на «социальность» у Сельвинского — не в пример многим другим поэтам современности — действительно, резкая, углубленная, что в его искусстве резкое превалирование идеологических «смысловых» моментов над формально-поэтическими. Идеологическая конструкция «Пушторга» начинается уже с характера самого задания — производственной темы о строительстве пушной торговли в СССР. Роман остро ставит теоретические и практические политико-социальные проблемы, даже актуального характера, переводит смысл творчества из плана художественного в план идейный; это — политический роман в первую очередь, на идеологии которого мы остановимся подробнее далее.

Но такая подчеркнутость семантических моментов ставит перед автором в чисто-формальном плане угрозу сближения с так наз. тенденциозным искусством, которое уже и не искусство по своему существу. Конечно, и в таком случае произведение не потеряло бы все права на общественное внимание, но это было бы внимание иной квалификации. Когда Дружинин, отстаивая пушкинскую стихию против гоголевской, писал: «Нам нужна поэзия... наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением», то никто иной, как Тургенев, подлинный художник, прекрасно понимал, что «бывают эпохи, где литература не может быть только художеством — и есть интересы высшие поэтических интересов. Момент самопознания и критики так же необходим в народной поэзии, как и в жизни отдельного лица» (к Боткину). Сельвинский, мне кажется, счастливо избег острой коллизии, переключив оформление своего задания из плана «серьезного» драматического романа в план гротесковой сатиры, позволившей ему оперировать на самой грани публицистической прозы, как будто не выходя из общего поэтического строя своего произведения.

Так наз. «конструктивизм» — не публицистика, не «голая» идеологическая дисциплина, а категория искусства в толковании и в художественной практике Сельвинского, — и если «конструктивизм» хочет оставаться та-

ковым, он должен разрешать поставленные им вопросы практи «предметного» мира методами искусства, т. е. переводить их в ин отвлеченный от целого ряда специфических черт практики. Оставляя гого раза рассмотрение «Пушторга» с точки зрения проблемы « и разрешения этой проблемы в связи с общими устремлениями но этики, мы здесь остановимся на одной идеологической стороне ром

II.

«Пушторг» вводит нас в самую гущу эпохи нового строительств фоне этого строительства — взаимоотношений «строителей», людей с нового мира. Жгучая проблема психологических и общественно-(взаимоотношений между технической интеллигенцией и людьми ре стоит в центре романа и волнует своей напряженностью. В этом роман тесно примыкает к уже знакомой читателю повести Ю. Оле висть» с той только разницей, что человека интеллигентского «пс Кавалерова здесь заменяет честный, здоровый и технически культу знаток своего дела, «спец» Полуяров, искренно работающий в общем тельстве, человек делового бабичевского типа; «новых» же людей х ризует «вредитель» Кроль — не передовой представитель этого ново а его гримаса, его кривое зеркало. Впрочем, в роман введены эпизодических лиц и в противовес Кролю и иные, честные и хорошие цы Саввич и Мэк — «поправка» к Кролю. Столкновение беспартийн луярова, директора треста «Пушторг», со своим заместителем Кроле жение Полуярова и торжество Кроля — вот сюжетная линия романа. дия Полуярова не только фактическая, практическая, но и идеологич вот основной стержень романа.

Кто такой Полуяров? Это — «спец», «авторитет», один из н и лучших знатоков в стране пушного дела, человек почти «легендарнь ховом мире». Тип Полуярова — это развенчание традиционного инте ского образа русской литературы и жизни — Рудина, Печорина, Об Это, как я уже сказал, — Бабичев Олеши, но без его революционного и без его партийного билета; но ведь и коммунист Бабичев для чита ясен, как коммунист: он просто хороший, активный русский человек канской складки, «русский янки», человек новой деловой эпохи. у Бабичева естоена смвыг оена смвыг жбш плкд жбш — ы!ю,,ед ную практику строительства. Бабичев в «Четвертаке» и дешевой ко насущной маленькой работе своего треста над хорошим устроением д щественного питания горит своеобразным пафосом «социалистическо ительства». Сельвинский рисует своего героя живыми художественны тами: это — не рыхлый интеллигент — эстет типа Нея или Никиты Представьте, даже чтение «Мцыри», казалось бы, близкого ему по дух кальная семантика»), ему «трудно дается», «буквально упарился». Он — тик, а не поэт и мечтатель. За ним «молодость, лишенная дедовских тра которых он, вопреки Никите Кареву, не признает, очевидно. Это челов лый, гордый, независимый, любящий жизнь, «небо, вещи, женское

Разве такого заставишь лизать
Чью бы то ни было руку на свете?

Автор берет в герои исключительную личность, редкое и счастливое гание («лоб исключительного счастья»), чтобы тем выпуклее, тем пока-льнее была идейная катастрофа на таком материале, тем резче и тре-тельнее встала бы проблема стержневая...

Интеллигенты не любили Полуярова за «грубость», партийцы — за то, «держал себя как патриций и был оскорбительно-вежлив», он — этот , охотник на зверя, своей исключительной энергией одолевший и негра-:ость и некультурность среды, сумевший добраться до европейского уни-итета, ставший не только виднейшим практиком своего дела, но и ученым)ессором, и организатором — «директором Пушторга», этот человек — сан, «бирючья масть» с «бритой щекой европейца и ученого». Не лю- — разве любят таких самобытных и независимых людей? Но зато «ува-і» и спецы, и партийцы: «за знания и отказ от тантьем», т. е. за беско-ие. Это — честный, преданный делу работник, занимающийся «специаль-культурой», о которой мечтает так В. Шкловский, и вовсе не сеющий, все, «пшеницу». Полуяров работал с утра до утра, «он помнил облик й копейки»; он был грозой всякой расхлябанности — «всему, где храп, іяп, спесьца» — как видите, такой идеальный «хозяйственник», о кото-может только мечтать современность, весь в плане хозяйственной госу-гвенной установки.

Трезвый делец, он считает, что во всяком деле нужно прежде всего ь, а не просто отдать это дело людям, «вытянутым за уши». Он против моверного бремени» издержек на «сусликов с мандатами», которые ста-і вожаками к «волчьей стае» спекулянтов разного типа. Он против типа кторов, у которых: «долой рукопожатие, в петлице Мопр — а дело ни-, и вот откуда его неувязка с Кролем. И здесь в хозяйственное дело ит властно жизнь, политика.

Полуяров — не политик, он хозяйственник, человек своей специаль-и, как Никита Карев, Ней — но это вовсе не означает, что он — уединен-отрешенный от социального мира человек: дело строительства есть тоже эугом участке общего фронта совершаемое единое политическое и со-ьное дело, Пушторг тоже плывет «с маршрутом на социализм», и Полуя-з полнейшей степени с о ц и а л ь н ы й ч е л о в е к, открытый всем :ам живой жизни. Даже «обиженный», уехав за границу, он не задумы-:я броситься на вооруженных бандитов в защиту советских дипкурьеров.

Он не активный политик, но он «не буржуй иль офицер», который «ко-і в сторону», «надеется на что-то», он так называемый «честный беспар-ый». И у него свое общее мировоззрение интеллигента, честно работаю-и преданного работе, но имеющего свой взгляд на события. Автор ает своего героя даже «коммуноидом».

Значит, все обстоит так, что лучшего и искать не надо. Откуда бы ься трагедии?

III.

Ну, а кто такой Кроль? Что такое «кролевщина», как социальное явление? Это — гримаса эпохи.

Он «реален, как 25. Столкни его в воду — он поправит галстук и вынырнет опять». Он из примазавшихся «в 18-м году». Приказчик, «забытый клерк», «белый негр императорского ига», он в революции видел один «бунт»; его участие в ней было «отвагой страха», «яростью» гнета.

> Но бой отдымил. И мой Лев Семеныч
> Уже навострил лягавую гоночь...
> Точно беременный свой живот.
> Тыча всюду раненую руку:
> Он ею дышит, ею живет.

Его психологический образ ясен. «Он не мечтал о нищих, которых увидит в бархате, об уничтожении классов. К чему? Он ожидал для себя в революции за кровь в бою — коронованные блюдца».

> Было бы лишь хорошо ему.
> Ему. Понимаете? Кролю. Лично.

Ему нужен «уютный строй фальши, протекционизма и чванства». Ясна и его карьера: председатель «хорош с Александрой Ивановной»... На «штатскую» должность Кроль смотрит, «как на отдых», «точно на урочище удельного князька». Он дан в романе в ярком образе законченного образа бюрократа, «настоящего короля» в своем кабинете стиля... «Люэса Пятнадцатого», со своим «лишним секретарем». Его невежеству (этот самый «Люэс») не особенно приходится удивляться: он к тому же и «дурак», но с «интонацией хитреца», «надуть, об'егорить» всех. Это, действительно, «Блеф» Семенович, сплошной «пушной анекдот»: леопарда он не в силах отличить от «гигиены», лисицу от песца, пантеры и рыси.

> Что знал он? Что он умел?
> Дважды два — и ничего в уме...
> Товарищи! Кто, бишь, его посадил?

Вся цена красная ему, «prix fixe сорок копеек»... И автору, и интеллигенту честному, и другу-читателю, и выведенному в романе честному партийцу, подлинному коммунисту Савичу

> Это боль, ну поймите—боль же,
> Что он выступает от нас как фиск,
> Что он фигура-с...
> Сорок копеек. Алло: вы слышите?
> Сорок копеек! Кто больше?

Для Сельвинского Кроль — это символ значительного общественного явления. Кроль — «дурак», но через Кроля действуют иностранные хищники, «сосиалисты польские, всякие Джошуа Куки, «франкорюсы», которым Полу-

яров — помеха. Кроль губит дело строительства. Он — «нуль», «дырка от бублика», но автор всюду, как Овидий, ищет его «превращений», всюду видит его «декаданс».

Вот, в области современной литературы молодой и уже известный поэт, — «счастливый и беззаботный»:

Но и счастье, и покой
Я, ей-богу, заработал
Этой раненой рукой..

Спекуляция на свои «раны», свои «заслуги», «кролевщина» в поэзии.

Кроль — гибель строительства, творчества; он губит дыхание жизни. Для Сельвинского проблема «кролевщины» стоит так же остро, как в свое время стояла проблема: «вошь или социализм». Оттуда такая «ненависть» его к Кролю, которую он «лелеет»; оттуда голос его «воет» на луну; оттуда желчь:

Но даже луна — идеальный нуль,
Под нею сжились тихомирные овцы —
А я с непосильными бивнями совести
Вымру, как мамонт со льда.

Кроль «пока под маской». В снятии с него «маски», в разоблачении его — и художественное, и большое общественное значение романа Сельвинского. Его установка на борьбу с «кролевщиной» во имя строительства — лозунг «самокритики» современности, имеющий боевое значение, литературное отражение той борьбы, которая провозглашена по всем участкам нашего строительного и культурного фронта. Этот момент звучит в энергичных выражениях недавнего обращения «Ко всем членам партии, ко всем рабочим» («Правда» 3/VI-28 г.), в призыве бороться с «элементами разложения в наших собственных рядах», с «злейшим бюрократизмом», с «гнилью» — чиновническим перерождением, распущенностью, чванливым угодничеством и подхалимством, невежеством, косностью, консерватизмом и рутиной, т. е. с той же «кролевщиной».

Кроль в романе побеждает — «пока» побеждает: только в мелодрамах одерживает верх добродетель. Добродетельный исход борьбы Полуярова с «кролевщиной», какой-нибудь жандарм в немой сцене «Ревизора» мог бы успокоить читателя, а беспокойство, тревогу автор хочет в нем оставить.

У Сельвинского, правда, «на выбор» предлагается и другой «конец» романа, вариант финала, сатирический («От Щедрина» он «горечь берет», от «Крокодила» «смоленые вилы»): в газете вырос «шестиэтажный подвал»: «Герой нашего времени», это, конечно, прославление Полуярова; события развертываются, «как на военной карте»: Мэк бьет отбой и начинает понимать суть дела, «Кроля, конечно, фюить из партии», также и прочих вредителей, торжество полное правды...

Короче говоря: «с Интернационалом
Воспрянет род людской»...

Но этот вариант, пародирующий мелодраматические финалы, только оттеняет еще резче основную, художественно-правдивую линию развития романа и подлинную идею автора.

Нелепая победа Кроля — первый момент трагедии Полуярова. Мэк увольняет Полуярова, Кроль-ничтожество становится директором Пушторга.

IV.

Вокруг этого увольнения Сельвинский завязывает узел дискуссионной борьбы между двумя честными и идейными коммунистами: Мэком и Савичем. Мэк — персона: дела пушного сам он не знает, но Кроль его окрутил, он доверяет Кролю, и, честный политический деятель, он поверил Кролю и не хочет «склоки» в деле. Наоборот, Савич, молодой, пылкий партиец, потрясен победою Кроля и тем, что Полуярова «сдали на слом»; у него «сердце ноет» за Полуярова, пусть «по-своему и узкого», и «неуживчивого».

Но это новый тип — коммуноид,
Который за новое на рожон.

Савич великолепно понимает благодетельное значение «полуяровщины» в нашей стране. Полуяров в Савиче находит себе и понимание, и активную защиту.

...Ежели Рудин — «лишние люди»,
То Полуяров — «нужный» народ.
«Нужные люди»! О них мечтал
Капитализм семи поколений.

Полуяров, правда, «металл заказа капиталистической лавки», но он годен для «переплавки», этот «коммуноид», хотя он в политике и «слаб»: но «нашу цель, нашу идею он принимает на все на сто»:

И в скорости кастовой чести настой
Сменился бы коммунистической призмой.

«Когда над страной разразился Октябрь», Полуяров мог бы вкусить «прелесть дорог, открытых пред ним в буржуазной Европе», но он «прилетел» на родину.

Он из Европы бежал в революцию.
Походом пошел на обломовский табор
И с нами лепил за этажем этаж,
Тогда как другие ушли в саботаж.

И для Савича ясно, кого предпочесть: партийца Кроля или беспартийного Полуярова, хотя приходится упорно доказывать, что «вымя не опухоль, ноздря не язва».

Мы очень щедры, товарищ Мэк!

Сельвинский старается быть художественно правдивым и своих героев снабжает тем образом мыслей, который только и может иметь данный человек. Мэк мыслит трезво, и у него иная, чем у Савича, точка зрения на вещи: точка смены старой интеллигенции, точка выдвижения. «Полуяров не по кар-

ману», «Кроль подешевле», и вовсе неважно, окажется ли Кроль на месте. «Важна социальная геология, важно, чтоб мерно один за другим коняк обменивался на сантим», чтобы за 1 копейку не «швыряться тремя сантимами» — т. е. Кролями,— «а бюджет наш сер! Кроль выгоден» потому, что

Путями слияния в образе Кроля
Оперативности и контроля,
Мы его в трест, в райком, в муни,
Его мы как молот рушим туда,
Где требуется пролетарский удар.

Во-вторых, Полуяров — интеллигент. «Он может быть гений, но в нем, увы! ницшеанский нерв».

Его благороднейшая ретивость
Идет не по линии коллектива.

Полуяров — индивидуалист, «один против всех он, как полубог», «не белый, не красный, скорее голубой». А нам теперь не до «сказок», не до романтики: «в портянках идейная наша пехота». Наконец, в-третьих, «как венерологу всюду и всюду чудится люэс,

Так мы всегда оставляем щелку
В своем доверьи...

Кроль ясен, все в нем взвешено «до абзаца». Пусть он «хромает, как спец»,

Зато Полуяров волочит ноги,
Парализованный идеологией...

Мэк видит единственный «выход» только в грядущей смене, которая идет в лице совсем новых людей — честных и квалифицированных Савичей. «Он-то, случивши идею с лисой», т. е. совместивши знания с идеологией, «дело у нас завертит колесом». И потому

Да здравствует молодость,
Об'единяющая альф и омег.

Но покуда еще нет этой смены, Мэк определенно предпочитает «своего» Кроля чужому Полуярову.

Савич, очевидно, не удовлетворен ответом Мэка, Савич мог бы ответить в свою очередь Мэку словами Ленина (XVI т., 105 стр.) о «ребяческой мысли» строительства с такими невежественными ничтожествами, как Кроль, а «не с помощью буржуазных специалистов» — тем более таких преданных, как Полуяров. «Это необходимое условие, без которого социализма построить нельзя», писал Ленин. Мог бы Савич и насчет «экономии» Кроля возразить, что этакая грошовая экономия дает миллионы убытка, что Кроль, «который не знает ни Маркса, ни зверя, ни аза, — сосет свои 200 рублей за то, что мешает работе», и что увольнение Полуярова «несчастье» прежде всего «для дела». Мог бы Савич также взять под сомнение утверждение Мэка, будто Кроль может действительно оправдывать роль «пролетарского удара»...

Кроль, наоборот, несет разложение в пролетарскую среду, но Мэк этого не видит, не знает, не чувствует, он слеп в своей самоуверенности, изолированности и недоверии к «чужим». Конечно, правда больше на стороне партийца Савича, но Савич покуда только на учебе и молод, и распоряжаться в «Пушторге» не в его власти: это — человек «роста»...

V.

Полуяров победой Кроля не разбит до конца: он, в конце концов, понимает, что в строящейся стране, где все новое смешалось с остатками старого, на пути встречаются трудности небывалые, необходимые «издержки» производства.

Он должен осмыслить тот факт, что Кроль — не изжитая еще язва, что необходимо только сорвать с нее «маску» для того, чтобы не только Савич, но и Мэк увидели ее отчетливо во всей ее вредительской красе. С разоблаченной «кролевщиной» ведь идет борьба: смоленское дело, сочинское, туапсинское, артемовское... Разве Кроль не оценивается и партией, и всей общественностью как бесспорное з л о и т о л ь к о з л о? — не по-«мэковски»?

По роли, которая отводится в романе Кролю и его борьбе с Полуяровым, по впечатлению, которое производит победа Кроля и на Полуярова, и на автора, и на читателя, по роли, которую она играет в душевном переломе Полуярова, можно думать, что Сельвинский в известной степени переоценивает роль «кролевщины» в нашей современности, придает ей центральное значение в нашей действительности, как количеству, которое внушает опасность перехода в качество. Здесь кроется главный момент разочарований Полуярова, пессимизм и его, и автора. Полуяров ясно видит, что «интересы Пушторга и республики ждут от него работы отточенной», но «дело погубит эта четверка»: честный, но ограниченный Мэк, уверенный, что «Кроль — пушник; Кроль — карьерист; Маслов — «контр» и брат Полуярова — саботажник» (который на службе пребывает благополучно). А он — сам, единственный зрячий — «бессилен, он смят. Он затих. Кто же теперь он? Боец? Изменник?» Тяжелые переживания — удел его бескорыстной работы... Но Полуяров, человек интеллекта, в конце концов осмысливает совершенно правильно всю суть «кролевщины», все ее социальное значение: Полуяров лично «не нашел угла в этом доме». Что же?

Жизнь огромна— и он ей не суд.

Он может стать выше личных интересов, осознать факты вдумчиво и социально. В конце концов Кроль — «пустяки»:

В царское время он был анатомией,
Теперь он патология, и в этом с у т ь.

Это единственно-правильный и подлинно-революционный анализ «кролевщины», как патологического нароста, как «болезни» роста. И в конечном счете, в масштабе революции и ее идей, конечно, «кролевщина» — «пустяки»...

Полуяров понял это и рассудочно, может быть, преодолел в известной степени свои обиды и, может быть, с горечью понятной, даже «все простил»...

Но его душевный мир глубоко надтреснут; он ранен тяжело — читателю это ясно...

VI.

Гораздо серьезнее, по существу, обстоит дело с другим моментом складывающейся трагедии Полуярова. Пессимизм охватывает Полуярова, когда, отметая Кроля, он чувствует общую какую-то неувязку во взаимоотношениях интеллигенции с современностью. Полуярова всегда «бесило» то недоверие, которое он ощущал к себе, когда

> ...Кроль при нем шу-шу-шу с партийцем.
> Давая понять, что подобным лицам,
> Ох, не приходится доверять.

Мы уже говорили, что Полуяров — не политик, но он социальный, общественный человек, — не чета Никите Кареву, —и у него есть определенное мировоззрение.

Об этом мировоззрении мы узнаем довольно точно по письму Полуярова к брату, в сущности являющемуся дискуссией интеллигенции с современностью. Полуяров строит в этом письме свою концепцию интеллигентского приятия революции. Так, современное решение национального вопроса — для него прежде всего разрешение хозяйственной задачи — хозяйственного «слияния» и об'единения огромных разноклиматных русских единиц.

> Русский империализм был наг:
> Он шел исключительно голосом пушек.
> Индустриальная же сторона
> Хромала.

Русский империализм — отстало хищнический, «обжора»; у него не было «сил» и уменья «заполнить все берега географической карты России», превратить бездолье и одичанье «жмудинов, колымчан, сванетов и пр., и пр.» в углы культурные. С «великодержавной» точки зрения Англия с ее «умелым» завоевательством, конечно, идеал. «Тонкий опыт», проделанный нами, — поднятия общего хозяйства «жизненным ростом отдельных мест» («класс покрывает нацию»), «идейное об'единение» национальных хозяйств в «единую нить общей программы» смело разрешает для Полуярова нерешенный до сих пор истинно-русский столетний спор

> Западника и славянофила.

Оттуда у Полуярова особое, — я бы сказал — сменовеховски-устряловское приятие «радужной державы» вместо «темной» «коллекции марок». Отсюда и его — тоже устряловского типа — преклонение перед вождями нового мира, — перед «учениками Маркса», сумевшими стать «европейскими социологами из русских народников»:

Всечеловек, человек без родинки,
Он остро увидел особую стать
России по Тютчеву.

И здесь «родинка» — та «родина», которую ищет так страстно у Федина Никита Карев.

Пункт расхождения Полуярова — это вопрос о культуре и ее насаждении.

Задача страны овчины, сохи да блох
Пустить в рабоче-крестьянский блок
Культурные дрожжи.

Это — вопрос о культурной революции, стоящей у нас на очереди дня, об интеллигенции и ее роли в стране, — вопрос, как мы знаем, интересовавший и Баха в фединском романе. Полуяров мыслит не материалистически, а идеалистически: он отвергает теорию классовой интеллигенции. Он считает явлением исключительного, случайного порядка, что часть интеллигенции служит капиталистической системе, что

Какой-то Струве, какой-то Гейнце
Перед капиталом улегся ниц...

И Струве, конечно, не «какой-то» и «ниц» его — далеко не случайный... Для Полуярова интеллигенция русская, внеклассовая и внесословная —

2.000.000 мозговых единиц,
Сынов чаадаевского томления,

давших России из своей среды и революционных вождей,

Давших России Ленина.

Но в то время, как из внимания к «последствиям» были обследованы все пути для прочной спайки крестьян и рабочих, для «агитации интеллигента» (нуждается ли интеллигент в «агитации»?), по мнению Полуярова, многого не было сделано. В его мышлении, сугубо интеллигентском, ему кажется, что интеллигенцию и ее роль не дооценили.

И серый пиджак
Стал символом желтизны и побега.

Массы были «расссорены» с интеллигенцией. Полуяров анализирует проблему участия интеллигенции в общем строительстве, т. е., в сущности, проблему так наз. «попутничества», как явление, обусловленное принуждением и «рублем». Здесь он находит и об'яснение психологических моментов, сопровождавших это участие:

От слоя, привыкшего жить в идеях,
Добились матовейшего мата
Арифметрического аппарата.

По его мнению, «купить» нельзя носителя идеи; «гораздо дешевле» и рациональнее «включить» его в «сердце», «придать ему блеск», т. е. дать ему

«теплю», привлечь его к согретой социальным теплом товарищеской работе [1]).

Автор и сам, комментируя письмо Полуярова, отмечает его известную идеологическую наивность:

> ...В вашем письме
> В национальной проблеме утеряна
> Сплавляющая роль Коминтерна.
> ... в нашу эпоху, вы смеете сметь
> Думать, будто идейные слитки
> Можно добыть без всякой политики.
> При вашем уме долю наивности можно иметь.

Правда, автор большой «беды» не видит в этих идеологических ошибках: для него в первую очередь важна искренняя преданность Полуярова своему делу и его специальные знания, а ведь, в конечном счете, это дело — «маршрут на социализм». Точка зрения практического строительства и хозяйственного успеха — у него на первом месте в его концепции современности. Главное:

> ...как нам быть с Пушторгом,
> Который сквозь призму любого «изма»
> Должен доплыть до социализма...

причем любой «изм» здесь не только для формы, а и определяет существо идеи о строительстве во что бы то ни стало, строительстве «внеидеологическом», идею «американизма». Но по существу здесь у Полуярова идет, конечно, речь о более глубоком идеологическом, а не только хозяйственном вопросе. Идеология Полуярова в ее существенных чертах (европеизация, деловое строительство жизни), как мы сказали, исторически определяет собою прогрессивный тип «русского» интеллигента на фоне традиционной российской рахлябанности, преодоление этой «интеллигентской» размягченности. Полуяров — живой, а не мертвый Штольц, так недостававший русскому капитализму, кое-где маячивший на тусклом фоне нашего дореволюционного хозяйства — Рябушинский и Мамонтов, только без их меценатства и «Золотого Руна», бунинский «Соотечественник» без его лихо-

---

[1]) Вопрос, стоящий в центре полуяровской проблемы, видимо, актуальный (см. на эту тему статьи в «Экон. Ж.» (№№ 224 и 225) — «Инженерная общественность на переломе») — служит содержанием и новой повести Б. Лавренева «Гравюра на дереве», поскольку можно судить об этом по напечатанным главам («Звезда» № 8, 1928 г.). У Лавренева в его типичной повести à thèse вопрос этот поставлен резко-публицистически и теряет, конечно, в своей значительности и типичности в сравнении с художественными образами Сельвинского; тем не менее и в такой постановке он волнует читателя самой остротой задания. «Спец» Половцев тоже отстаивает у Лавренева права интеллигенции — этого «рокового жупела», «чудища» — на общественное внимание: «нужно об'явить это сословие таким же почетным, как рабочий от станка». Значение интеллигенции в грядущем «Октябре культуры», о котором говорил Ленин, он определяет «общеполезным умственным трудом, создающим культурные ценности», и только им можно победить грозную силу приспособившегося и отовсюду выползающего обывательского «мещанства» (той же «кролевщины» в его восприятии).

радочного сгорания и романтического «опьянения». Но какова социологическая структура этого «русского янки» на фоне наших дней? Не является ли его идеология апологией нового буржуазного человека, чрезмерным увлечением новым «мещанином» делового пошиба в пылу развенчания «ненужных», «лишних» героев до-революционного периода? Фетишизацией идеи хозяйственного роста страны вне увязки с общей социальной устремленностью эпохи?

Волна энтузиазма сливает Полуярова с рабочим делом, но он вряд ли задумывается над пафосом конечных целей. Делец-практик, для него социализм только — «светлые туманности», и «маршрут Пушторга на социализм» звучит в его устах только фразеологически; он теряет общую перспективу современного строительства. Ценность человека, работающего на деле. для него единственно в знании этого дела. Его убеждение формулировано в определенной «голой» формуле: стране, в прошлом пережившей исторический опыт «татарщины, боярщины, Бирона, Аракчеева», «крестьянской республике» нужен «техник» прежде всего, а не политик, нужны «Эйфели и Уатты», «английские коттеджи и немецкие мансарды», т. е. прикладное практическое строительство без конечных идеалов, которые он воспринимает в свете скептицизма. Это, конечно, устряловски-сменовеховская идеология.

В этой же плоскости практической культурной необходимости он ставит и вопрос о взаимоотношениях революции и интеллигенции, которая, в его представлении, оставлена за бортом жизни на положении «чернокожего».

VII.

В своем комментарии к роману Сельвинский проблему его определяет, как проблему «молодой интеллигенции, выросшей в эпоху революции и болезненно ищущей сращения с рабоче-крестьянским блоком» («Читатель и писатель» № 3). И идеологическую задачу «конструктивизма» он определяет, как выражение этих исканий «участия в общем строительстве» новой народившейся интеллигенции, «чрезвычайно рознящейся от прежней русской богоискательской или нигилистической, обломовской, онегинской, но всегда бессильно-идеалистической».

В сущности голос Полуярова в защиту «серого пиджака» — это стихотворное переложение того «письма специалиста», проф. Воронежского сельскохозяйственного института М. Дукельского, которое Ленин опубликовал в свое время в «Правде» (27/III-19 г.) со своим ответом (напечатано в XVI, так «пугающем» Полуярова, томе Собр. соч. Ленина). Профессор указывал в своем письме, что «среди русских специалистов имеются... настоящие труженики, добывшие свои специальные познания ценой упорной борьбы с убийственными условиями студенческой и академической жизни прежнего строя», и что «их нельзя купить» (та же полуяровская терминология) «ценою животного благополучия». «Без вдохновения, без внутреннего огня, без потребности творчества ни один специалист не даст ничего, как бы дорого его ни оплачивали». И он в унисон с Полуяровым выдвигает принцип

уважения» спецов, «как людей», а не «как нужный до поры до времени живой и мертвый инвентарь». Чтобы иметь специалистов — «честных добровольцев», «не за страх, а за совесть», профессор предлагает, с другой стороны, произвести «чистку» «рвачей, авантюристов, прихвостней и бандитов, которые прикрываются знаменем» и т. д. — т. е. борьбу с «кролевщиной» и с Кролями.

Мы знаем, что ответил Ленин на это письмо — это ответ, в сущности, и на письмо Полуярова: «саботаж был начат интеллигенцией и чиновничеством, которые в массе буржуазны и мелкобуржуазны». «Если бы мы «натравливали» на «интеллигенцию», нас следовало бы за это повесить». Мы «проповедывали от имени партии и от имени власти необходимость предоставления интеллигенции лучших условий работы». О требовании «товарищеских отношений к интеллигенции» Ленин пишет: «Это правильно. Этого требуем и мы». Об очищении от «рвачей и авантюристов», от «кролевщины»: «Чтобы очищение шло полнее и быстрее, надо, чтобы искренняя беспартийная интеллигенция помогала нам в этом».

Итак, идея Полуярова и положительная программа его сводятся к сближению недооцененной и отстраненной, по его мнению, интеллигенции с передовыми слоями революции. Смысл Полуяровских речей в том еще, что Кроль — хоть и пакость и отрицательное явление для партии, — но это явление об'ективно обусловливается «мэковщиной», неправильной, по его мнению, политикой Мэка по отношению к интеллигенции, «щелкой в доверьи». Но здесь Полуяров должен был бы внести ряд коррективов в свои положения, существенно меняющие дело, которое его так волнует. Он мечтает о «романе» власти с интеллигенцией и уже в этом и значительном по своей сути противопоставлении двух сторон крылась вся дальнейшая трагедия, все длительные недоразумения. «Мы» и «они». Противопоставление было начато, как мы уже это знаем, интеллигенцией, боровшейся во имя других идеалов или другой тактики, других методов; с самого начала интеллигенция этим самым поставила себя в положение другой стороны, и притом враждебной. Кто же виноват, что противопоставление продолжается и позже, — но уже с другой стороны? Но ты этого хотел, Жорж Данден!..

Когда она пришла на работу, — эта вторая сторона, — честно, как многие (Блок, Альтфатер, Полуяровы и мн. др.), или принужденная обстоятельствами, — была принята, как мы уже знаем, официальная установка «использования» специалистов.

Конечно, обидно честному Полуярову, что тепла нет и любви, а только одно «использование» (о котором говорят, мы знаем, и герои Ю. Олеши) [1]), но если на практике трудно было достигнуть, как правило, этой любви, а та, которая была, проходила без особых радостей, — и «кролевщина» могла побеждать, питаясь общим отношением масс к «серому пиджаку», — отношением, в котором было и недоверие (мэковское) и пр., — то этому, повторяем,

---

[1]) «Они жрут нас, как пищу, девятнадцатый век втягивают они в себя, как удав втягивает кролика. Жуют и переваривают. Что на пользу, то впитывают, что вредит, выбрасывают». — жалуется Иван в романе Олеши.

исторически было много оснований, — и для недоверия, и для всего прочего. За грехи отцов приходится расплачиваться и сынам, молодой «поросли». «Кролевщина» питалась, в сущности, «кавалеровщиной». Даже честно практически работая, интеллигент в своей массе не принимал идеологически новых положений, нового уклада. Он мог даже сочувствовать, но он был идейно не свой, чужой, человек другой эпохи, других традиций, иной психики, — да и трудно было бы требовать от честных людей старого мира внезапного перерождения. Только проходимцы или Кроли перерождались с такой быстротой, какую требовали от них обстоятельства. И естественно, что и им — переродившимся, людям «18-го года» — также не верили. Это был вопрос миросозерцаний, вопрос классовый, — и Полуяров должен был бы понять — и принять это, как факт непреложный.

Здесь, в этом вопросе нужно вообще многое понять — и простить.

Грехи «отцов», конечно, пора предать забвению: до какого же поколения повторять о них? Вот Сельвинский говорит, как мы знаем уже, о своем поколении, «выросшем в эпоху революции» и «болезненно ищущем сращения с рабоче-крестьянским блоком»... Оно не хочет отвечать за деяния предков, и, конечно, «болезненно» встречает всякие проявления недоверия своему искреннему пылу. И на этого Макара валить все шишки тоже не след. Грехи были по отношению к Полуярову; но инструкции и борьба с инструкциями — дело живых людей, а где люди — там и ошибки; важно общее, главное, основное и безошибочное: схватить смысл происшедшего, понять то, что разворотило всю страну и поставило ее на верный путь культурного развития — а ведь об этом мечтала в свое время и интеллигенция. Если интеллигенции нужно преодолеть «кавалеровщину», то необходимо, с другой стороны, чтобы была преодолена также не только «кролевщина», но и «мэковщина», ибо иначе это бесконечная сказка о носе и хвосте, которые по очереди увязали. Мэку надо изжить свою «щелку», недоверия к честным работникам, а возможность нечестных — не должна пугать: Кроли, слава богу, всюду имеются в достаточном числе. Надо, чтобы Мэк ценил Полуярова не только для использования, уподобляя его столь любезной лефовским и конструктивистским сердцам «вещи», а и по-товарищески, любовно, тепло, социально-тепло. Ведь интеллигенция — это тонкая и ценная мозговая ткань страны, это Белинский и Чернышевский, и Плеханов, это люди «чаадаевского томления» и томления революционного, и разве не революционно звучит и сейчас, как провозглашение великой хартии интеллигентской мысли, возглас великого русского интеллигента Пушкина в мрачные тяжелые годы николаевские:

> ...Да здравствует разум!
> ...Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Во всяком случае в этой области у Мэка не все обстояло благополучно, если с болью бьет тревогу об этом и молодой партиец Савич, и автор романа, отразитель общественных настроений.

Масса, народ все эти обстоятельства, если и не тонко понимала, то чуяла, и отсюда двойственное положение интеллигенции в стране и двойственное тяжелое ее самочувствие.

«...И серый пиджак стал символом желтизны и побега...» Полуяров не только чувствует себя в положении «гяура» рядом с «правоверным» Кролем. Он пишет об отсутствии у него «ощущения дома» — той «родины», о которой говорил Никита Карев; Россия для него «только физический атлас»; он ощущает «холодок», а родина наша ведь только там... «где любят нас, где верят нам», — как говорил еще Лермонтов. В этой двойственности положения, в этом отношении масс, а не только Кролей и Мэков, к интеллигенции — главная основа душевной драмы Полуярова и приведшая его к трагическому финалу.

VIII.

Решив, что «Кроль — пустяки» и «все против», уволенный Полуяров попадает на первомайскую демонстрацию. Он слился с нею, зашагал с демонстрантами.

Его ноздри пылали,
Глаза раздувались, ах-да-наоборот,
Он гордо пел под топот ног.

А был Полуяров, приехавший перед тем из-за границы, одет — по-европейски. Подходит к нему кто-то из демонстрантов, посмотрел на серый драп, сизый пух итальянской шляпы: чужой!

Вы—гражданин,
Отсюда, пожалуйста, дайте драп.
Мы тут все с одного завода...,

В сущности, это старое знакомое: «не суйся»...

И вот «в душе опадает лист»... Полуяров почувствовал себя чужим не только Кролю и Мэку, но и массам рабочим, народу, стране, для которых работал; для дальнейшей работы и борьбы он не находит в себе внутренних стимулов, а без этих стимулов он, честный деятель, жить не может.

Напрасно автор уговаривает Полуярова «крепиться»:

Принцип борьбы
Не исчерпан деленьем на тех и этих.
...Вы не смеете умирать.
Один из лучших русских спецов,
Ты нужен, пойми—без таких, как ты
С жизнью не одружить мечты:
Ты не Печорин и не Онегин...

Полуяров, однако, кончает с собой, оставляя тяжелое впечатление у читателя от всего романа. «Разлада» с общественной средой, о котором писал Плеханов, как будто налицо и не было, и человек не замыкался в своем отгороженном мире от социальности. Если понятен конец Нея, то конец Полуярова — трагически-нелеп, и трагедия его — в его правдивости.

В своеобразном «Театральном раз'езде» Гоголевском, которым Сельвинский, кончая роман, подводит итоги впечатлениям от него и возможным

критическим замечаниям, — «некто с льняной бородкой» так определяет «глубоко-реалистический» смысл «полуяровщины»:

Суть в том, что вырос актив
Интеллигенции, воспитанной нами...
Она рвется в работу не в страх, а за совесть,
И ждет признанья, под самое знамя
Идейные бури свои докатив.
Ей нужен ответ с максимальной правдой:
Полуяров мертв, но жив его автор.

В этом и весь социальный смысл «Пушторга».

Прав ли, однако, Полуяров, кончая с собой, и автор, кончая с своим героем? Нам кажется, что оба они, сознательные активные люди, строители, «американцы», «не Печорины и не Онегины» — не дошли еще до настоящего осмысливания жизненных, с несомненной правдивостью изображенных, фактов, не изжили еще в себе в некотором смысле «интеллигентщины», не преодолели блоковской трагедии. Блок был поэт; во многом он еще не отошел от Нея, «неевщины». Он пришел к революции, как поэт, почувствовал в ней героическую «симфонию», «музыку революции», и, как поэт, был надломлен сразу же противоречиями поэзии и прозы, теории и практики. Он не вынес живых бурь. Полуяров еще не преодолел в себе «блоковщины»; Сельвинский не преодолел еще своего героя, не стал выше его, не посмотрел на него сверху, сатирически, ибо это его собственная боль и собственная жгучая обида и Голгофа. Он не преодолел в себе Полуярова; он мог бы и убить его, — это есть художественное отражение известных случаев действительности (известный случай самоубийства крупного инженера электрической станции, затравленного каким-то своим «Кролем» лет 6 тому назад в Москве; недавнее самоубийство в Киеве профессора в одном научном институте по той же причине), но он должен был бы идеологически развенчать эту гибель, отвергнуть ее, как неизбежный и единственный выход из положения. Смерть не есть социальный выход из полуяровского положения. Ведь вот врач Троян, бескорыстный работник, чью жуткую историю рассказал недавно Мих. Кольцов в «Правде», прошел через подлинную Голгофу страданий и душевных пыток от своего «Кроля», но ведь он не покончил с собою, не сдался, а сумел довести борьбу до общественного финала...

Что собственно должно идейно оправдать самоубийство Полуярова? Торжествующая «кролевщина»? Но сам Полуяров понимает, что не в ней — как бы тяжело ни отражалось ее торжество на жизни и развитии страны — суть дела; она — явление временное, вопрос только «количественный», и нужна борьба, чтобы не допустить перехода количества в качество. «Кролевщина» — «патология», «пустяки» в масштабе дела, революции, и это ведь Полуяров, в конце концов, понял. Недоверие власти? Но его можно победить только упорной бескорыстной работой. Доверие и любовь завоевываются, это дело наживное. Хуже другое — недоверие масс, народа, отверженность масс, но правильно ли воспринимает на сей раз эту отверженность Полуяров? Шли рабочие на своем празднике, видят барина, в хорошей одежде, воодушевлен-

ного как будто общим порывом, с ними пошедшего, но ведь они не знают этого барина, не знают, что он — вовсе не барин, что «барство» серого драпа и итальянской шляпы — принадлежность просто каждого культурного человека Запада, и что рабочие Запада одеты бывают так, что и не отличишь их профессии, что Полуяров на самом деле — преданный работник страны и народа; но этого ничего ведь не знают наши демонстранты, отвергнувшие Полуярова: именно потому, что они не знают его, он представляется им классово-чуждым человеком, и в этом общем недоверии, направленном не лично против Полуярова, а против его класса, ничего персонально обидного нет. Историческое прошлое привело к этому недоверию...

Стреляться из-за этого — значит, просто пасть духом, поддаться «нервам». Выстрел этот характерен был бы для эмигранта, хотя бы и внутреннего, — но таким Полуяров не был. Конечно, чрезвычайно обидно и больно и читателю за героя Сельвинского, и автору за него, но нужно «понять, «tout comprendre». Если не мог понять Полуяров, то должен был понять Сельвинский, ибо писатель обязан всегда преодолевать своих героев.

IX.

Резюмируем: ряд проблем, поставленных Сельвинским в «Пушторге», — крайне острых, волнующих, возбуждающих ряд вопросов критики и самокритики,— надо определенно учесть, как крупную заслугу писателя. Он говорит:

Я тоже мог бы греметь в барабанчик
И был бы ей-ей лихой барабанщик
Квадратных агиток и круглых сатир...

И он мог бы, «рекламируя резолюции», «служить» на «левой ноге» революции...

Но я ей служу по-иному, по-своему:
Поросль нового поколения,
Я большей чести себе не воздам,
Чем гордость считаться родичем Ленина.
Заменив этой геральдикой чин:
Он отец революции, — я же ей сын.

Ему дорога его «страсть коммуниста», «алая неутолимая страсть» — это, очевидно, страсть к безбоязненности выводов.

Вопросы культурной революции и роли культуры в революции сейчас вопросы актуальные. В культурном и промышленном строительстве страны роль интеллигенции, интеллигентской мысли, рабочего мозга человечества, конечно, безмерна. Велика ответственность, тяжесть на плечах, и велики часто сомнения и муки, предуказанные самой природой вещей интеллекту, покуда общество не стало идеально-гармоническим. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»— вырвалось у поэта светлой мысли. Больше того — для интеллекта страдания неизбежны:

Какое страшное мученье...
Страдать века без разделенья —

Все знать, все чувствовать, все видеть
И все на свете ненавидеть,
И все на свете презирать...

вырвалось у другого поэта той же эпохи, но эти, как будто, философические настроения глубоко-социальны в своей подпочве. И Пушкин, и Лермонтов жили в обществе равнодушно-чужом, одиночки будущего, без опоры в общественном строе, без «разделения», были обречены на муки беспросветного одиночества. Если есть связь с социальным целым, если идеи — не тепличный цветок высокого прозрения, а выражение известных общественных соотношений, известного прочного базиса, если есть вера в жизнь и ее силы — тогда и личные конфликты, «страшные мученья», обиды и боль должны переноситься легче, не так беспросветно: не «все» следует «ненавидеть», не «все» презирать... И есть, за что бороться...

Вот почему Сельвинский не прав, устранив от борьбы своего Полуярова. Можно ли работать Полуярову? — спрашивает как будто автор, и ответ на него дает как будто гнетущий своим крайним пессимизмом: в этом ответе мне видится и переоценка таких явлений, как «кролевщина» и «мэковщина», и недооценка живых сил революции, Савичей и рабочих масс. В этом — спорное место романа, но вместе с тем и искреннее, не надуманное, правдивое — без лихого «барабанчика» и потому весьма ценное, — общественно ценное, делающее из романа художественный документ.

Автор предвидит критические толки: выведенный им в эпилоге некий критик находит в романе даже «контру»: «по ком здесь удар?» «Нет, это не наш заказ». К вопросам самокритики у нас до сих пор еще привыкли подходить с опаской, но самокритика есть показатель силы и уверенности в себе, а не бессилия; удар по «кролевщине» и вопросительный знак над «мэковщиной» принадлежат к бесспорным и здоровым явлениям самокритики. Прав другой критик, тоже выведенный в романе, который находит в «пессимизме» романа «массу здоровья».

В выявлении пессимистических настроений, по-моему, несомненное общественное значение этого романа. Болезнь надо выявить, чтобы успешно бороться с нею. И в этом выявлении скрытых настроений правильно, автор — сам «поросль нового поколения» — видит свою «службу» революции.

Надо выявить для того, чтобы затем преодолеть — преодолеть и пессимизм, и боль личную, — именно из-за веры в жизнь, ее силы и будущее — из-за всего того, что покрывается достаточно крепкой формулой: веры в революцию.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПИСАТЕЛИ И КНИГИ.

(П. Катков. Рясная ягодка. — **К. Вагинов.** Козлиная песнь. — **П. Слетов.** Прорыв).

Книжечка в обложке, напоминающая кустарные ткани, пестрые платки Это — «Рясная ягодка» П. Каткова (изд. «Издательства писателей в Ленинграде»). П. Катков словно купец на клиросе. Солнце у него «приходский звонарь под голубым куполом». Народный дом — «свадебная квашня — всклянь». Но этого мало. «Небо — кубовый ситец». Ночь — «шелковисто шелестела кубовым, в белом горошке платье». — «Небоскат горит золотой оторочкой риз». — «Тканым половиком залегла трава к вокзалу». — «Облачка — белые кружевца». Прямо прейскурант Саввы Морозова с сыновьями. Эти эпитеты не случайны. Они «рассказывают» на свой особый лад о новом «красном купце» — Даниле Нилыче, который и говорит-то — «расстановисто, хозяйственно-экономно: сказал и конец—повторяться не будет».

Для того и эпитет жирный, для того и славянизмы нанизаны, для того и мистика «в оборочку» пущена (стр. 62—63 и 76), отсюда и влюбленность в «святую природу»: «солнце развалилось на мешках и лукаво щурится сквозь золотистую пыль к выручке».

Вся жизнь для Каткова, как «рыластое красное солнце», «распялило жирные губы, выпучило бычьи глаза и смеется — чего смеется?»—О того у него нет обвинительного акта Даниле Нилычу, оттого у него кунсткамера «древнерусских раритетов»: 1) «Худоумный Моргун—торчит на кукырках, плешивыми глазками кив-морг, кив-морг и тычет в угол костистым пальцем». 2) Лесной человек Епифан — «глаз у Епифана звериный, вострый и ухо тоже звериное, чулое. Тут выполз из-под ноги мураш: верть, верть — в траву; там вспорхнул с лопуха мотылек: кувырк, кувырк, — скрылся. 3) Дьякон с медно-красными крапчатыми скулами — ни так, ни сяк не обмеришь его, не обхватишь. 4) «Рясная ягодка» — Настя — «грудастая молодуха с полевым платком на плечах». В Каткове - писателе, как в капле воды, отразилось новое россиянство, неприкрыт апофеоз жирного старого быта.

От Каткова — естественен переход к Вагинову.

Нельзя пройти мимо книги К. Вагинова «Козлиная песнь» (изд. «Прибой. Л. 1928 г. Стр. 198) — романа о писательской богеме — в нем донельзя обнаженная апология тех блаженненьких, нищих духом, Христа ради юродивых, кафешантанных гениев на полчаса, о которых с великим презрением писал в «Злых заметках» Н. И. Бухарин. Автор кокетничает «снобизмом», изломом, гробокопательством. Влюблен в гниль, в плесень, в юродство. — «Автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер... Поведет носиком (?!) — трупом пахнет; значит гроб нужен, и любит он своих покойничков, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет и заговаривает, и исподволь доски заготовляет, гвоздики закупает, кружев по случаю достает» (стр. 8) и галлерею этих живых покойников показывает любовно в романе. Тептелкин — «загадочное существо», смрадная падаль старого мира, «неизвест-

ный поэт» — представитель богемы, задумавший в 1918—1920 гг. сохранить верность чистому искусству. «Пусть бегут все, пусть смерть, — записывает он в дневнике, — но он здесь останется (в Ленинграде) и высокий храм Аполлона сохранит». — На улицах плещут толпы народа, распускается новая жизнь на мостовых Ленинграда — первое мая — а поэт поет (стр. 26):

> А друзья его все гниют давно
> Не на кладбищах, в тихих гробиках,
> Один в доме шатается,
> Между стен сквозных колыхается
> Другой в реченке к 'пается,
> Под мостами плывет, разлагается,
> Третий в комнате, за решоткою
> С сумасшедшими переругивается.

Этим героям посвятил Вагинов свою книгу. Конечно, он пытается иронизировать, конечно, наигранный скептицизм сквозит и в характеристиках Тептелкина и неизвестного поэта, но «междусловиями» и «интермедиями» автор пытается подсказать выводы, заставить «всерьез» принять за настоящую монету — фальшивые ассигнации. «Печальный, трехпалый автор выходит со своими героями на сцену и раскланивается... Смотри, Митька, какие уроды, — говорит зритель: — ну и ну, экий прохвост, какую похабщину загнул. — Ах, ты ужас какой, неужели все такие люди?» (стр. 194).

Один из собутыльников пьяной компании изрекает афоризмы: «девушка желторотый воробей — от нее пахнет булкой, женщина — это цветок, это благоуханье». — Другой живет со своей матушкой и занимается оккультизмом; другой — к песикам неравнодушен (?!)» (стр. 79). Вообще любовь к песикам — подана лирически (стр. 135): «Он поднял Викторию (собаку) и поцеловал ее в живот. Он был почти влюблен в песиков, они казались ему нежными и хрупкими созданиями, он строго охранял их девственность и ни одного кобеля не подпускал близко. Тщетно плакали весной его собачки, тщетно они катались по полу и визжали, лезли на предметы, — он был непреклонен». — Блудящие и вожделеющие поэты Тентелкины, строящие семейное счастие на «поздно узнанной физической любви» к Марье Петровне (новая вариация «старосветских помещиков») — монстры и курьезы жизни, с «высоких» мест свалившиеся люди — вот кого принимает автор, кокетничая философией «носового платка» (авторское curiculum vitae) — «руки мои всегда влажны, изо рта пахнет малиной... иногда я ношу модный костюм — желтые ботинки и часы с браслеткой»). Вагинов в своем романе дал очень неудачную интерпретацию Эренбурговского скепсиса, конечно, не обладая силой дарованья и искренностью скорби Эренбурга. — Говоря о смысле творчества, Вагинов утверждает, что писанье — вроде физиологического процесса, своеобразного очищения организма. И тематика, и оформление романа — «очищение организма» — напоминают ученические тетради. Наша жизнь многогранна и многокрасочна, не иконами старорусского письма заполнена современность, а живыми людьми. Есть темы, есть возможности для писателя и для драм, и для трагедий, и для комедий. — Слезы допустимы, но зачем же обязательно с пьяной икотой?—Печаль—тоже, но зачем же гнилое. «Ваши пальцы пахнут ладаном» — а ла Вертинский в кабаре» (Н. Бухарин). По другому и о другом рассказывает Слетов в повести «Прорыв», но и у него реставрация старины глубокой, хотя тема — гражданская война — «беззвучно зазвенев, смыкается пустота», — «темносерая тень, вставив колено свое в живое стремя... испытывает доверчивость», — «солнце — бессменный огнемет — шлет сростнолепестным и тайнобрачным свой благодатный огонь», — «в Аллочкином лице — тоска ненайденных слов, тоска невысказанных мыслей». — Это наугад выбранные образы и стилевые отрывки новой повести П. Слетова — «Прорыв» (изд. «Круг». М. 1928 г. Стр. 244). Старое, затхлое декадентство вкупе с штампом празднует торжественно свой ренессанс. Эти стилистические архаизмы не случайны. Слетов один из многих, из тех, кто, взяв современность, как материал, как тему — дает апофеоз пассеизму, эгоцентризму, кто опоэтизировал банкротство индивидуализма. В повести Слетова, хотя развертывается действие на фоне классовой схватки, в горячую пору гражданской войны, когда тронулись миллионы — один

лишь герой — начдив Стомаров. Это странный начдив. Вся судьба дивизии, вся судьба фронта поставлена под удар, ибо главный приз в войне для начдива — женщина чужого класса. — Идет эвакуация, а начдив—автор так описывает его переживания:

«Перестрелка сильно придвигается и раздается два-три выстрела где-то в городе недалеко.

— Вот они, твои прекрасные, — говорит Стомаров, обернувшись в комнату и махнув рукой наружу.

Аллочка тушит лампу и быстро подходит к нему. Глаза ее — незабудки — в этот миг расширяются до темной синевы, лицо бледно, и на нем рассветные синие тени. Сближаются два лица — бритое, замкнутое и девичье, искаженное любовью. В поцелуе рождается пожар, подхваченный рассветом, бритое, замкнутое, также искаженное любовью. Обступив их, комнатные тропические цветы, холодные, не знающие цветения, смотрят на и с к л ю ч и т е л ь н о п р е к р а с н о е и с к а ж е н и е человеческого лица, чувствуют теплые лучи от тихих пожаров, раздуваемых на лицах поцелуями и рассветом. Их немного, этих поцелуев, но они долги и слиты...» (стр. 69).

Человека, «идущего мимо», человека, которому по пути с революцией до полустанка, П. Слетов предлагает нам как героя «вчерашнего дня». Кто поверит автору, что Стомаровы — те, кто заявляли (стр. 161): «Если мои личные интересы разошлись с общими интересами — я прислушаюсь к себе, а не к лозунговым жупелам. Да вот в моем чемодане лежит какое-то золото, о котором при других условиях я, право, не подумал бы, в руках моих большие возможности, о которых я бы не вспомнил. Как ты думаешь, неужели я постесняюсь употребить все это в своих целях, если пришла борьба моя со всеми, против всех, мешающих мне жить так, как мне сейчас необходимо нужно, единственно возможно? Я сделаю это, а я знаю и всю жизнь знал, что делаю. ..» — были теми, кто водил железные дивизии и полки? Стомаровы — это Савинковы на временной службе советам. И не зря мы начали с примеров стилистической архаизации, внешнее оформление подсказано идеологическим срывом сюжета. Не случайно, что «камертон дивизии», лучший из лучших в повести, коммунист Щукин: противоядие стомаровщине видит в учении индийских иогов (стр. 186): «Не следует забывать старого. Индийские иоги делали чудеса в самовоспитании. Буржуазия ничего не сумела взять от них, кроме кастовой философии, кроме всякой слабоумной благоглупости, вроде оккультизма и т. д. Мы должны взять от них то, что у них было здорового: уменье развивать волю до высших возможных пределов, уменье превращать в действие всякое намерение».

Декаданс формы родил декаданс восприятия действительности. Нужно предостеречь Слетова, а не захваливать. Писательская зрячесть Слетова идет от Ропшинского «Коня бледного» (см., хотя бы, стр. 24, 39—40, 52—53, 67, 103).

Все три книжки — каждая по-своему — констатируют несомненные сдвиги вправо ряда писателей; у «молодых» — это заметнее, чем у «стариков». Причем направление идет не от неприятия современности, не от замкнутости в голый психологизм, как это было года три тому назад. Поправение идет по линии искривления современности и послеоктябрьской действительности, возведения в герои «лишнего человека», апологии подсознательного и иррационального, ренессанса неославянофильства. — «Как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так не прекращается она и на литературном фронте» (Из резолюции ЦК ВКП(б) о политике партии в области художественной литературы).

Семен Розенталь.

А. Новиков-Прибой. П о л н о е с о б р а н и е с о ч и н е н и й. Т. I — М о р с к и е р а с с к а з ы. Стр. 211. Т. II — М о р е з о в е т. Стр. 225. Т. III — У х а б ы. Стр. 205. Т. IV — Ж е н щ и н а в м о р е. Стр. 225. Т. V — Д в е д у ш и. Стр. 267. Изд. «Земля и фабрика».

В то время, как наша молодая пролетарская литература ломает себе голову над задачей — дать в своих произведениях живого человека, а особенно живого трудящегося (рабочего и крестьянина), —

этот живой человек, «как живой», глядит на нас со страниц произведений некоторых наших писателей и нередко как раз тех, о которых менее всего говорят в литературных кругах. К таким писателям относится, в частности, А. Новиков-Прибой.

Во всех пяти рецензируемых книгах перед нами живой осязаемый пролетарий флота с его революционностью, анархической любовью к приключениям, с характерным морским языком, с любовью к крепким напиткам и словам, храбростью, франтоватостью и склонностью к прекрасному полу,— словом, с хорошим и плохим, что в нем есть.

Сотни и сотни их — кочегаров, плотников, простых матросов, боцманов, радистов и т. д. — быстро мелькают перед нами. Мы говорим, мелькают. потому что писатель не заостряет своего внимания на них, на людях вообще. В большинстве случаев в центре внимания писателя стоит то или иное происшествие, приключение, то или иное захватывающее событие, и, изображая его, писатель группирует вокруг него людей, выявляя их отношение к событию, а тем самым и их характер. Для Новикова-Прибоя люди — не главное. Он не психолог и не социолог по преимуществу — его манит полная до краев жизнь, приключение, стремящееся к крайней точке, могущей быть обозначенной словами: «между жизнью и смертью». И может быть именно потому, что он не психолог и не социолог, и, следовательно, не много д у м а е т о изображаемых людях, а больше чувствует вместе с ними, эмоционально в них воплощается, — эти люди получаются у него реальными, живыми, полнокровными, убедительными.

Итак, основная проблема Новикова-Прибоя, не «человек и общество», а «человек и природа». Но, тем не менее, понятно, что писатель переживший эпоху трех революций, не мог остаться чуждым и социальной проблемы. Какое же социальное явление приковывает к себе внимание писателя?

Мы назовем здесь заглавия трех рассказов, чтобы указать направление наших поисков: «Лишний», «Порченый», «Шалый». В этих рассказах изображены люди, нравственно, умственно или физически изуродованные самодержавным строем, главным образом военной службой. Вот такие люди, изуродованные строем произвола и насилия, и привлекают мысль автора в целом ряде произведений. В одном из указанных рассказов («Порченый») бывший гвардеец, крестьянин Петр Колдобин, вернувшись с царской службы, становится бичом и наказанием для своей деревни, оплотом полицейщины и мракобесия. Однако в его лице писатель отнюдь не показывает нам сознательной опоры монархизма: нет, это одичалый, несчастный, сбитый с толку человек, которого ожидает трагический конец, — он гибнет от руки односельчан.

В рассказе «Шалый» мы видим замкнутого, молчаливого, полусумасшедшего матроса со страдальческим лицом и «мутным взглядом», который пережил что-то ужасное, отчего помутился его разум. В этом матросе спит все и тлеет лишь только слепая ненависть, слепая жажда разрушения, мщения. Эта тлеющая ненависть оживает как-то в бурю и обрушивается на начальство изверга-боцмана, ударившего его когда-то по лицу. Матрос скидывает с борта боцмана, но и сам падает за борт.

Такова эта слепая сила темных душ, исковерканных жизнью. В одном случае она обрушивается на негодяев и деспотов, в другом — на своих же товарищей. Она двойственна. Эту идею он воплощает в рассказе «Две души». «Две души» замечает Новиков-Прибой в социальном человеке, которого он показывает. Там толпа русских военнопленных (в японскую войну) избивает до-смерти одного из своих же солдат, заподозрив его в краже жестяного портсигара. Убив его, та же толпа устраивает ему пышные похороны и организует сбор для семьи убитого.

В рассказе «Словесность» новобранец Капитанов по приказу начальства бьет по лицу своего товарища, а потом на коленях с истерическими слезами просит у него прощения.

В рассказе «Бойня» наиболее отсталых и темных матросов заставляют расстреливать своих товарищей. От жалости и волнения у стрелков так дрожат руки, что они почти все дают промах. То же и

во второй раз. Расстреливаемые связаны веревкой в одну общую цепь. Раненые и убитые, падая на землю, увлекают за собой живых и здоровых. Образуется дьявольский клубок из живых и мертвых, стонущий, воющий и проклинающий. Начальство велит прикончить всех штыками.

Тогда те же люди, не смогшие стрелять от жалости в своих товарищей, в ужасе, в неистовстве накидываются на жертв. «Проснулись звериные чувства, разыгрались кровожадные страсти», пишет автор.

Многие из участников этой бойни сходят потом с ума от раскаяния.

В рассказе «За городом» конвоир белогвардеец из крестьян, ведущий к расстрелу красного повстанца, тоже крестьянина, находит в нем сходство со своим братом, перешедшим к красным.

Под влиянием этой и других смутных мыслей и сомнений, он решает отпустить пленника и приказывает ему бежать. Когда же тот убегает, конвоир с трудом удерживается от искушения пустить ему пулю вдогонку.

Таков основной тип социального человека у Новикова-Прибоя. Духовная нищета, аморальность, отсутствие или шаткость этических норм отличает его. Он — плод бесправного положения в обществе, плод деспотического строя, где личность не привыкла себя уважать. С глубокой жалостью смотрит писатель на этого человека, когда он один. Но когда такие люди собираются в толпу, в массу — они ему страшны, как слепая, безличная стихия. В «Ухабах», и в сцене, где победившая в октябре команда броненосца судит своего командира, писатель опять показывает нам эту необузданную толпу в лице победителей-матросов, которые под влиянием тех или иных ораторов, настроенных то против командира, то за него, беспрерывно переходят от желания расстрелять командира к желанью его оправдать, и обратно. Дело кончается тем, что командира оправдывают и даже качают Но конец мог быть и совсем иным.

Как подобная же толпа в рассказе «Две души» растерзала своего товарища за конеечный портсигар, мы уже видели.

Этот же рассказ, в котором несомненно воплощена основная социальная идея автора, раскрывает нам глаза на отношение автора к своему «шалому» социальному герою. На всем протяжении рассказа писатель упорно противопоставляет жизни людей, — в данном случае русских военнопленных,— чудесную, роскошную и гармоническую жизнь природы, также приглашая читателя уйти от людей к природе. И этот уход писатель сам первый осуществляет своим творчеством. Нельзя сказать, что он уходит от людей совсем. Нет. Но он уходит от их коренных, насущных интересов к вопросам, даже, быть может, социальным, но во всяком случае не относящимся к социальным проблемам первостепенного значения... Таков роман последних лет «Женщина в море», где изображено влияние на жизнь команды парохода красивой молодой женщины, выехавшей с пароходом в плаванье. Другое большое произведение последних лет «Ералашный рейс» весьма близко по содержанию к первому. Основной темой писателя окончательно становится борьба со стихией, с природой, густое приключенчество, как уже сказано, держащее читателя почти беспрерывно на зоне «между жизнью и смертью». Таковы «Подводники» и многие другие рассказы, большие и маленькие, так густо насыщенные напряженнейшими пережитками и опаснейшими приключениями, что как й-нибудь европейский или американский мастер приключенчества из одного произведения нашего писателя выкроил бы несколько.

Конечно, и герой здесь иной. Понятно, что не трагическая фигура «шалого» героя проделывает трудный путь по проволоке, протянутой «между жизнью и смертью» Нет. Это уж совсем другой человек. Это ловкий, умный, храбрый человек, благополучно проходящий морскую службу и д же подвигающийся вперед, выходящий в боцманы или даже шкипера.

* * *

Нужно ли нам, однако, по этому поводу, т. е. по поводу того, что Новиков-Прибой мало занимается социальными темами, мало пишет о революциях, — нужно ли нам петь отходную писателю и умалять значение его творчества?

Думается, нет. Ведь недаром произведения Новикова-Прибоя являются одними

из наиболее любимых и спрашиваемых в наших библиотеках. У поколения читателей, растущего из среды новых, восходящих классов, — пролетариата и крестьянства, вступающего на путь социалистического строительства, у этого поколения, любящего жизнь, — громадная тяга к литературе эмоционального напряжения, к литературе борьбы и приключений. Еще в свою бытность восходящим классом такую литературу создавала, в свое время, европейская буржуазия. Наша же буржуазия, как и дворянство, нам такого наследства не оставила. По историческим причинам понятного свойства, она такой литературы, литературы большого эмоционального напряжения, не в состоянии была создать.

Новиков-Прибой—почти единственный и первый открывает в русской литературе страницу полнокровно-действенной, эмоционально насыщенной литературы приключенчества в лучшем смысле этого слова. В его любви к здоровому, бурному приключенчеству несомненно находит выражение — бодрость, энергия и любовь к жизни пролетариата, из среды которого он вышел и под влиянием которого вырос. Поэтому пожелаем ему и дальше продолжать отвоевывать нашего пролетарского читателя от полухалтурной переводной приключенческой литературы.

Л. Тоом.

Николай Никитин. Преступление Кирика Руденко. Роман. Стр. 276. Ц. 2 р. 25 к.

Обоянские повести. Стр. 224. Ц. 1 р. 90 к. Харьков. Изд. «Пролетарий».

У Николая Никитина своя литературная судьба. Начав в 1921—1922 гг. вместе с «Серапионами» свой писательский путь такими вещами, как «Рвотный форт», в котором хорошая формальная выучка служит сомнительному натурализму, Никитин в последующие годы давал произведения, построенные на том материале «бывших людей» («Ночь», «Полет» и другие), который, вместе с упомянутым «натурализмом», стал чем-то характерным для писателя, свойственным его литературному лицу. Никитин писал и на другие темы и в другой манере, но основную окраску его творчеству придавали именно отмеченные выше вещи. Кроме того, для Никитина была характерна и некоторая изысканность формы (замятинский «орнаментализм»), благодаря чему его произведения, в особенности более ранние, не могли быть доступны широкому читателю.

После некоторого периода молчания Никитин выступает вновь «Преступлением Кирика Руденко» и «Обоянскими повестями». «Повести», о которых речь будет ниже, двигаются, в общем, в плане прежней работы автора. Наоборот, «Преступление» знаменует для Никитина обновление тематики и, отчасти, также и известный формальный перелом. Тема «Преступления» — отношения полов в комсомольской среде. Надо учесть всю трудность обработки подобных тем, достаточно затрепанных писателями-«половиками», чтобы оценить ту неожиданную (пусть простит нам автор) серьезность, с которой Никитин отнесся к своей задаче. В обработке «половой проблемы» огромную роль играют литературные данные писателя. «Преступление» в отдельных фабульных моментах (убийство, суд) имеет некоторое сходство с «Собачьим переулком», и на этой незначительной формальной аналогии выявляется все различие этих двух произведений, имеющих общую тему. Сравнение оказывается в пользу Никитина, неизмеримо лучше вооруженного литературно, чем автор «Собачьего переулка». «Преступление» лишено и дешевых детективно-мелодраматических эффектов, и того грубого натурализма, которому в свое время (хотя и в более «тонкой» форме) отдал дань и сам Никитин.

Характеристики героев «Преступления» даны достаточно четко и убедительно; в социальные образы героев внесены «поправки» на психологию. Так, Андрей Горюнов, мещанин и циник с комсомольским билетом, в некоторые моменты поддается не плохим душевным движениям (сцена его последнего свидания с Катей). Григорий Колобов, единственный сознательно мыслящий среди изображенной в романе молодежи практически мало активен («организованный старик») и т. д.

Хорошо дано в романе окружение основных героев, та мещански-провинциаль-

ная среда, которая наиболее способна питать социально-бытовые конфликты на половой почве. Опять-таки и здесь автор в меру необходимости «оживил» такие типы, как, например, Горюнов-отец, содержатель постоялого двора, по-своему, с какой-то стороны «принимающий» новую жизнь.

Отмечая общественную ценность романа, жизненность его темы и убедительность ее разработки, — что особенно знаменательно в связи с прежним устремлением Никитинского творчества, — следует указать и на некоторые особенности художественной манеры автора. Характерная и для прежнего Никитина лирическая установка преобладает и в «Преступлении», выражаясь то в некоторой общей приподнятости повествования, то в частых авторских отступлениях или сказового, или чисто лирического типа. Довольно много места в романе уделено природе, которая сопутствует переживаниям и поступкам героев, идя параллельно или дополняя тот или иной «психологический пейзаж». Язык романа стремится к простоте, синтаксически наблюдается тяготение к длинным периодам, — и вот на этих особенностях автор чаще всего терпит срывы. Простота переходит то в нарочитую, аффектированную «простоватость», то в прямую небрежность и неряшливость: «С Андреем она кланялась просто...» (стр. 125), «Она... старалась многое обречь в счет своей глупости...» (стр. 124), «лучшее средство за то, чтобы отгородиться...» (стр. 118), «замеревшие ряды» (стр. 112) и т. д. С длинными периодами тоже не всегда все благополучно, например: «Каждый нерв дрожал, и эту дрожь старалась Катя побор ть, и застывшее снаружи вроде маски лицо, и тело, преобразившееся в оживленный, ходивший, механический манекен, только подчеркивали, что внутри, в голове, в сердце, полном темных предчувствий, в огне, который вдруг вырывался одинокой искрой из глаз, точно ночью из костра, и падал сразу, затихая где-то в земле, что во всем этом, вдруг выдавшемся в одну секунду слабости, в этой невозможности сдержаться лежит почти отчаяние» (стр. 119) (подчеркнуто всюду мною. **И. О.**).

Эти промахи тем более необходимо отметить, что Никитину стилистические lapsus'ы вообще несвойственны, и при внимании их несомненно можно было бы избежать. К сожалению, художественная ценность романа сильно страдает благодаря отмеченным и другим подобным неряшливостям.

«Обоянские повести», как мы говорили выше, соответствуют прежнему движению творчества Никитина. В «Повестях» — густой провинциальный быт, чуть сдвинутый анекдотической фабулой, добротный сказ, идущий то от Гоголя, то от Зощенки. Эти авторы, да еще Чехов вспоминаются при чтении этих провинциальных анекдотов о том, как муж после смерти жены узнает об изменах последней или о том, как свинья откусывает герою нос. В этой книге Никитин еще остается верен своему прежнему материалу старого быта и «бывших людей», — запоздалая верность, с успехом нарушенная «Преступлением Кирика Руденко».

Инн. Оксенов.

Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. С приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского. Вводная статья, редакция и примечания В. Л. Комаровича. Academia. Ленинград 1928. Стр. 515. Ц. 2 р. 60 к.

Воспоминания Григоровича охватывают приблизительно два десятилетия литературной жизни (40 — 50-е годы). Большую достоверность их и редкую для мемуариста точность подтверждают перекрестные свидетельства писем и мемуаров его современников: И. И. и А. Я. Панаевых, А. А. Фета, В. А. Соллогуба и других. Мемуары свои Григорович писал уже стариком, чуть ли не 30-ю годами пережив свою славу.

В основу «Воспоминаний» им положены точные записи, сделанные непосредственно во время интенсивного участия в литературной жизни 40 — 50-х годов (см. «Записные книжки Григоровича», частью опубликованные в «Литературных приложениях» к «Ниве» за 1901 г.). С записями своими он обошелся очень вольно, — не в смысле искажения фактов, но в смысле создания на основе фактов целой вереницы

гротескных образов современных ему деятелей литературы и театра. Мемуары Григоровича больше всего напоминают альбомы знаменитых карикатуристов 40-х годов — Неваховича и Степанова.

Этим определяются все достоинства и все недостатки его мемуаров. Они занимательны как хорошая беллетристика, каждая из карикатур - силуэтов запоминается, но при всей фактической достоверности внутреннего доверия его изображения вряд ли заслуживают.

В его мемуарах действуют не Толстой, Фет, Боткин, Одоевский, Чернышевский и Ап. Григорьев, а талантливые и очень похожие карикатуры на этих писателей. Чернышевского и Аполлона Григорьева Григорович особенно окарикатурил еще и по личным соображениям. Присутствие Чернышевского в «Современнике», как известно, привело к расколу «кружка» и расссорило Григоровича с Некрасовым. В 1855 г. окончательный удар литературной карьере Григоровича был нанесен перекрестным обстрелом «Современника» и «Москвитянина». В данном случае, крайности действительно сошлись — «несовместимые» Чернышевский и Григорьев на страницах двух враждующих журналов дали творчеству Григоровича почти одинаковую оценку (хотя и с разных точек зрения).

Ближе к жизни, чем к карикатуре, выведены в «Воспоминаниях» Григоровича Достоевский, Некрасов и Тургенев. Несмотря на охлаждение к Некрасову, Григорович в своих мемуарах дал много очень ценных и с большой любовью сделанных зарисовок из жизни молодого Некрасова. Много интересного есть и в страницах, посвященных пребыванию молодого Достоевского в Инженерном училище и началу его литературной карьеры. Очень показательны тогдашние литературные вкусы Достоевского (Пушкин и Гофман, Бальзак и Сулье!). Очень обаятельна (хотя и вряд ли особенно достоверна) фигура Тургенева. В своих воспоминаниях, между прочим, Григорович сохранил несколько острот, эпиграмм и пародий Тургенева. Вообще материал по литературно-бытовому анекдоту в «Воспоминаниях» Григоровича — необъятен.

«Воспоминания» П. Ковалевского, конечно, ни в коей мере не могут быть приложением к «Воспоминаниям» Григоровича (как стоит на титульном листе книги). Это совершенно самостоятельный и очень любопытный памятник русской мемуарной литературы. Если П. Ковалевский беллетрист и переводчик забыт вполне заслуженно, то Ковалевский мемуарист стоит напоминания. Воспоминания Ковалевского о Крамском сейчас представляют интерес только для специалистов-искусствоведов, воспоминания об Александре Иванове бедны фактическим материалом и интересны, пожалуй, только смелостью взглядов (для времени написания) на великого русского художника. Воспоминания о Глинке и о Некрасове интересны до сих пор. В них Ковалевский дает живые, яркие, а, главное, не каноничные, не трафаретные образы стареющегося Глинки и стареющегося Некрасова. Издана книга очень хорошо. Очень интересен и прекрасно воспроизведен весь иллюстративный материал. Вступительная статья В. Комаровича, к сожалению, занята почти исключительно формальным анализом «Воспоминаний» Григоровича. Не достаточно полны примечания.

Евг. Книпович.

А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. Московское художественное издательство. М. 1928 г. Стр. 273. Ц. 6 р.

Исследование и документ в русском литературоведении обычно искусственно расчленяются. Воссоздания лиц и эпохи на основании документа наше литературоведение почти не знает. Интересным опытом такого воссоздания — перенесения этой — французской — традиции на русскую почву — является книга Виноградова «Мериме в письмах к Соболевскому». Этим отчасти объясняется большая насыщенность, «многоплановость» книги. Она несомненно гораздо шире своего названия. Весь огромный впервые публикуемый в ней материал (прежде всего все письма Мериме к Соболевскому, записки Гоголя и Мицкевича) является как бы ее скелетом. Вокруг него группируются и картина целой эпохи

жизни французского общества (картина, в которой каждая мелочь выбрана не случайно и подтверждена документальными данными), и история соприкосновения, и, если так можно сказать, «амальгамирования» двух литератур — французской и русской.

Напомнить русскому читателю о члене Общества любителей российской словесности, авторе статей о русской литературе и переводчике Пушкина — Проспере Мериме—является делом необходимым и своевременным. Многочисленные переводы и переиздания Мериме в последние годы свидетельствуют о большом интересе русского читателя к французскому новеллисту. Интерес этот — не случайный. Французские романтики левого крыла, возглавляемого Стендалем, ближайшим другом и учеником которого был Мериме, являлись наследниками идей Французской революции, учениками энциклопедистов, последователями материалистической философии, воинствующими атеистами. Выступление левого крыла романтиков было прежде всего якобинским штурмом феодальных твердынь великой французской литературы. Литературные устремления их за пределы своей страны были своеобразным литературным интернационализмом, порожденным разочарованием в культуре буржуазной Франции.

Правда, разочарование это породило и многое другое — скептицизм, индивидуализм. Именно этим разочарованием объясняет автор рецензируемой книги и политическую беспринципность Проспера Мериме.

Причины интереса Мериме к русской литературы как социальные, так и эмоциональные (прелесть еще никем не тронутой «экзотики») очерчены автором очень четко. Еще любопытней воссоздан весь процесс соприкосновения и амальгамирования французской и русской литературы. В книге впервые во весь рост встает и забытая исследователями, недооцененная фигура блестящего посредника между двумя культурами — С. А. Соболевского.

Нельзя не отметить в заключение заостренную и подчеркнутую автором книги критическую зоркость Мериме, который, кажется, впервые во всей мировой литературе противопоставил (хотя и в скрытой форме) трезвую ясность Пушкина «нашей национальной болезни» — Достоевскому (выражение принадлежит М. Горькому).

Для исследователей пользование опубликованными материалами облегчено примечаниями, указателем имен, воспроизведением факсимиле публикуемых документов и указателем к ним. Очень интересен иллюстративный материал. Издана книга превосходно.

Евг. Книпович.

П. М. Керженцев. Диктатура пролетариата. М. 1928. Гиз. Стр. 139.

Читательская масса крайне нуждается в популяризации теоретических знаний, в изложении основных вопросов ленинизма.

Удовлетворению этой потребности отчасти отвечает брошюра тов. Керженцева. Я говорю отчасти, потому что она не охватывает весь цикл вопросов, составляющих теоретическую систему ленинизма, а освещает лишь одну, — правда, важнейшую,— проблему о диктатуре пролетариата. В этом вопросе было не мало напутано оппозицией.

Брошюра т. Керженцева не претендует на углубление и дальнейшее развитие данной проблемы. Поэтому читатель, знакомый с вопросом, не найдет в ней для себя ничего нового. Но она ценна тем, что представляет собою удачную по форме, сжатую и систематическую популяризацию.

Основное понятие диктатуры пролетариата изложено автором правильно. Несколько хуже обстоит дело с диктатурой пролетариата и крестьянства. Здесь т. Керженцеву, к сожалению, не удалось избежать некоторых немаловажных погрешностей, которые желательно устранить при втором издании его книжки.

Он дает следующее определение:

«Диктатура пролетариата и крестьянства есть своего рода революционная коалиция двух классов, организация государственной власти на почве такого союза двух классов, можно сказать создание «рабоче-крестьянского» государства в том смысле, что крестьянство в такой же мере определяет работу государства, как и пролета-

риат. Конечно, и при этом руководящая роль остается у пролетариата, но она не получает того организационного оформления, как это имеет место при диктатуре пролетариата» (стр. 33).

Здесь налицо явное противоречие. Если «руководящая роль остается у пролетариата», то как можно говорить, что «крестьянство в такой же мере определяет работу государства, как и пролетариат»? Что-нибудь одно: либо гегемония пролетариата, либо равноправная коолиция. Но равноправно-коалиционных блоков вообще не может существовать в природе классового государства. В процессе классовой борьбы, не прекращающейся даже внутри социально-классовых блоков, тот или иной класс непременно окажется преобладающим и возьмет на себя руководящую роль. Если, таким образом, крестьянство не может в одинаковой мере с рабочим классом определять судьбу государства, то правильно ли второе утверждение т. Керженцева, что при диктатуре пролетариата и крестьянства руководящая роль, с исторической неизбежностью, предопределена рабочему классу? Бесспорно, что в борьбе за установление диктатуры пролетариата и крестьянства, равно как в условиях самой диктатуры, рабочий класс непременно должен стремиться завоевать гегемонию. Но успешность этой борьбы зависит от реального соотношения реальных сил.

Еще в 1905 году в полемике с Парвусом, утверждавшим, что «революционное временное правительство в России будет правительством рабочей демократии», т. Ленин писал: «Русский же пролетариат составляет сейчас меньшинство населения России. Стать громадным, подавляющим большинством он может лишь при соединении с массой полупролетариев, полухозяйчиков, т. е. с массой мелкобуржуазной городской и сельской бедноты. И такой состав социального базиса возможной и желательной революционно-демократической диктатуры отразится, конечно, на составе революционного правительства, сделает неизбежным участие в нем или *даже преобладание* в нем самых разношерстных представителей революционной демократии. Было бы крайне вредно делать себе на этот счет какие бы то ни было иллюзии». (Статья т. Ленина «Социалдемократия и временное революционное правительство». Курсив мой. **Ф. Р.**).

Прогноз т. Ленина о преобладании разношерстных представителей революционной демократии блестяще подтвердился на практике, когда идея революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства воплотилась в русской революции.

В 1917 году, после Февральской революции, произошло чрезвычайно своеобразное переплетение господства буржуазии (временное правительство) и революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства (советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов), добровольно отдавшей власть в руки буржуазии и превратившейся в ее придаток. При этом внутри диктатуры пролетариата и крестьянства руководящая роль, вопреки т. Керженцеву, оказалась в руках не рабочего класса, а мелкохозяйских, мелкобуржуазных элементов в лице меньшевиков и эсеров.

Лишь диктатура пролетариата, в полной мере, способна обеспечить политическую гегемонию рабочего класса, его руководящую роль по отношению к другим классам на протяжении всего переходного периода вплоть до уничтожения классов вообще. Но и здесь эта гегемония дается ему с бою, ценою разгрома буржуазии, ограничения необуржуазных напластований, смычки с крестьянством и непрестанного маневрирования по отношению к промежуточным социальным слоям.

Другая ошибка, на которую следует обратить внимание т. Керженцева, заключается в его неправильном противопоставлении государственных форм обеих диктатур.

«Пролетарская диктатура,— пишет тов. Керженцев, — неизбежно связана с разрушением буржуазного государства и созданием советской системы. Диктатура пролетариата и крестьянства не пытается еще разрушать государство, она устраняет лишь архаические ее формы (самодержавие) и строит не советскую, а демократическую республику. И в этом случае она остается в пределах буржуазной системы и буржуазного права» (стр. 33—34).

Мы уже видели, что в 1917 году, в эпоху керенщины, весьма оригинально осуществившаяся диктатура пролетариата и крестьянства нашла свое внешнее выражение в форме советов. Аналогичным образом в Китае советы на первых порах могут быть не орудиями пролетарской диктатуры, а органами революционно-демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства. При этом, в своей революционной политике, они неизбежно выйдут за пределы буржуазной системы и буржуазного права. Советам в Китае придется объединять огромную, рассыпанную храмину своей страны не вокруг буржуазной, а вокруг советской системы. Им придется завершать аграрную революцию, на каждом шагу ломая и попирая буржуазное земельное право. Им придется вести борьбу за низвержение империалистического господства, одновременно выступая против китайской национальной буржуазии, перекинувшейся в лагерь империалистической контрреволюции. Одним словом, на почве перерастания китайской буржуазно-демократической революции в пролетарскую, советы из органов революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства будут органически перерастать в более высокую форму органов пролетарской диктатуры.

Неудачная формулировка т. Керженцева по существу игнорирует момент перерастания, несмотря на словесное признание этого принципа в другом месте.

На странице 67 т. Керженцев утверждает, что «английское правительство энергично борется против развития промышленности в Индии, Египте и других колониях. Это положение было верно для довоенной Англии, но сейчас оно не выдерживает никакой критики. Послевоенная политика английского империализма, поставленная перед фактом быстрой индустриализации Индии в период мировой войны, заключается как раз в том, что, по мере ухудшения положения в самой Англии, английский капитал усиленно импортируется в Индию и организует там базирующиеся на дешевом труде промышленные предприятия, которые своей конкуренцией снижают заработную плату английских рабочих. На этой точке зрения стоят: Рой, Лугани, Пальм-Дэтт, Ратбон, Варга,—одним словом, почти все коммунисты, занятые изучением Индии.

Наконец, последнее замечание. В главе 8-й, посвященной социалистическому строительству, следовало бы подробно остановиться на характере индустриализации в нашей стране.

Однако, несмотря на выше отмеченные, весьма существенные недостатки, брошюру в целом нужно признать полезной. Разъяснение понятия диктатуры пролетариата, разоблачение уклонов в этом вопросе как со стороны социал-демократического бернштейнианского оппортунизма, так и со стороны оппозиции ВКП(б) принесет известную пользу малоподготовленному читателю.

Книжка издана прилично и недорого (45 коп.), но она сверх всякой нормы пестрит грубейшими опечатками: Вильгельм Вейтлинг назван Вейтлингером (стр. 11), Медведев — Медведниковым (стр. 136), вместо «верных слуг» напечатано «верхних слуг» (стр. 83) и т. д. и т. п.

Ф. Раскольников.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ